

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

Д Е К А Б Р Ъ

М О С К В А

4 . 9 . 3 . 0

Главлит А 61553.

СТАТ — форм т Б/5 176 × 250

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва

СОДЕРЖАНИЕ:

	<i>Стр.</i>
1. Петр ШИРЯЕВ. Из книги о 1905 г.	5
2. Б. ПАСТЕРНАК. — Вступление к поэме «Спекторский» . . .	17
3. Ал. МАЛЫШКИН. — Севастополь, <i>повесть</i> , окончание . . .	20
4. Лев НИКУЛИН. — Окружной маневр, <i>очерк</i> , с рис. П. Шух- мина	45
5. Вера ИНБЕР. — Разлука, <i>стихотворение</i>	60
6. Ив. ЖАСАТКИН. — Площадь, <i>рассказ</i>	61
7. П. СЛЕТОВ. — Заштатная республика, <i>роман</i> , окончание . .	67
8. Георгий ШЕНГЕЛИ. — Спор эпох, <i>очерк</i>	103
9. Мих. ЗОЦЕНКО. — М. П. Синягин, <i>повесть</i>	112
10. С. СПАССКИЙ. — Разговор с пригородом, <i>стихотворение</i> . .	141

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

11. Л. СЕЙФУЛЛИНА. — Письма к родне	145
12. А. ПЕРЕГУДОВ. — Оренбургский платок	150

ЗА РУБЕЖОМ:

13. Вл. ЛОСЬЕВ. — Белый террор в Китае	156
--------------------------------------------------	-----

ИЗ ПРОШЛОГО:

14. М. МАНДЕЛЬШТАМ. — Из воспоминаний судебно-политиче- ского защитника	168
--------------------------------------------------------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

15. Н. ПИКСАНОВ. — Советский писатель	177
16. Ю. ДАНИЛИН. — Правнук Фигаро	186
17. А. РАШКОВСКАЯ. — Саморазоблачение буржуа	189

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

	<i>Стр</i>
Т. НИКОЛАЕВА. — С. Быстров «Красный вир»	194
Д. ФИБИХ. — Дзахо Гатуев «Гага-аул»	194
Борис ГРОССМАН. — Константин Финн «Мой друг»	195
Бор. ЛЕВИН. — З. Чаган «Сегодня»	196
Р. РОШ. — Д. Чонкадзе «Сурамская крепость»	196
Н. СЕДОВ. — Всеволод Лебедев «Полярное солнце»	197
Н. МАТВЕЕВ. — Виктор Финк «Евреи в тайге»	198
Т. НИКОЛАЕВА. — Макс Зингер «Сквозь льды в Сибирь»	199
Р. РОШ. — А. М. Аршаруни и С. Л. Вельтман «Эпос советского Востока»	199
И. СЕРГИЕВСКИЙ. — Н. И. Греч «Записки моей жизни»	200
К. ЛОКС. — В. К. Кюхельбекер «Дневник»	201
СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ НА ОТЗЫВ	203
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1930 ГОД	204

Из книги о 1905 г.

ПЕТР ШИРЯЕВ

Последняя ночь

В вестибюле, выстроившись полукругом, с каменными лицами стояли драгуны. Впереди них — рослый и статный красавец офицер в походной форме и пристав, похожий на старую хитрую лису.

А перед ними на полу, на коленях ползал тучный человек и протягивал к ним умоляющие руки.

Но это потом...

Сперва — стремительный дружинник с бледным и взволнованным лицом, прыжками пронесшийся по лестнице. Не отвечая на вопросы, цеплявшиеся к нему со всех сторон, как репьи, он скрылся в комнате четвертого этажа, где совещались начальники дружин. А через мгновение — по всем четырем этажам, по всем коридорам и комнатам прошли два зловещие слова:

— Окружены! Солдаты!

Словно порывом ветра, взлохматило лестницу: кто бежал вниз, кто вверх; сталкивались на площадках и крутились в водовороте рук, ног и растерянных лиц. Из отдаленных комнат появились женщины и даже дети. Метались от одного окна к другому, засматривая на улицу. Гимназистка в коричневом передничке, плача, просила отвести ее домой, к папе. Кто-то торопливыми и непослушными руками пытался нацепить ей повязку с красным крестом. Она срывала ее и плаксиво повторяла:

— Я домой хочу... я домой хочу!..

— Понимаете — не! зя, мы окружены!

— Не понимаю, не понимаю, не понимаю!!! Выпустите меня!.. Госпо-ди-и!..

Внизу солдаты взламывали парадную дверь в вестибюль.

— Начальники! Где начальники? — волновались дружинники, не зная, что делать.

Голос с четвертого этажа, старавшийся казаться спокойным, но в самой сердцевине своей расщепленный необычайной взволнованностью, крикнул:

— Споко-ойствие, товари-щи-и!.. По местам!

Никакого места никакому дружиннику предназначено не было, но без малейшего замешательства и суеты заняли места. Эта молчаливая согласованность была первым аккордом восстания. Отрешенность и жертвенность каждого сплывались в одну волю, в одно устремление.

...Час искупленья пробил..

Разместились на площадках этажей, по ступеням лестницы, у окна. Часть дружинников выбралась на крышу.

Первый пролет лестницы, как раз против парадной двери, заняли железнодорожники, за ними — сборная дружина.

Помню фигуру Гриши Маслобойщикова. Коренастый, широкоплечий, он стоял впереди всех, на нижней ступеньке, отвалившись к перилам. В зубах — зажженная толстая сигара, в одной руке — македонская бомба, в другой — маузер. Он был сосредоточен и зорко следил за парадной дверью, сквозь стекла которой виднелись серые шинели драгун.

Наступила тишина. Хрустнул замок второй, внутренней двери. И сразу тишина наполнилась глухим топотом солдатских сапогов, строившихся в вестибюле. За солдатами вошел рослый, красивый офицер в походной форме. Скользя глазами по лестнице, задержался на картинной фигуре Гриши Маслобойщикова и посмотрел на часы.

В молчании мы наблюдали.

Через некоторое время в вестибюле появился старый пристав с хитрым, лисьим лицом. Подойдя к офицеру, пошептался с ним, осмотрел лестницу, занятую дружинниками, высморкался и довольно добродушно обратился к Грише Маслобойщику:

— Это что же, дружинники ваши?

Гриша переменял ногу, перевалился, словно был он невероятной силищи, и вызывающе проговорил:

— Потом узнаешь!

И снова офицер и пристав о чем-то шептались. В их поведении была какая-то нерешительность.

— Кто же у вас здесь за главного? — опять подошел к Грише старый пристав.

— Все главные!

— Тогда я прошу вас именем закона очистить училище! — мягко проговорил пристав.

Гриша Маслобойщиков, неожиданно очутившийся в роли «главного», ничуть не смутился от этого превращения и наотрез отказал приставу.

— Нам и здесь хорошо, а на закон — начхать!

— Вы, значит, категорически отказываетесь подчиниться требованиям закона? — все так же вежливо и мягко продолжал ставить точки над «и» представитель закона.

— Чего привязался? — неожиданно вспылил Гриша, — сказано русским языком — не уйдем!

Пристав сокрушенно покачал головой и повернулся к офицеру.

— Я сделал все, что мог!.. Теперь дело за военной властью. Передаю вам.

Офицер выпятил грудь, поправил на поясе лакированную кобуру револьвера и громко предложил нам сдаться.

Было семь часов вечера.

Начались переговоры, тянувшиеся мучительно долго...

Эти часы переговоров были, быть может, самое значительное в эту декабрьскую ночь. В них было последнее испытание. В них последней вспышкой мысли озарялась каждая жизнь... Оттого они так ярки в памяти и незабываемы. Я умирал, убивал; я хоронил товарищей в эти часы; я иступленно и жадно вглядывался в синюю жилку, бившуюся на виске знакомого лица рядом и видел в ней смерть; я считал ступени, отделившие меня от солдат, и на каждой ступени разрывалась для меня последняя драма, и каждая сту-

пень была страницей огненной книги, которую было мне суждено прочесть в эту декабрьскую ночь. Я всматривался в лица драгун:

— Который из них?..

Двадцать застывших лиц, все разные и все одинаковые...

И, отрываясь от них, снова и снова обращался внутрь самого себя, в свое, невысказываемое, скрытое, тайное:

— Сумею ли умереть?..

Шли часы. И когда невыносимо душно становилось с самим собой, я искал несколькими ступенями ниже круглое лицо Гриши, он улыбался мне, и моя рука твердела...

В одной из комнат нижнего этажа помещался телефон. К нему то и дело подходили начальники дружин, безуспешно пытаясь связаться с партийными комитетами, чтобы получить от них указание: что делать? Несколько раз подходили к телефону, офицер вызывал канцелярию генерал-губернатора. Но ему никто не отвечал. Переговоры затягивались. А когда, наконец, офицеру удалось связаться с адмиралом и он сообщил ему о нашем отказе сдать, Дубасов бросил в трубку свой последний, старчески-свирепый приказ:

— Изрубить эту сволочь!

Об этой фразе Дубасова мы узнали потом, на суде, из свидетельских показаний ротмистра Рахманинова (так звали офицера, руководившего взятием Фидлеровского училища).

Выйдя из телефонной комнаты, ротмистр вторично предложил нам сдать. Вторично мы ответили отказом.

— Сейчас начнется! — торопливо подумал каждый из нас, когда ротмистр, получив наш отказ, круто повернулся к нам перекрестной ремнями спиной и подошел к солдатам. Драгун было чело-век двадцать. С бесстрастными, каменными лицами они стояли во фронт, ружья к ноге. До этого многие из нас пытались заговаривать с ними, они не отвечали.

Ротмистр медленно прошел вдоль их ряда и остановился у крайнего правого; оглянулся, посмотрел на нас и что-то тихо зашептал ему. Драгун выслушал, повернулся и вышел на улицу.

Откинув полу щегольской светлосерой шинели, ротмистр достал портсигар и закурил... Я видел, как Гриша Маслобойщиков, стоявший от ротмистра в трех шагах, великопленным жестом поднес ко рту зажженную сигару, затянулся и пустил вверх беззаботно задорную струйку дыма. Внимательными, запоминающими глазами посмотрел на него статный ротмистр и отвернулся.

Прошел еще долгий час... И неожиданная проползла по нашим рядам весть:

— На дровяной двор привезли артиллерию...

Из окна четвертого этажа был виден дровяной двор напротив училища. И мы по очереди стали подходить к окну...

Небольшой темный дворик, обнесенный деревянным забором... В полумраке — пугающие темные вороха — штабеля дров. Суетливые, бегающие взад и вперед фигуры... Лошади...

До боли напрягались глаза, сиюсья рассмотреть орудия. Никто не верил...

Вот тогда, спустившись вниз, увидел я перед солдатами, все так же застыло стоявшими в вестибюле, тучного человека на коленях, на полу... И расслышал дрожащее слово:

— Пощадите же!..

Это был директор училища Фидлер, умолявший офицера не употреблять оружия. В ответ офицер пожал плечами и сделал знак драгунам.

Солдаты под руки вывели Фидлера на улицу.

Тем временем наверху, в комнате начальников дружин, происходило совещание. Посторонняя публика, очутившаяся в училище к моменту занятия его войсками, настаивала на сдаче. С ними ожесточенно спорили дружинники. Страсти разгорались у закрытой двери совещательной комнаты... Особенно упорно настаивала на немедленной сдаче какая-то женщина-врач. Прическа у нее была растрепана, и то-и-дело спадало с носа золотое пенсне.

— Вы не имеете права распоряжаться чужой жизнью!

— Здравствуйте, с приездом! — с спокойной насмешливостью отвечал ей высокий и хмурый дружинник, карауливший закрытую дверь в совещательную комнату, — где же вы раньше-то были?

— Я случайно попала сюда... Я на митинг пришла!

— А зачем на митинг пришли?

— То-есть, как зачем!?. На митинг.

— Я понимаю... А зачем? — допытывался насмешливо дружинник.

— Зачем ходят на митинги?!

— Голосовать за вооруженное восстание, так что ли?.. А теперь в кусты!..

— Товарищи, поймите же...

— И понимать нечего! Сдаваться не будем, — с мрачной решимостью оборвал дружинник и переложил из одной руки в другую винчестер.

То же или почти то же происходило и в других этажах, на площадках лестницы, в коридорах комнат... Глухой гул сотен голосов наполнял здание.

Он мгновенно смолк, когда совещание начальников кончилось. Было решено пробиваться.

Последний разговор с офицером взял на себя Михаил Петрович, начальник одной из дружин.

Был он толстый и рыжий. Из-под студенческой куртки, сзади, у него смешно топырилась всегда кобура парабеллума.

— Мы требуем немедленно вывода из училища солдат и свободного пропуска всех дружинников с оружием в руках, — должен был он заявить офицеру и в случае отрицательного ответа стрелять в него и положить на месте.

Выйдя из совещательной комнаты, Михаил Петрович неловким движением вытянул из кобуры сзади парабеллум, осмотрел его и зачем-то подул в ствол. Потом медленно, в развалочку, начал спускаться вниз по лестнице между расступавшимися в молчании дружинниками.

За ним напряженно текли десятки глаз...

Я смотрел на его покачивающуюся широкую спину и считал шаги. Спустил предохранитель у револьвера. Бомбисты раскуривали сигары.

Внизу, перед выстроенными драгунами, расхаживал ротмистр. Одна рука — за борт шинели, другая — в карман. Спокойное, породистое лицо... Изредка он посматривал на лестницу, густо усыпанную дружинниками.

Я досчитал до двадцати шести.

Широкая спина в студенческой тужурке раскачивалась уже совсем внизу... Оставалось несколько ступенек. Офицер заметил сходящего человека и перестал шагать. Вопросительно ждал.

Михаил Петрович спустился на последнюю ступеньку. Два шага до офицера. Я видел, как вдруг странно дернулось левое плечо

Михаила Петровича. Он весь перекосясь, как подгнивший забор, и стал. Остановился...

С ним остановилась мысль. Остановилось сердце.

Так продолжалось секунду, две, пять, быть может, минуту...

Открыто, грудью, широко расставив ноги, стоял перед Михаилом Петровичем офицер и не спускал с него внимательных глаз... В бездонной, пустой тишине они были только двое. Друг против друга. Михаил Петрович и он. Он и Михаил Петрович.

— Раз... Два...

— Раз... два... т-р-и...

— четыре, пять... Раз, два, три...

Перед глазами стремительные, рвущиеся круги; тысячи солнц, то ослепительно ярких, то черных; бешеная пляска лиц и предметов и... застывшая, скривившаяся широкая спина Михаила Петровича.

— Почему она неподвижна?.. Что случилось?.. Раз... два... т-р-и...

И спина вдруг покачнулась.

Михаил Петрович закрыл рукою лицо и отвернулся от офицера.

— Не м-о-г-у! — уронил он глухо...

Я и теперь не знаю, что это было: слабость и трусость или интеллигентский рефлекс?.. Невозможность поднять руку на человека, не поднявшего еще руки на тебя?..

Михаил Петрович не был трусом...

И тогда поднял руку офицер. Он дал нам четверть часа на размышление и вывел драгун на улицу. Двери оставил широко раскрытыми.

Мы ждали подавленные. Никто не разговаривал. Не шевелились. Было тихо во всех этажах.

Пятнадцать минут прошли.

Мы смотрели на раскрытые двери и видели темный квадрат улицы. И вдруг из тьмы у дверей выросла серая, призрачная фигура, подняла руку, и медный, режущий звук боевого сигнала пронизал тишину и заполнил все здание. Три раза прозвучал он. И смолк. Был снова нам виден в раскрытую дверь темный квадрат улицы. Тяжко населз ждущая, жадная тишина.

Наверху кто-то запел «Марсельезу»... Так, вероятно, начинали петь свои псалмы раскольники в подожденном срубе...

Отре-чемся от ста-арого ми-и-ра...

Чистый, юношеский голос... Но сейчас же со всех сторон другие голоса испуганно зацыкали:

— Ти-ше!

Словно боялись упустить хоть один миг этой огромной смертельной тишины, наступившей после боевого сигнала.

И тогда другой голос, мужественно спокойный, громко сказал:

— Прощайте, товарищи!

Я не успел взглянуть на Гришу. Раскатистый, оглушающий треск взорвал тишину. Звон бьющихся стекол рассыпался по верхнему этажу. Снова треск и звон; еще и еще; через правильные, короткие промежутки.

Обстрел училища начался из винтовок залпами по этажам. Сверху дошло зычное:

— Винчестеры, маузеры — к окнам! Бомбисты — наверх!

Стоявший рядом со мною юноша с красивым смуглым лицом прыжками бросился вверх по лестнице. Почти сейчас же два гулких, мощных взрыва навалились на ружейную трескотню и смяли ее. Это были наши бомбы, брошенные с крыши.

После них наступила тишина...

По-щенячьи где-то раза два тьякнул револьвер.

От первого оружейного выстрела здание крякнуло и содрогнулось. Будто от землетрясения. Тяжко громыхнул второй выстрел. Третий. Хрустнуло над головами. По лестнице пополз удушливый дым. С потолка посыпалась штукатурка. Дверь угловой комнаты, выходящей окнами на улицу, открылась при выстреле и из нее мигнуло синеватым светом.словно заглянул кто с улицы на лестницу и на нас.

— Закройте дверь! — крикнул кто-то.

И каждый раз, когда разрывы гранат распахивали дверь, один и тот же голос повторял:

— Закройте дверь!

И невидимая рука тихо закрывала ее.

Слева от меня, припав на одно колено, стоял юноша с белокурыми кольцами волос. Заостренными глазами он испуганно всматривался вперед, и в дыму лицо его казалось зеленым.

В вытянутой руке у него был крошечный веледог. При каждом оружейном выстреле он наклонялся вперед и улыбался незабываемой улыбкой человека, у которого гаснет рассудок.

Кто-то тронул меня тихо за плечо.

— Петр!

Я оглянулся.

Сзади стоял старший брат.

— Я так... ничего... — сказал он на мой вопросительный взгляд. Улыбнулся неловко и погладил тихо полу моего пиджака.

Густел удушливый дым. Нависал сверху, полз снизу, из коридоров, и ел глаза. Все лица смазались. Терялись очертания фигур. Из бурой и едкой мглы люди вставали причудливыми силуэтами. Контурь были зыбки и менялись.

Один из снарядов с оглушающим треском разорвался на площадке третьего этажа. Лестница зловеще заколебалась. Раздались стоны. Испуганный голос крикнул:

— Лестница треснула!

Из комнаты, где был устроен перевязочный пункт с красными крестами на окнах, пригибаясь, выскочили санитары и санитарки. Солдаты стреляли по красному кресту.

У меня в револьвере были целы все до одной пули. Нелепость и бессмыслица происшедшего давила мозг. Я покинул свое место и пошел наверх. В дыму натькался на лежащих людей. Живые или трупы? — об этом не думалось. В коридорах четвертого этажа дым был гуще. По полу ползали люди. Я узнал в одной из ползущих фигур женщину-врача, настаивавшую на сдаче. В руках у нее была половая щетка и на ней белый платок. Она пыталась проползти к окну, выходящему на улицу.

Угловая комната, куда я вошел, была завалена мусором, обвалившейся штукатуркой, обломками оконных рам и битым стеклом. У развороченной снарядами стены, около окна, лежал человек... Я наклонился и узнал в убитом красивого смуглого юношу, бросившегося наверх после призыва: «бомбисты — наверх!» У него был вырван снарядом живот...

Когда я выходил из комнаты, незнакомый мне дружинник, стоявший у перил лестницы, странно вперил в меня расширенные глаза и с идиотической улыбкой вскинул руку. Пуля горячо прорезала воздух у самой щеки. Я бросился к нему и схватил его за руки:

— Что вы делаете?!

Он выпустил револьвер и, все не переставая улыбаться, с бессмысленным, безумным лицом начал пятиться в глубь коридора.

В задней комнате, пустой и темной, на полу лежали люди. Лежали вповалку, молча, затаенно, прижавшись плотно друг к другу. Окно, выходящее на двор, было открыто. Я сел на подоконник, жадно глотая холодный воздух, пахнувший снегом, как в дни оттепели. Против окна вела на крышу пожарная лестница. Сколько времени прошло, пока я сидел так, — не знаю. Вероятно, долго. В комнату то-и-дело вбегали люди, натыкались на лежавших на полу и испуганно, а некоторые изумленно спрашивали:

— Что это! Кто здесь?!

И тогда с пола торопливо и умоляюще шептали:

— Ти-ше, ради бога, тише!..

Когда стрельба вдруг прекратилась, лежавшие на полу завозились; сперва робко, потом смелей; некоторые выползли в дверь, кое-кто поднялся. Чиркнула спичка. Я различил испуганно ворчавшуюся по сторонам лохматую голову.

— Товарищ! — обращаясь, очевидно, ко мне, спросила она сдавленным голосом.

Я молчал.

— Товарищ, стреляют?

Я ничего не ответил.

Снова чиркнула спичка. Пошатываясь, темная фигура вышла из комнаты. Я отвернулся и стал смотреть в окно. Неожиданно на пожарной лестнице показался человек. Как раз против окна. Я вздрогнул. Откуда и зачем очутился этот человек на лестнице? В это время кто-то быстро и громко вошел в комнату и, очевидно, заметив на лестнице человека, метнулся к окну.

— Не смей! — злобно крикнул он человеку на лестнице, вытягивая руку с револьвером.

— Слезай! Застрелю сейчас! Тру-ус!

Человек на лестнице качнулся и прыгнул на подоконник.

— Я с крыши... Расстрелял все патроны... — шопотом проговорил он и, всмотревшись в лицо угрожавшего ему человека, сказал:

— Это ты, Сережа?..

Тот, кого назвали Сережей, тряхнул кудрями и жестко проговорил:

— Я думал кто-то удирает... Застрелил бы мерзавца!

Мы вместе, вдвоем, вышли в коридор, глухо гудевший головами... Волновались дружинники. Часть настаивала на сдаче, указывая на бесполезность дальнейшего сопротивления. Их поддерживали все те, кто случайно оказался в этот вечер в училище.

Меньшинство не хотело и слышать о сдаче.

— Кто хочет — сдавайся, а мы останемся!

— Но тогда нас расстреляют!

— Все равно!

— Среди нас женщины и посторонние!

— Труссы!

Молодая белокурая девушка, размахивая браунингом, насадала на господина в воротничках и пенсэ и иступленно выкрикивала ему в лицо:

— Позор! Вы не имеете права называться революционером! Вы — трус! Мы должны погибнуть. Понимаете? Должны!

Господин не слушал и через ее голову выкрикнул кому-то:

— Поймите же, товарищи, это бессмысленно! Это очень плохая игра в солдатики... Революционность не должна переходить в глупость.

— Вы, меньшевики, никогда не были революционерами!—парировала девушка, — все равно мы не сдадимся... Позор!

Внезапный мощный взрыв обрушился на спорщиков, заглушил, смял, обез'язычил их всех и расшвырял по темным углам коридоров и задних комнат... Через минуту ко мне подошел Гриша. Обсыпанный весь чем-то белым, очевидно, пылью обвалившейся штукатурки, возбужденный, с сияющими глазами, он шепнул мне на ухо:

— Слышал?!. Э-эх, в са-амую гущину саданул!..

Сверкнул крепкими белыми зубами в улыбке и исчез.

Рассыпалась снова по всем этажам злобная ружейная трескотня. Крошились со звоном стекла и сыпалась с потолков штукатурка. И снова ухнул орудийный выстрел, за ним другой, третий, через правильные промежутки времени... Густея, напелзал желтоватый удушливый дым, и в нем, как в липкой каше, кто-то размешивал человеческие фигуры. В паузы между орудийными вздохами врывались настойчивые, испуганные выкрики:

— Сда-е-мся!.. Сда-е-мся!..

Было ясно: сопротивление кончено. Бой проигран. А в револьвере — целы все до одной пули... Позор-ор. Позорная сдача...

Самая гнетущая мысль была, это — проигран первый бой. Наше поражение деморализует других. Мы — начало восстания...

Сито десятилетий отсеяло все ненужное, мелкое... Теперь белокурый юноша с веледогом в руке (оружие специально для дамских неудачных самоубийств) против трехдюймовых орудий мне вспоминается героем... Да, кто знает, способен ли теперь и я с парабеллумом в руке выдержать пятичасовую артиллерийскую бомбардировку и не покинуть поста...

Но тогда не было ни одной оправдывающей мысли. Было стыдно. Было жгучее бессилье.

Позорная сдача. Поражение...

Я бродил по этажам, коридорам... Заходил в какие-то комнаты, наткался на опрокинутые парты и столы и всюду сталкивался с мучущимися взад и вперед людьми. Искаженные страхом лица утратили человеческое. Словно пылающий зверинец или подоженный скотный двор... Войска давно прекратили стрельбу, а люди подбегали к выбитым окнам, махали белыми платками и не переставали кричать:

— Сда-е-мся, сда-е-мся!..

Яростный, потный ко мне подскочил Гриша, размахивая маузером.

— Сволочи, сдаваться хотят!.. Сволочи, интеллигентишки!.. Мы не хотим! Идем пробиваться!..

И куда-то вверх погрозил кулаком, сипло выкрикивая:

— Пробиваться, пробиваться!..

По всему зданию в густом, желтом дыму, как в закупоренной бутылке с мутной водой головастики, металась по всем направлениям обезумевшие люди, что-то кричали, схватывались в яростных спорах, ругались, грозили, мчались и прыгали дальше... И чувствовалась во всей этой сумятице одна торопливая, запыхавшаяся мысль:

— Скорей, скорей, сейчас опять начнут стрелять!.. Опять... опять... опять...

Вверху совещались начальники, но многие уже ломали оружие. Били заряженными револьверами о перила и ступени лестницы; швы-

ряли их в окна двора; то здесь, то там вспыхивали выстрелы. Кто-то, останавливая, надрывисто кричал:

— Товарищи, нельзя так!.. Осторожнее!.. Това-рищ-и, това-рищи!..

Никто никого не слушал.

Помню зимнюю, бледную ночь, когда мы, покинув училище, сдавшиеся, молчаливые, стояли толпой на улице... Около нас жалко светился кем-то зажженный одинокий фонарь. По тротуару с высоко поднятой головой расхаживал офицер и за ним, в пятку, как послушный пес, старый пристав.

К нам подошли полицейские и солдаты. Группами по пять человек начали обыскивать и, обыскав, отгоняли на другую сторону переулка.

Конец!..

— А когда вы нас бить начнете? — выкрикнул кто-то из нас нервным и ломким голосом.

— Вы — пленные. Никто вас бить не собирается, — громко ответил офицер, останавливаясь, и сделал широкий неопределенный жест рукой.

— Не верим! — крикнул тот же голос.

— Никто вас не тронет пальцем, если вы будете вести себя смирно.

— А что значит смирно? Мы безоружны.

— Я не знаю.

— Товарищи, слышите, — взволнованно крикнул тот же голос, — может быть провокационный выстрел.

— Один за всех и все за одного! А пока — успокойтесь, даю вам честное слово офицера — вы в безопасности... — театрально произнес ротмистр.

Прямо против нас были ворота дровяного двора, откуда велся артиллерийский обстрел. Они были открыты, и в них стояло несколько человек солдат, с любопытством наблюдавших за процедурой обыска. Один из товарищей, пытавшийся неудачно в сумятице сдачи выбраться из тройного кольца войск, медленно и разочарованно возвращался правой стороной тротуара, направляясь к нам. Когда он поровнялся с дровяным двором, кто-то из стоявших в воротах артиллеристов выстрелил в спину.

— Товарищи, я ранен! — крикнул он и упал.

— Где ваше офицерское слово? — раздалось возмущенные голоса, — убий-цы!

Ротмистр махнул кому-то шашкой:

— У-бра-ать!

Потом было долгое, непонятное ожидание на углу переулка. Падая легкий, еле заметный снежок. В свете фонаря лица были бледные и изможденные, как после тяжелой болезни. Мы почти не разговаривали... Лишь изредка упадет недосказанная фраза, слово... Кто-то о чем-то спросит и, не получив ответа, умолкнет... Снег пошел крупней. Хлопья садились на лицо и таяли. Покинутое нами здание училища мрачно глядело на нас дырами фасада, изуродованного артиллерией. И зияющие чернотой отверстия были как вытекшие глаза...

Оба переулка — сзади и сбоку от нас — были преграждены плотными рядами солдат. Бросалась в глаза их смешанная форма. Тут были и астраханцы, и Самогитского полка, и ростовцы... Отборные, мажорные... За ними маячили конные полицейские и жандармы.

Лишь в направлении Чистых Прудов переулок был свободен от солдат. Это оттуда наскочили сумцы... Сперва — далекий, глухой топот копыт. Потом вдруг совсем близко от нас вскинулась пьяная, размашистая команда:

— Ша-а-шки-и... вон!

Конная часть выросла перед нами и ухнула серой и тяжелой глыбой... С пьяным сладострастным побряхтываньем драгуны рубили, топтали лошадьми, мяли и мешали, как кашу, сбившихся в тесную кучу безоружных людей... Мы были побежденные... Пали без стога. Умирали, стиснув зубы.

...час и скупленья пробил...

И тут произошло то, чего меньше всего ожидали победители — ротмистр Рахманинов, пристав Гедеонов, корнет Соколовский и где-то там, за ними, в своем генерал-губернаторском дворце свирепый старик-адмирал...

Ряды солдат, преграждавшие переулок за нашей спиной, вдруг дрогнули, заколебались, две или три винтовки вскинулись к плечу, и мы услышали громкое:

— Бегите к нам!..

Этот призыв услышал и ротмистр Рахманинов и понял.

Вскинув руку, он бросился к безусому корнету, крутившемуся над павшим с обнаженной шашкой в руках, и крикнул:

— Корнет Соколовский, остановить!

И повторил еще раз:

— Я вам приказываю... Корнет Соколовский, корнет Соколовский!.. Слышите?!.

С ругательством пьяный корнет отдал команду... Не легко было остановить разгулявшуюся руку сумцов.

Под утро Бутырская тюрьма приняла уцелевших.

У решетки

Четыре стены одиночки, высокое окно, забранное решеткой, и глухая плотная дверь мяли время, как хлебный мякиш... Откроешь глаза, поднимешь с соломенной подушки голову — и не знаешь, что это? Утро, вечер ли?.. А может быть, ночь!?!.. Или же все это — сон, только сон!?

Подойдешь к двери, приложишь к волчку ухо и слушаешь. Тихо. Лишь над головой — ровные, безначальные шаги, как ход маятника. В окружающем безмолвии только одни они — живые; и мысль цепляется к ним и тенью провожает их от стены до стены, вперед — назад, вперед — назад...

Так проходит минута, быть может, час, и вдруг острое припоминание разорвет эту муть, и сразу придвинутся чужие и близкие лица: Гриша Маслобойщиков, брат, ротмистр, тучная фигура, ползающая перед ним на полу; потом — бесконечные темные улицы и долгое, томительное ожидание у огромных, глухих ворот тюрьмы...

Нас принимал дежурный помощник начальника тюрьмы. Был он весь какой-то зловеще-траурный: в темных очках, в черном, наглухо застегнутом мундире, с черными усами и, когда улыбался, обнажал порченые, черные зубы... Помещение, куда ввели нас, было похоже на подвал; огромное, пустое, с нависавшими низко сводами, с грязным асфальтовым полом и облупленными стенами. Сильно пахло керосином. Молчаливые надзиратели в темных мундирах приступили к обыску. Когда обыскали первых пять человек, тут же увели их в какую-то маленькую дверь, и все мы после этого стали

смотреть на нее, и казалась она нам таинственной и страшной. Никто из нас не знал, что было за ней... И каждый из следующих пяти прежде чем войти в нее, повертывался к остающимся и кричал:

— Прощайте, товарищи!...

Когда за мной тяжело затворилась дверь одиночной камеры номер сорок семь, я сел на деревянную койку и без единой мысли в голове, подавленный, безнадежно просидел так очень долго, потом лег и уснул... Разбудил меня осторожный стук в стену. Я не понял сперва, а когда догадался, что стучит сосед по камере, мною овладело необычайное волнение. Я долго не мог сообразить, что надо сделать. Потом торопливо нацарапал на стене квадратики тюремной азбуки. Руки дрожали. Ужасно боясь напутать, я начал выстукивать:

— К-т-о с-т-у-ч-и-т?..

Спросил и ждал. Смотрел, не отрываясь, на стену. Белая, свежее выкрашенная, с мелкими бугорками штукатурки... Раздался осторожный ответный стук.

Этот стук — забываем. Он был особенный, ни с чем несравнимый. Он был живой. С ним через камень просачивалась жизнь. В безмолвие закупоренной камеры входили живые человеческие слова. Капля за каплей, буква за буквой стена отдавала их мне, и я складывал их в своем сердце.

— Где арестованы?

— Фидлеровском, а вы?

— Тоже. Как фамилия?

Я не успел достучать своей фамилии. Взволнованные двойные удары перебили меня. Короткая пауза, и за ней:

— Петр. Я — Сергей.

Невидимый сосед по камере был мой брат.

Торопливой чередой побежали стук. Мы понимали друг друга с полуслова. Достаточно было одной-двух начальных букв, и уже рождалось все слово, и по одному слову угадывалась фраза.

— Ты что делаешь?

— Сплю. А ты?

— Тоже.

Это был наш первый разговор. Его прервал надзиратель. Открыл форточку и строго сказал:

— В карцер захотел?

Я виновато улыбнулся и зашагал по камере...

На этом припоминание обрывается...

Я снова слышу над головой глухие, ровные шаги и только тут замечаю, что и я сам уже давно хожу из угла в угол. Присев на койку, прислушиваюсь к шагам над головой. Когда начались они и когда кончатся?! Но я воспринимаю их уже по-другому. Я знаю, о чем они думают. Я читаю их безначальные, бессонные... Тот, кто надо мной, и я, мы оба — одно. Четыре стены, дверь, решетка, койка, от стены до стены шесть шагов тех же дум... Раз... два...

— Раз... два... три... шесть...

Вечер, ночь, день?!.. Кто-то мнет время. Время—мякиш...

— Открой форточку в окне,—стучит мне брат.

— Зачем?

— Открой. Слушай.

Я подхожу к окну. Морозная лава катится на голову. В черном квадрате железного переплета — далекое зарево.

Где, в какой части Москвы? — я определить не могу. Я еще не освоился с положением своего окна.

Прислушиваюсь и ничего не слышу.

Высоко-высоко, словно подвешенная, покачивается звездочка, прячется за широким прутом решетки, выглядывает и прячется снова. Я смотрю на нее и долго не могу понять, почему она покачивается. Потом соображаю — пошатываюсь я.

И вдруг за окном, на воле, кто-то гулко и тяжело прыгает в тишину... Прыгнул, присел, придавил и прыгнул снова...

Схватившись за раму, я подтягиваюсь к фортке. Колеблется палевое зарево. Затаив дыханье, смотрю на него и слушаю. И слышу: один за другим, через ровные промежутки времени, падают далекие, гулкие и тяжкие удары... Там, где зарево...

И я понял.

Дубасовские пушки расстреливали восстание.

— Слышал? — тихо простучал мне брат.

— Да, — ответил я и лег на койку лицом в подушку...



Вступление к поэме „Спекторский“

Б. ПАСТЕРНАК

Привыкши выковыривать изюм
Певучестей из жизни сладкой сайки,
Я раз оставить должен был стезю
Об'евшегося рифмами всезнайки.

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребачества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.

Но я не засиделся на мели.
Нашелся друг, отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны.

Задача состояла в ловле фраз
О Ленине. Вниманье не дремало.
Вылавливая их, как водолаз,
Я по журналам понырял немало.

Мандат предоставлял большой простор.
Пуская в дело разрезальный ножик,
Я каждый день форсировал Босфор
Малодоступных публике обложек.

То был двадцать четвертый год. Декабрь
Твердел, к окну витринному притертый,
И холодел, как оттиск медяка,
На опухоли теплой и нетвердой.

Читальни департаментский покой
Не посещался шумом дальних улиц.
Лишь ближней, с перевязанной щекой
Мелькал в дверях рабочий ридикюлец.

Обычно ей бывало не до ляс
С библиотекаршей Наркоминдела.
Набегавшись, она во всякий час
Неслась в снежинках за угол по делу.

Их колыхало, и сквозь флер невзгод,
Косясь на комья светлосерой грусти,

Знакомился я с новостями мод.
И узнавал о Конраде и Прусте.

Вот в этих-то журналах, стороной,
И стал встречаться я, как бы в тумане,
Со славою Марии Ильиной,
Спискавшей нам всемирное вниманье.

Она была в чести и на виду,
Но указанья шли из страшной дали
И отсылали к старому труду,
Которого уже не обсуждали.

Скорей всего то был большой убор
Тем более дремучей, чем скупее
Показанной читателю в упор
Таинственной какой-то эпопеи,

Где, верно, все, что было слез и снов,
И до крови кроил наш век закройщик,
Простерлось красотой без катастроф
И стало правдой сроков без отсрочки.

Все как один, всяк за десятерых
Хвалили стиль и новизну метафор,
И с островами спорил материк —
Английский ли она иль русский автор.

Но я не ведал, что проистечет
Из этих внеслужебных интересов.
На рождестве я получил расчет,
Себе пути дальнейшие отрезав.

Тогда в освободившийся досуг
Я стал писать Спекторского, с отвычки
Занявшись человеком без заслуг,
Дружившим с упомянутой москвичкой.

На свете был ей непочатый край,
Ничем незамечательных — тем боле.
Не лез бы я и с этой, не сыграй
Статьи о ней своей особой роли.

Они упали в прошлое снопом
И озарили часть его на диво.
Я стал писать Спекторского в слепом
Повиновеньи силе об'ектива.

Я б за героя не дал ничего
И рассуждать о нем не скоро б начал.
Но я писал про короб лучевой,
В котором он передо мной маячил.

Про мглу в мерцающи плоски погребной,
Которой ошибают прозы дебри,

Когда нам ставит волосы копной
Известье о нечитанном шедевре.

Про то, как ночью, от норы к норе,
Дрожа, протягиваются в далекость
Зонты косых московских фонарей
С тоской дождя, попавшею в их фокус.

Как носят капли вести о езде,
И всю-то ночь все цокают да едут,
Стуча подковой об одном гвозде
То тут, то там, то в тот под'езд, то в этот.

Светает. Осень, серость, старость, муть.
Горшки и бритвы, щетки, папильотки.
И жизнь прошла, успела промелькнуть,
Как ночь под стук обшарпанной пролетки.

Свинцовый свод. Рассвет. Дворы в воде.
Железных крыш авторитетный тезис.
Но где ж тот дом, та дверь, то детство, где
Однажды мир прорезывался, грезясь?

Где сердце друга? — Хитрых глаз прищур.
Знавали ль вы такого-то? — Наслышкой.
Да, видно жизнь проста, но чересчур.
И даже убедительна, — но слишком.

Чужая даль. Чужой, чужой, из труб
По пням и шляпам шлепающий дождик,
И отчуждением обращенный в дуб,
Чужой, как мельник пушкинский, художник.



Севастополь

Повесть

АЛ. МАЛЫШКИН

(Окончание 1)

VI

Поломка руля повлекла за собой нечаянный и большой переворот в жизни витязевских.

Комиссия, осмотрев пароход, постановила отправить его в док на большой ремонт. Капитан Пачульский, заподозрив в этом тайные интриги своих вольнонаемных, только и мечтавших якобы о том, чтобы вместе с военными бить баклуши на митингах, на дармовщинку получая жалованье, потребовал объяснения с комиссией, брызгал слюной, доказывал... Но доказать ничего уже не мог. Шибче его горланил судовой комитет и еще шибче — свои же вольнонаемные, бывало, ходившие тише воды, а теперь сбросившие прежнее покорство и злобно огрызавшиеся на каждое капитанское слово; кок назвал его даже при всех старой держимордой. Вообще, для капитана начинались большие неприятности.

Штабу бирилевскому, в виду таких чрезвычайных обстоятельств, предложили перебраться на другой корабль.

Куда же? Кроме «Витязя», в дивизионе насчитывалось еще четыре больших парохода. Но «Трувор» только-что ушел с карательным отрядом в Евпаторию. Остальные — «Батум», «Россия» и «Херсонес» — тоже вели бродяжью жизнь, то-и-дело перебрасывались Центрофлотом из одного порта в другой. А штабу, обслуживавшему дивизион денежным и провиантским довольствием, как кормильщику полагалось точно быть в одном месте. Команда собралась на совет и единогласно, в охотку решила: перебраться на бригадный катерок «Чайку», без дела болтавшийся у того, городского берега.

Матросы, не скрываясь, радовались этой перемене, хоть немного взбаламутившей одинаковую сидячую жизнь. Радовались близости города, куда от «Чайки» можно было махать прямо посуху. Радовались тому, что получили в полное самоличное владение какое-никакое, а все-таки целое судно. Вдобавок, как сразу смекнул Каяндин, это сулило и некие секретные и обильные выгоды.

Да и для Шелехова тоже, пожалуй, облегчением было бежать подальше от «Витязя», где, казалось, каждый шаг был запятнан следами мрачных, незабывающихся видений.

Запомнилось особенно то, что пришлось пережить утром после бирилевской ночевки и игры в «море волнуется».

В то утро звонили церкви — кажется, было воскресенье. Окрестности рейда, талые, мокрые, заунывно сверкали под солнцем. Что-то покойническое крылось в этом сверкании и благовесте. Под Графской,

¹ См. «Новый Мир» кн. 11 с. г.

куда Шелехов неотрывно глядел через цейс, суетились черные фигуры матросов. Самое страшное и была именно эта суета около какой-то нескладной, беловатой кучи. Матросы вытаскивали из кучи не то свертки, не то бревна и, раскачав, бросали в длинную, ветхую лодку, причалившую вплотную к ступеням пристани. Конечно, после ночи он знал, над чем там орудуют... На берегу горкой стоял глазеющий народ, мальчишки.

Смертельная тошнота заставила его тогда отвалиться от иллюминатора. Тошнота, от которой некуда было уйти, не на что было взглянуть. Завывал празднично благовест, сверкала, кружась, земля... Сбежать бы в галюн, засунуть два пальца в сухую глотку...

Матросы, не обращая внимания на Графскую, ретиво делили в канцелярии только-что полученное обмундирование. Они еще спозаранку нагладелись, ходили всей шатией по городу.

— Набили этих буржуев... подметают с улиц, как сор! В сатиновом белье, бородки нежные, конусами. Сичас балластины всем наряжут и амба, за боны!

А Хрущ рассказал, что из города бегут, платят по двести—триста рублей извозчику, только чтоб уехать подальше. Работали ночью братишки-анархисты. А большевики, чтобы наперед устранить самосуды, объявили афишками революционный трибунал.

Будут судить вечером каких-то пойманных пятьдесят монахов.

— Он монах, а заголи ему овчину — под ней три звездочки,—сурово уяснял бирилевский вестовой.

В то утро Шелехов и себе попросил матросскую робу. Сначала хотел только примерить, повозиться около матросов, чем-нибудь пересилить в себе тошный упадок сил; а потом уже и не снимал.. Легче чувствовал себя рядом с ребятами, в синей мешковатой фланельке с полосатым треугольным выемом на груди. И от грудастого, сшитого отличным петербургским портным кителя отказался без всякого сожаления. Все равно — не стало ни чинов, ни отличий. И Кузубов, и Бирилев, и Шелехов — все назывались теперь одинаково: военными моряками.

Матросы перестали ошибаться, величать господином мичманом, стал он просто — Сергей Федорыч.

И на новую квартиру переезжал обряженный в казенный долгополый бушлат и новые яловые сапоги. Старательно выгребал веслом рядом с Опанасенко. Матросы, перевоза на шлюпке канцелярский скарб, рвались через рейд с песней, Каяндин величаво правил рулем, Васька же, стоя на носу, озорства ради изображал марсового и, завидя впереди пузатый, облупленно-серый, очень неказистый на вид катерок, завопил:

— Полундра! «Чайка» по носу!

* * *

«Чайка» покачивалась в тихом месте, под кручей. Просторно было на ней глазам.

Напротив через воду синела стройнотрубая, выставившая вперед острые ножовые груди минная бригада. Поодаль громоздилось черное уродливое судно, похожее на пловучий деревянный цирк, без носа и без кормы, по прозванию «Опыт». По рассказам, «Опыт» построили специально для старой царицы Марии Федоровны, которая в виду нежной природы на обыкновенных кораблях ездить не могла, укачивалась. По особым чертежам инженеры и построили нечто в роде огромной лохани или цирка, в котором, по их мнению, даже во

время самого зверского шторма пассажирка должна была себя чувствовать покойно, как на подушке. Однако, едва это сооружение пустили по морю, на сравнительно тихую зыбь, его так неистово заболтыхало и вдоль и поперек, что не только старая царица, но и бывалые сопровождавшие ее люди изbleвались до полусмерти. После этой пробы и поставили «Опыт», в'ехавший казне в миллион, у стенки на вечные времена.

Над самой «Чайкой» отвесно возвышалась стена гигантского гидрокрейсера «Оксидюс», похоже—французского, так как на палубе сновали необычно одетые матросы — в кофточках и бескозырках с красными помпонами.

«Чайка» понравилась Шелехову «своею малостью и теснотой. На носу, за узким лазом, в котором надо было сгибаться до ломоты, помещалась крохотная пещерка для канцелярии. На корме — матросский кубрик: четыре полки для спанья, кухонный стол. За иллюминатором, едва не ровень со стеклом, водяная гладь рейда.

Разместились все шестеро — Каяндин, Кузубов, Чернышев и Шелехов, как он сам того пожелал — в кубрике, Опанасенко и Хруща положили в канцелярии. Бирилев в первую же ночь ушел на «Качу», загородился за Скрябиным в его каюте.

Матросы ухитрились, провели на суденышко кишку с горячим паром от «Оксидюса», минер Опанасенко оттуда же наладил провода. В кубрике зашипело тепло, загорелось солнышко. Ребята растянулись по койкам, блаженствовали.

— Теперь заживем, — вслух за всех мечтал Каяндин. — До весны демобилизоваться, правда, на кой нам чорт. Лежи, да лежи, пока кормят. Жалованье по двести бумажек получим — в засол. С первого числа продуктов затребуваем, загоним — деньги в засол. А, Васька?

У Чернышева щеки ухмыльно расплзались, как тесто.

— За-со-лим!

— В деревню, чорт, царем приедешь!

Каяндин косил краем глаза на Шелехова — не то всерьез, не то ехидничал:

— А Сергей Федорыч, как универсант... лекции нам будет читать, образовывать дураков!

Шелехов, не обращая внимания на его подозрительную ухмылку, ухватился за это с горячностью.

— А что, ребята, вправду! Делать-то все равно вам нечего. А до весны... до весны мы с вами сможем знаете что?

Даже задохнулся — такое нахлынуло вдруг нетерпеливое, бурное мечтание. В самом деле, до весны, живя бок-о-бок, целое чудо можно сотворить с ребятами. То, чего не удалось довершить на бригадных, разметанных жизнью курсах, вполне можно добиться здесь, на уединенной «Чайке», где потекут неторопливые, пустые дни. Каяндин, например, оченьмышленый парень и уже хлебнул кое-что от грамоты — его можно, конечно, на аттестат зрелости; остальных — за четыре класса... Да, вот еще: удивить, выучить на досуге хотя бы французскому языку — пусть форсят перед всем флотом! Решил пока не говорить матросам ничего, чтобы потом сразу оглушить их этой своей добротой, своей заботой, своей щедростью, — глушил нарочно рвущееся наружу телячье ликование.

— Схожу на-днях в магазин, выберу для вас книги, и уж тогда точно, ребята, распределим свое время, займемся серьезно. А пока, начиная хоть с завтра, побеседую с вами так — ну хоть по истории, по географии, ладно?

Матросов тоже заразило, сладко ежило от устроенности, от делового уюта.

— Ла-адно!..

А Кузубов к случаю изрек замысловато:

— Это, по-крайности, дело. А то, чего мы в жизни видали? Одну физиологию...

И Шелехов, вытягиваясь рядом с ними на койке, с блаженством купался в застойном, хорошо защищенном отовсюду тепле. Его тело, перекоченевшее, слишком перекоченевшее в то утро, когда он через бинокль смотрел на Графскую, теперь отогревалось, отдыхало всласть.

Несмотря на свое матросское обличье, Шелехов не рисковал, однако, удаляться от катерка дальше неглубокого овражка, куда обитатели судна, за неимением гальюна, бегали за нуждой. И там, в овражке, отдаваясь желудочным судорогам, надышивался в волю холодным живым воздухом, наглядывался открытым просторно над жизнью небом... Чего ему еще нехватало? Так, день за днем, глядишь — и прояснет штормовая даль, подойдет весна, а весной — это он твердо решил — двинет вместе с ребятами на север, начнет жизнь сызнова, как живут все люди... Над водою высоко, в несколько этажей, нависала синяя стена «Оксидюса», хлопотливо и шумно населенного, как хутор. В его тени, у подножия, побалтывалась «Чайка» едва приметным серым буйком, кругом — пустырьки, мусорные свалки, тишь. И какая упрятанная от чужого глаза тишь!.. Даже содрогалось тело от такого нестерпимого успокоения.

* * *

Так и жили.

Хрущ неугомонно понукал к действию:

— Судовой комитет надо выбрать. Порядок направить, продукты выписывать.

— Выберем, все будет. Время много.

Однако, тут же, валяясь по койкам, и выбрали. Каяндина — председателем, Кузубова — секретарем, Ваську Чернышева — членом. Из конторы порта судовой комитет выписал первым делом провианта на месяц: на двадцать пять человек, якобы проживающих на «Чайке», коровьего масла в бидонах, солонины, сахару. Хрущ и Опанасенко выгодно загнали все это добро на балочке, деньги матросы поделили между собой.

Васька, подсчитывая свои бумажки, мешкотно мял их в руках, словно стесняясь брать совсем.

— Ребята... Всегдаки, народное достояние ведь...

Каяндин, прохладаясь по обыкновению на койке, фыркал:

— Хрен мы положили на народное достояние!

Вообще, баталер вел себя барином, никогда ничего не делал, кроме ничтожной канцелярской работы. Больше сидел, курил, помазывая ногой на ногу.

И во время первой лекции позевывал, сначала укрыто, за Васькиной спиной, потом уже не стесняясь и не стирая с лица гнусновато-загадочной какой-то ухмылки, словно не верил ни одному слову из того, что говорил Шелехов. Зато остальные сидели выпрямленно, истово, как иконы, так истово, что и не понял Шелехов, уразумели они что-нибудь из его первой беседы или нет. Рассказал им про славян и древнюю Русь, дошел до Ивана Грозного.

Матросы после лекции вежливо поблагодарили, но тут же, как-то сразу, в минуту сгнули с суденышка, словно ветром их смахнуло.

В город уходили почти каждый вечер, оставляя, однако, с Шелеховым или Ваську, или Опанасенко посменно: наверно, из сочувствия придумали это между собой... Возвращались поздно.

Из отрывочных матросских разговоров угадывалось, что опять суровеет и мрачнеет воздух над Севастополем... Правда, матросы балагурили, приправляли свои рассказы зубоскальными примечаниями, но нельзя было не почувствовать их раздумчивости и беспокойства.

Крепчали слухи о белогвардейских замыслах кругом Севастополя. В Симферополе, центре татарского края, зрели и копились направляющие силы, стремящиеся сбросить с Крыма ненавистную им советскую опеку и образовать самостоятельное государство, едва ли не ханство.

Выдвигался, гремел, диктаторствовал над всеми национальными организациями некий Сейдамет.

В Крым стягивались с фронта татарские части; в Евпатории, Симферополе, Ялте и Феодосии организовались подпольно сильные офицерские отряды (говорили, что по калединской указке) и вооружали население против Советов и большевистского флота. В самом Севастополе и кругом его, был слух, лазило много переодетых шпионов.

Шептуну на уличных летучих митингах усугубляли мрачное настроение моряков, припоминая пророчества полковника Грубера: «а вы все в мешке... в мешке... в мешке...», указывали даже точное время, когда должны были разразиться неслыханные события: в полночь на 12 января. О полночи этой говорили все чаще, все прихмуреннее и в городе и в кают-компаниях; дошла эта полночь и до «Чайки»... И неизвестно, кому она больше грозила: матросам ли, ожидавшим, что в эту ночь рванется на Севастополь осатанелая офицерия, чтобы предать их всех поголовному истреблению, или офицерам, которые были убеждены, что, в случае чего, матросы, прежде чем самим погибнуть, вырежут их в отместку всех до одного.

По видимости же на «Чайке» продолжалось безмятежное привольное житье. Вот — вечер. Покачивается катерок на небольшом прибое, как колыбель, в кубрике тесном шипит горячий пар, банно мерцает лампочка, матросы, расстегнувшись до голого, дармоедно валяются, засыпая и опять просыпаясь. Разлеживались так до томи, до одурения.

— Васька, ступай попить принеси! — вяло озоровал Каяндин.

— Вон в углу ведро, пей.

— А ты подай.

— У нищих лакеев нет.

Каяндин чертыхался, расслабленно, со стоном кидал ноги в разные стороны, через голову стягивая с себя духотную фланельку — мочи не было от жары.

— Ва-аська-а... — бормотал он, в который-то раз засыпая.

Однажды вечером случилось так, что с «Чайки» ушли все, оставив флаг-офицера одного. И Ваську, и даже Опанасенку соблазнило потолкаться на вокзале, поглазеть на самодельные, уже налаженные ударниками на полный ход броневые площадки. (Было тоскливо-непонятно, почему именно к таким вещам тянется восхищённое матросское любопытство. Ну, хоть бы кино...) За «Оксидюсом» заходило солнце, ложились по рейду чудовищные тени кораблей. «Чайка» покачивалась, вся озаренная преувеличенным и большим пожаром. Почему-то ее внезапная пустота, ее полная открытость и эта кидаящаяся в глаза яркость почувствовались опасными и угнетающими. Невольно потянуло найти такое место, где бы можно было укрыться

незаметно, спокойно пережить эти несколько часов одиночества. Но где?

Канцелярская каютка слишком вылезла вперед, на вид... Глубокая и узкая яма кубрика казалась мышеловкой..

Шелеховым вдруг овладед противный, знакомый по битязевским ночам трепет. Отдельные расправы не прекращались, случались то там, то сям... Конечно, за них нельзя было винить ни ударников, ни большевиков, ни матросскую массу вообще. То крутилась мелкая и лютая зыбь, оставшаяся от громоносного шквала; какие-то неумные, полурехнувшиеся одиночки рыскали в потемках... Но разве не могли они выследить, забрести и на «Чайку»?

Его внимание привлек край кормы, огражденный низеньким фальшбортом. За этим краем начиналась глубокая вода, казавшаяся еще более глубокой от тени и бликов, бросаемых на нее отвесной стеной «Оксидюса». Этот край что-то подсказывал... На случай, если придут, можно потихоньку спуститься за него, повиснуть над водой, держась снизу руками за борт: там Шелехова никто бы не увидел. Можно провисеть так полчаса, потом отдохнуть на воде — он плавает отлично. Правда,¹ холодновато купаться в декабре, но ведь если вопрос пойдет о жизни, об этом рассуждать не придется.

Вот сумеет ли он подтянуться?

Над головой висела рейка игрушечной чайкинской мачты. Порывисто уцепился обеими руками, напыжился, силясь подтянуть к ней свое тело. Но тяжелые матросские сапоги не отрывались от палубы, словно то не его были ноги. В груди сперлось, лицо удушливо и горячо напряжилось от прилива крови... Он еще раз со злобой повторил усилие. Все-таки мучительно нехватало дыхания. Пальцы оборвались, туловище рухнуло на подломившиеся колени, будто чужое, бессочное, выпито.

Ушиб помог ему очнуться... Как-будто в первый раз присматривался к себе со стороны — не то изумленно, не то с омерзением.

...Барахло в бушлате, с немощно раскинутыми по палубе ногами, беззащитно ожидающее пинка. Разве это он, Шелехов?

Вся убогая скорченность его существования, все трепетные сидения в подвальной глубине кают, липкое прислушивание к каждому стуку по ночам, собачье-ласковое заискивание перед матросами — все кричало теперь, бесстыдно, вслух об'являлось из скрюченной этой жалкой спины. Он чувствовал даже особый запах, который испаряла его жизнь, особую безвыходную тухлую душноту, подобную той, какую вдыхает человек, скукожившийся, задохшийся надолго с головой под одеялом.

Когда это началось?

Должно быть, с тех пор, как матросы стали отходить на иную, отвергнутую им развилину пути. Буря относила их все дальше и дальше. Они уже без него повесили за спины винтовки, свергали Мангалова, двинули буйным скопом бригаду на Севастополь. Он притих в стороне, только таращился в иллюминатор заодно с остальными каютными жителями... А как там ревели за бортами, какой ужасающий и увеселительный разыгрывался шквал! Сгинуть бы в нем вольной птицей!.. Да, он не раз воспалялся мечтой об этом, но только мечтой: с него и этого было довольно, чтобы гордиться, отделять себя от Бирилевых.

Ну, а что он сделал для революции как друг, как пособник? Какое-либо усилие, риск?.. Он не мог припомнить. Он сдавил пальцами глаза, но не мог припомнить... Он не делал. Он только глядел да думал по поводу выгяденного, думал невразумительно и угнетенно,

изнуря свой мозг этим никчемным и ему самому ненужным думанием.... Шелехов, наконец, присел, поднявшись на разбросанных за спиной руках. Ясно, что теперь надо было предпринять: завтра же с утра пойти в Центрофлот или в штаб ударников и заявить... Он мысленно привел себя в голую казарменную комнату, поставил перед столом, за которым трудились над какой-то бумагой трое в полосатых тельниках, с воловьими лбами (должно быть, заправили из боцманов-украинцев), заранее видел, как они, неурочно оторванные от дела, сначала взглянут на него скучливо и досадливо. «Тебе что? Ага-а... Вы бывший ахвицер. Желаете до отряду?..» А пришедший, назвав себя, безвозвратно предложив себя, вдруг заметит в бездне, за глубоким казематным окном, распаханное бесплодие моря, беспредельную тоску воды и верхушки ближайших, чугунно поднимающихся из зыби судов и поймет, что ему не вернуться уже в тихий свой угол на «Чайке», где его никто из чужих не видит и никто никуда не потребует и где можно в одиночку поужинать куском брынзы, услужливо купленной для него Опанасенко, и потом чай пить до пота, выбегая освежиться, обмахнуться рукой на тесноватую, привычную, как постель, палубу «Чайки» («у нас, что твоя дача!» — удовлетворенно замечает Кузубов, милый Кузубов, с которым тоже проститься безвозвратно, навсегда...). А потом, взяв сверток белья подмышку, — на новую квартиру, на люди, на тысячу чужих глаз, возможно, рядом с кем-нибудь из тех, которые тогда на Графской, взяв за руки и за ноги, раскачивали...

Кругом сияла мгшистая надводная ночь. В тылу горы, загораживающей полнеба, где-то над оградами Севастополя всходила недосягаемая взорам луна. Уступы гор и зданий млечно мерцали. Кровли крымского города наверху, должно быть, тоже полыхали восточным одуряющим светом. На «Оксидюсе» вдруг бурно проиграли на рояли, словно вырвался многоцветный, стенающий и смеющийся залп... Звучки еще долго висели, чудились в тишине томительным криком... Близилась и не давалась чья-то знакомая до блаженства поступь и улыбка. Еще немного — и готово было ослабеть и отвориться что-то в душе, запросить простого, неиздуманного, неизмученного счастья...

Матросы вернулись поздно, около полночи. Шелехову, свернувшемуся под бушлатом на верхней койке, разбередил глаза неотвязный свет лампы. Хрущ разговаривал вполголоса, думая, что флаг-офицер спит:

— А здорово ихнего брата пристращали. Наш давеча волокет ведро с водой с под горы. Я говорю: зря валандаетесь, не на это ведь учились.

— Теперь их заставь сапоги чистить и вычистят, за мое-мое, — равнодушно подтвердил Каяндин, застилая себе постель.

— Ну да... это все до поры до времени, до случая...

Матросы поужинали вкусно, с чваканием.

— На «Оксидюсе», я поглядел: по старому режиму еще живут, — сказал голос Кузубова. — Офицера — все воротники в золоте. Давеча один факел растопырился, красный, чисто крови напился. Вот мушки просит!

— Долго не протопырится! (Говорил Каяндин). Вон на «Каче» наша команда с Зинченкой во главе постановление сделала, слышал, Васька? чтоб через три месяца была мировая революция!

Слышно было: голос нарочно-дурашливый, глумливый. Над кем он?

Потом пустили пар, полезли спать.

— А мы с тобой, Васька, за эти три месяца сколько? — не менее тыщонки засолим, а?

— Засо-о-лим!

— Чего ты с ней, с тыщей, корявый чорт, делать будешь?

— Ты дай сперва засолить-то!

Васька кряхтел мечтательно, парное тепло шипело, расплзлось в темноте, выгоняя из кожи липкий сок.

VII

Пришло остоеое равнодушие ко всему.

Словно тишина после отбесновавшегося грома. Нехотя двигались руки и ноги, вяло варил желудок; предметы, словно опеленутые мглой, тускло доходили до зрения и мыслей... Не опасался уже теперь выходить за пределы катерка. Да никто и не признал бы в этом скуластом, обросшем рыжей шерстью матросе недавнего мичмана. Мимоходом как-то увидел себя за бортом суденышка, в тихой воде. Пришлепнутый нос красно лоснился — от постоянного пребывания в нечистом, спертом воздухе; глаза, завалившиеся глубоко под лоб, безмолвствовали оттуда и жалобились...

Потянуло однажды на «Витязь», который медлил еще уйти в док, лебедем красовался на том берегу, за «Опытом».

К кому же там было зайти, как не к капитану Пачульскому? Поднимаясь по трапу, Шелехов ожидал задушевного, чуть ли не бурного свидания. Но на «Витязе» за полторы недели многое переменялось: и вещи, и люди казались переставленными на новые места, глаза не узнавали ничего, как в чужом доме, а Пачульскому, пожалуй, было только до самого себя; появление гостя лишь всколыхнуло сызнава всю горечь и весь срам, которыми напоследок накачали с верхом старую посуду его жизни, заставив капитана с окровавленными от ярости буркалами бегать по кают-компани, клясть хриплым надсадным шопотом сволочное время и сволочных людей.

Попросту за самовластье и за барские повадки вольнонаемная команда вышибла Пачульского из капитанов, заменив его Агаповым.

Капитан плакался, а Шелехов сочувственно и угрюмо хмыкал, не переживая, однако, ни сочувствия, ни жалости: он уже привык, наглядываясь в таком же положении на Мангалова и Бирилева; чего жалеть о том, кто стал мусором, убираемым с дороги!

Роскошная полутьма салона, отражаемая зеркалами, струилась вчуже, вне его. Не верилось, что полторы недели назад он имел право здесь жить, как в своем доме, считать себя чуть ли не хозяином. Настолько тело свыкло, срослось с коростой смрадного чайкинского кубрика. Матросы не мыли и почти не убирали помещения: им было некогда, и даже в складках простыни, не только на койке, пересыпалась колючая каменная пыль. Еще немного оставалось Шелехову, чтобы сравняться с теми бредовыми солдатами, которые мертвецки валялись на одесском перроне, уткнувшись губами в заплыванный асфальт. Ну, что ж! Ведь тогда его угнетало нечеловеческое расстояние до них, невозможность для него, белоручки, разделить их участь, за которой мерещилось какое-то последнее, неоспоримое освобождение.

А вот вчера он сам, запершись в канцелярии, часа два без всякого омерзения щелкал вшей в своем белье...

Возвращаясь через привокзальный тупичок порта, не мог миновать равнодушно «Качи», зашел. Однако, и там дальше Маркушиной рубки не заглядывал никуда, найдя одно уязвление...

Маркуша встретил его с балалайкой в руках, нетрезвый и желчный. Даже и этого матросского баловня поедал в последнее время невидимый червь. Скучно и голо казалось ему в мангаловской как-те—не хватало чего-то самого главного: не то разграблено было, не то вывезено до тла бывшими постояльцами... Вспоминался прежний командир Мангалов, как вываливался он, бывало, на шканцы после утреннего вставания, по-хозяйски, без стеснения подставляя под солнечный пригрев сановитое пузо, как искательно катились со всех сторон прапорщики и поручики поздравить капитана с добрым утром, пожать руку... А Маркушу все звали попрежнему Маркушей; иные, когда здоровались, ленились даже поднять зад со стула.

С Шелеховым Маркуша не сказал и пары слов, бросил горько балалайку и пошел авралить по палубам.

— Кем я удостоен? — рыдающе вопрошал он ухмыляющихся, бездельно глазекующих на него матросов. — Я нар-родом удостоен! Я нар-родом удостоен! На шо мне обр-раз-за-вание, на шо ета алгебра, когда кругом ваша, братцы, нар-родная власть!..

Пошла вторая неделя пребывания команды на «Чайке». Матросы что-то все реже и реже стали оставаться в кубрике на вечерние посиделки с флаг-офицером. Опанасенко путешествовал отдельно от всех — больше на «Волю», к своим украинским друзьям. Каяндин, Хрущ и Кузубов — вместе: на вокзал, в кино, тралили девчонок по Нахимовскому. Однажды все, только без Шелехова, были в гостях у Бирилева, на рожденье.

— Честь-честью принял, — одобрял потом Кузубов, — водочка, закусочка, винцо всякое, то-се. Начальница сама за столом чай разливала. Вот чего мы увидели! А тогда, помнишь, Хрущ, как она тебя за осла-то?

— А что? — заинтересовался почему-то Шелехов.

— Да вот, жара была один раз нам с Хрущом... при старом еще режиме. Он строгий был, Вадим Андреич, глядит, бывало, — прямо жгет!. Мы с Хрущом его сильнее Колчака боялись. Ну вот, взял он тогда к себе супругу в Стрелецкую, чтобы она на даче около «Витязя» жила. А Хруща приспособил, чтобы он ей по хозяйству помогал. Самое главное, чтобы за водой ходил. А там вода — семь верст до небес, аж на Карповке, три по~~та~~ из тебя выгонит, пока за ней сходишь. А начальница его раз десять в день, бывало, сгоняет: то обливаться ей, то почайпить, то се...

— Раз десять, не меньше, — с похвальбой подтвердил Хрущ.

— Вот Хрущ упехтался один раз и говорит ей: что я, осел вам дался? Наймите мне осла, я на нем возить буду! Тут что было... Она как заплачет, сичас же на «Витязь» — к самому, сичас же Хруща вызывают. И-и. Вот он его чистил; вот он его чистил!.. Я в это время внизу, в моторке поджидал, так и то издрожался весь.

Кузубов, вздохнув, извиняюще пояснил:

— Это надо заглянуть в физиологию любви.

«А теперь Бирилев называет Хруща Игнат Василичем, а Чернышева — Василием Николаевичем, и все в порядке, все забыто... Заботятся, берегут больше, чем меня. Что это — мозги, не промытые от рабства?» Шелехову после той ночи на «Витязе» жутко думалось иногда о Бирилеве: если что случится, пойдет вспять — каков будет тогда развязанный пламень его глаз? И все больше чуялось какое-то недоброе родство его с ростовским есаулом... Кузубов досказывал, смеясь:

— А нынче, в обрат, Васька-чорт ее упарил: шесть плошек чаю отгрыз. Его дергают под столом, а он не понимает. Вот и гонит, вот и гонит!

Каяндин для издевки строго хмурил брови, осуждал:

— Дорвался, хам... До того, что у женщины рука онемела.

Васька возражал: «ну да», по-всячески перечил на насмешки, но видно было, что молодого матроса карежило от стыда... Васька начал тоже, в роде Опанасенки, отбиваться от общей стаи, — должно быть, тихого парня занудило от постоянных каяндинских высмеиваний и фокусов. Завел себе дружка в минной бригаде, исчезал неведомо куда каждый вечер.

И лекциями уже трудно стало привязывать ребят к кубрику. Прискулило. От Ивана Грозного допелись только кое-как до Петра. Матросы, видать, всего наелись до отвалу. И, верно, от пресыщения потянуло на самую крайность, на тайну.

Это Опанасенко однажды попросил:

— Вы бы нам вот что, Сергей Федорыч. Про бога. Шо он есть в самом деле и какой: с бородой иль нет. Потом тоже про загробную жизнь. Конечно, не это, чем халдеи нам по библии башку морочат, а как у вас по высшей науке проходили, всю правду.

Шелехов задумался. Рвалось из него нестерпимо, до головокружения, не то гнусно созоровать, не то разрыдаться. А, может быть, вожжи новой власти, нового покорения сами давались в руки? Сделал вид, что соглашается, но с большим колебанием.

— Совершенно верно... в истории философии (есть такая наука) мы в университете проходили об этом всю правду: о боге, о душе... Только трудновато будет, ребята?

— Как-нибудь обломаете нас, чертей. Очень уж нам интересно.

Беседу отложили до следующего вечера. Про себя порадовался: может быть, не будет опять одиночества, не будет обезлюделей «Чайки», громадного «Оксидюса» на закатной стене неба... Теперь в эти одинокие часы его угнетала не боязнь за свою жизнь, а другое, странное чувство. Кантианская вера в призрачность всего видимого, или, вернее, то немногое и, возможно, искаженное, что он знал об этой теории еще в университете, в эти часы завладевало не только его разумом, но и ощущениями. Знакомая картина рейда, развернутая перед его глазами, утрачивала вдруг свою жизненную выпуклость и становилась сном на яву. Вода чудовищно рдела; корабли минной бригады на противоположном берегу невероятно купались в красной пыли; матрос с мостика «Георгия Победоносца» неистово кому-то семафорил, крестясь двумя флагами. И вместе с тем не существовало ни воды, ни кораблей, ни матроса; даже, если бы Шелехов заорал, укусил себя, дико катаясь по палубе, все равно не прорвался бы этот призрачный, стеклянный сон. И порой даже сам себе начинал казаться невещественным, заблудившимся среди времени, неведомо когда родившимся.

Может быть, его состояние переходило уже в болезнь?

Главное, никого не оставалось из своих, да и некого было теперь назвать «своими»... Однажды, толкаемый бездомной тоской, зашел в знакомый особнячок проведать Мерфельда и Ахромеева, но оба, как он и предугадывал, недели с две как ухитрились демобилизоваться и уехали в Петербург. Хозяйка-адмиральша едва узнала Шелехова; узнав, напугалась, изумилась, манерничала перед ним шиньонной головой.

— О, как же вы остались на такой ужас, бедный мальчик! Звери, звери... Говорят, что скоро они не пощадят ни одного офицера.

Шелехов вяло пошутил, потрянув своими ленточками:

— Я уже, как видите, не офицер, мадам.

И круг опустения замкнулся. На Морской, в газетной будке, купил несколько журналов и газет, развернул на ходу. Не читал ничего недели две... Сообщалось о мире с немцами, о конце учредительного собрания. Некоторые газеты кричали о кощунстве, о насилии над священной волей народа. Кричали где-то далеко над головой, словно Шелехов шел по дну глухого могильного колодца... Перед ним гремел, убегая в вечернее полукольцо улицы, южный трамвай, похожий на ладью под балдахинном. И трамвай, и улицы были странно малолюдны, как-будто все обитатели города заспались от холода и тоски; лишь оголенные, с заостренными вверх прутьями, деревья тихонько шатались над асфальтом. Ветер пробегал сквозь них острой дрожью, — казалось, то было содрогание о Жеке... Севастополь! Вот что осталось от недопитой чаши, оторванной от губ на самом блаженном глотке.

В тот вечер розовые на закате мачты походили на сосны. Север... он вспомнил еще об одном, близком когда-то и забытом человеке. Может быть, написать ей, Людмиле? Да стоит ли... Наверно, давно и память о нем занесло метелью, давно влюбилась иль умерла, иль вышла замуж. А еще горячее Людмилы другая, красивенькая Аглаида Кузьминишна пыхнула телесным жаром, сугробами, синими морозными стеклами петербургского этажа.

Север, север...

Не раздеваясь, развалился на диванчике в канцелярской каютке. В кубрик не пошел: на палубе Васька беседовал с незнакомым матросом: наверно, воспользовался случаем, когда ушли все с «Чайки», завел в гости дружка. Слышно было, как хриловатый, ленивый голос спрашивал:

— Харч откуда получаете?

— С «Оксидюса», хранцүзы дают.

— Ну, как харч?

— Ничего. (У Васьки по-кунгурски выходило: нишево). Борщ, каша, обнаковенно.

Наверху, на французском крейсере, прогремела гамма. Со ступеньки на ступеньку — через растворенные настезь сказочные комнаты... От рук еще пахло адмиральшиними духами. Как она играла глазами, эта адмиральша, как она подсказывала — и опять ничего не понял, дурак! Ведь мальчишки уехали. Толкнуть бы ее в комнату... Шелехова кидали навзничь томливые, голодные хотения...

— А вот пошли наши однова, — неторопливо, внушительно рассказывал хрипчатый, — к Камышловскому мосту, на ту дорогу. Вдруг — ахтомобиль. Стоп. *Слезай. «Мы, товарищи, из штаба, с важным поручением к анархисту Мокроусу». Раздели. Еполеты все в золоте. От великих князей с секретным приказом — наши оказались», из гидроавиации ахвицера.

— Что же они — опять на Миколашку хотят поворотить? — дивился Васька.

— А на кого же. Им — что на Миколашку, что на буржуйскую власть, все одно.

— А вот у нас Каяндия намедни читал (Васька сказал: шитал), у них такой приказ: как власть возьмут, так всех матросов передавать. Штоб только обязательно на веревке, На такую тварь, говорят, пули жалко, ха-ха!

— Хм...

— Им завидно, что мы властвуем. У вас все в ударном? — спросил Васька.

— Много, да в разных. Вчера человек двадцать ушло на Бердичев.—Цыкнул слюной сквозь зубы, поважнел.— Власть пошли проконтролировать.

— Смотрел я на вокзале, как поехали.

Шелехов так и заснул незаметно, как сидел: в сапогах, в застегнутом бушлате. Через незакрытый люк ветер дул холодновато, дальние гудки играли, в смуть уходили поезда. Жека рядом разбросалась в мечтательном сне...

* * *

Тоскливо ждалось следующего вечера. Обдумывал все, как начать перед матросами новую, необыкновенную лекцию.

Действительно, необыкновенную... От одной мысли о ней позывало к щекотному хихиканью. Чорт возьми, познакомить матросов с учением о феноменальности, о призрачности мира по Канту! Вот что он придумал в ответ на просьбу Опанасенко.

Любопытство, что ли, толкало к этому — от гнетущего, язвящего душу ничегонеделания?

Или соблазн — ужаснуть равнодушных, охладелых к нему матросов, напомнить им, что существует еще другой Шелехов, не только тот, что спит рядом с ними на вшивой койке и зачастую бегаёт для них за водою и борщом, но неизмеримо высший, могущественно-знающий то, что им не снилось...

Или пакостное желание — отомстить кому-то за что-то... За что?

Вообще, нечто разладное зарождалось на «Чайке», как зарождается мокричная плесень под забытой в темном углу сырой тряпкой. Матросы тоже расклеились, бродили чумные от сна, балованные, не знающие, чего бы еще захотеть. К вечеру достали денатурату, напились, подняли в кубрике вздорный крик. Сообща клевали Опанасенку, который горячим, не своим голосом уверял, что весь Крым и Черное море должны вскорости отойти под украинскую раду.

— А черное море кто покорил, а? Запорожцы. А запорожцы кто? Первые украинские демократы, ваш Иван Грозный — и то их боялся, спроси-ка мичмана.

— Теперь мичманов нет, все на Малаховом.

— С вами, дурнями, говорить... тьфу!

— Геть з шляху! — разгульно орал Каяндин..

Опанасенко лез жалобиться в канцелярскую каюту, где Шелехов опять отсиживался скучно.

— То не дурни, а! Россия, Россия... А шо Россия? В Ростове генерал Каледин воюет. Кубанские казаки на донских, донские на кубанских. Боже ж ты мой... татарва поднялась кругом, своего царства хочет. Большевики говорят — красное, анархисты — шо черное. Одни миазмы от нее остались, от вашей России, верно?

«Миазмы... Вот где миазмы!» — в лад ему по-пьяному хотелось бить в свою грудь.

Васька, написавшись до дурноты, разбушевался шибче всех. «Чайку» шатал слоновий топот, — хотели выволочь его на палубу, облить водой — не управились, сами попадали. Васька, отбиваясь, вопил погибельно:

— Не хочу Романову поддаваться! Не будет того, чтобы Миколашке поддался я! Поддай винтовку, Каяндин, сволочь! Дай винтовку... Плевал я на твой засол! Соли один... в бога...

К ночи, заперев Ваську в кубрике, отправились догуливать на Корабельную, к маруськам.

Вьявь стлался по катерку распадный дух. Словно продырявили со всех сторон уютное, теплое жильё...

На следующий день после обеда (матросам, расслабленным с похмелья, елось нехотя, через силу) упрямил всех сесть по койкам, послушать. До вечера не дотерпелось, да и веры не было: вдруг завыются опять с корабля.

— Вот, ребята, с чего мы начнем: что такое есть мир, видимый нам вокруг и в котором мы живем. Вы привыкли думать, что он существует в действительности, так? В самом же деле, как говорит настоящая наука, преподаваемая в университетах, — возможно, что в действительности мира и не существует, а есть только обман наших чувств, сон наяву!

Это вступление еще накануне шопотом вынырнул про себя наизусть. Теперь оно вдруг показалось ему книжным, туманным, неубедительным. Против него торчал, словно усаженный насильно, Васька и удрученно мигал.

— Усвойте это, тогда все будет понятно о боге, о душе, о том свете...

— Д-да,—неопределенно и едва ли одобрително произнес Опанасенко, свертывая цыгарку.

— Вот это наука, — сказал Каяндин, закладывая локти за голову и валясь. — А тут живем с тобой, Васька, как пеньки.

И губа, тонкая, себялюбивая, под английским усиком, ехидно подрагивала.

Шелехов ощутил внезапную апатию. Да полно, выйдет ли толк из всей этой затеи? Не нелепость ли задумал?.. — «Да-да, выйдет.. должно выйти!» — сцепив зубы, упорствовал кто-то в нем, кто-то нестерпимо рвущийся вылить сейчас же всю свою силу, накипелую и зря пропадающую, все сумасшедшее упрямство свое, всю страсть. Как-будто это стало самой важной, самой решающей целью его жизни!

Готов был с пинками броситься, расталкивая безразличных матросов, плясать перед ними от злобного нетерпения...

И на другой день — все утро упорно думал, меряя крохотную палубку, сбывшись, заложив руки назад, наподобие капитана Пачульского. И мерещилось — точь-в-точь как у капитана Пачульского кровятели и дичали глаза от круженья однообразного и тесноты... А утрохватило мягким морозцем, и всюду бежало за глазами солнце — бегучим, хлопотливым блеском, от которого еще синее, еще тенистее стояли по воде утренние, дымящиеся улицы судов. Зачинать бы сейчас, по холодку, толкучую, людную, веселую работу! Матросы, почайпив раза два, валялись по койкам, при чем Хрущ опять захрапел, — валялись, судачили от нечего делать насчет невеселого что-то за последние дни флаг-офицера.

— Все ходит...

— Скучает, можбыть?

— А какая мы ему компания, — заметил Кузубов.

— Думает все, потому что голова сильно работает, — почтительно сказал Опанасенко.

— Эх, я бы на его месте... — возмечтал Каяндин, руки закидывая за голову, — ты дай мне универсантское образование: от меня бы и дыму здесь не осталось! Сейчас в Одессу, на первое время рублей на триста жалованья, Ваську бы себе за лакея приспособил. Пойдешь, Васька? Да чего ты все, Акуля, строгаешь и строгаешь?

Васька поглядел на палочку, которую обтесал кухонным ножом: тоскливые руки сами просили дела, поглядел, как-будто увидел ее в первый раз, выкинул лениво в иллюминатор. Попробовал огрызться:

— Я бы такого дракона к ногтю.

— Охо-хо-хо!.. к ногтю!

— А что?

Каяндин оживел.

— Ребята, что мы как паразиты валяемся, давайте, пока делов мало, флот с Украиной делить. Щирому даем «Опыт». Кто за?

— Ха-ха-ха!

Опанасенко помрачнел обидчиво: — Ладно трепаться, москаль...

— Ваське — «Чайку».

— Я-то возьму, — осклабился Васька.

— Ты слушай маршрут: отселева дернешь через Азовское море, мимо калединских духов, они дураков не трогают: пропустят. Потом... у вас там какая река, Кунгурка, что ль? (Васька весь измочился слезами от хохота: «Кунгурку какую-то, чорт, надумал!») Ну, по Кунгурке без паров, на веслах грянешь. Вот-то все село выскочит. «Бабыньки бабыньки, никак наш Вася-матрос на броненосце едет!» А Вася сидит, как епископ, только знай — огребается.

— Епископ... Хха-хха-хха!

Кузубов тоже надумал:

— А что, братишки: мы на «Чайке» цари и боги. Поднять якорь и айда по волнам: сначала за боны, а там... Эх, чего-нибудь увидим в жизни! Машину навинтить — ментом!

Матросы как-то примолкли, уставившись открытыми глазами в низкий гробовой потолок. А в самом деле, как это они забыли, что «Чайка», на которой они пятеро состояли полными хозяевами, что привычное их курное жилье, как бы навеки сросшееся с одним местом, с твердой землей, в любую минуту может сняться с якоря и уйти в синее море. В море!.. А что, если вправду? Вот — снялись, дали на полный ход за батареи, за белый, как колокольня, маяк, подкачнулись на волне у крайнего мыса... Ого, простор! Маячат невиданные берега, горы, портовые флаги. Вон белой лестницей проступила Одесса... Вон, под самое небо, кавказские хребты... Вон, за донским гирлом, дымит Ростов... Катится к океану водяная даль.

Хрущ проснулся, должно быть, от тишины, поднял из'ерзанное о подушку красное, мутное лицо. Каяндин плаксиво сморщился.

— Во что ты дрыхнешь, дьявол, тошно смотреть...

К после обеда Шелехов наразмышлялся досыта, нашагался так, что ноги ломило от ходьбы. Когда Васька убрал со стола, опять попросил всех присесть. Попросил хмуро, с какой-то загадкой, словно готовил таинство.

Теперь-то уж был уверен, что добьется: в мускулах своих, в тугом своем дыхании ощущал, казалось ему, ту самую испытанную, воспламенительную силу, которой заставлял когда-то на митингах балдеть и гореть вместе с собой матросскую толпу. Опять, если б захотел, мог бы в дугу сейчас скарежить железный борт!.. В упор, приказывающе глядел на Ваську, — решил все попытать сначала на нем, как на самом слабейшем.

Спросил:

— Вот этот стол видите?

— Вижу.

--- Дотроньтесь до него смелее. Здесь он?

— Здесь, — согласился озадаченный Васька.

— Так вот знайте: в самом деле этого стола нет.

Васька виновато моргал глазами, как попавший в беду. Прочие, видимо, тоже заинтересовались. Каяндин, со спичкой в углу рта, смотрел на флаг-офицера выжидательно и лукаво: дескать, мы-то с вами вдвоем знаем, в чем дело... Хрущ насторожился, думая,

что ослышался. Рожи Кузубова и Опанасенко пищеварительно лучились: вот сейчас Сергей Федорыч отчудит какую-нибудь историю.

— Вы не думайте, ребята, что я шучу. Да-да, стола в самом деле нет, совсем нет. Вы только слушайте: я сейчас вам открою глаза.

Наученный первой неудачей, теперь он сдерживал крепкой уздой свою пылкость, стараясь захватывать их внимание и разумение осторожно, постепенно, с неторопливой вникчивостью.

А. может быть, и никакого разумения не было: моргала заси-
дела, тоскливая муть, ждала нивесть — и все равно чего...

Каждая извилина его мозга напряглась, как канат в бурю, готовый внезапно и погубительно лопнуть; Шелехов выгнетал из своего мозга, выскребывал все, что он мог дать, без остатка, чтобы только как можно ослепительнее уяснить свою мысль, донести ее, не расплескав, пронзительно в'есться всей своей тоскою в рыхло, беззащитно поддающееся ему матросское внимание. Что ему поддавались он уже отчетливо видел, он прозорливо угадывал это по тому, как матросы бессознательно подвигались к нему поближе локтями и подбородками, как у неотрывно слушающего Васьки прояснели глаза, словно речь шла о своем понятном для него, самом ежедневном, в роде еды и питья. Простяк, пожалуй, обгонял всех, первый лез головой в капкан...

У ликующего Шелехова темнело зрение. Ха-ха! Ведь что совершалось перед ним: в этих пяти башках вверх ногами перевертывалось все мироздание!

— Вы, ребята, знали про это и до меня, только не догадывались... Так как же: есть этот стол?

— Нет, — еще колеблясь, со вздохом отвечали матросы.

Ни мира, ни «Чайки» нет. Только бред, наделанный кругом себя самим же человеком. Пропасть, заунывная, обманная на ощупь. Палуба в чудовищном закате. Вода, вода...

Приникшие матросы не шевелились, даже когда Шелехов смолкал. А Кузубов с торопливым благоговением подносил спичку к его папиросе, чтоб скорее кончилась пауза. Хрущ соболезнующе покачивал головой, причмокивая: тц! тц! тц! Но изумление его не шло дальше рассудка, не зачумляло чувств: Хрущ был слишком толстокож для ужаса. Вот Васька жалобно кривился: до Васьки дошло... Только Каяндин лицемерил, полулежа сзади всех с недоверчиво-равнодушной усмешкой, застрявшей на его лице как маска: ею он прикрывал свое поражение. И Каяндин; и Каяндин!

Хрущ задал вопрос:

— Ну, а если, как бы сказать... я вот — есть. Кузубов, скажем, про себя тоже скажет, что он есть. Ну, а как бы сказать, Васька... есть он для нас с Кузубовым или его тоже нет?

Шелехов одобрительно закивал: ага, ага, поняли...

— Да, вы имеете полное право сомневаться: нам никому неизвестно, существует в самом деле Чернышев или он только обман наших чувств.

— Дак я же вот... я говорю... — растерянно заспорил Васька.

— Обман нашего слуха, чудак, — с сердитой горячностью оборвал его Кузубов.

Все глядели на Ваську. Он хмыкнул, с'ежился, зацарапал кри-
вым пальцем по столу.

Опанасенко напыхался трубкой, надумался вдоволь.

— Да... вот как Сергей Федорыч балакал, все точь-в-точь... Когда жинка у меня померла... Три дня без памяти ходил. Хожу и хожу, как ступа, бачу кругом — ничего нет, ни пса не понимаю.

Ржавый закат выкрасил море и суда и унылую кручу над «Чайкой» беспокойно-грязным светом. Шелехов к вечеру вылез из канцелярской каютки — разломаться. За борт нагнулся Чернышев, в углу его глаза застыла собачья тоска, отраженная от желтой воды...

В каюту прыгнул, повалился лбом в бумаги.

— А-а-а...

Бурно корчило всего. Не то смех, не то — ползать, что ли, хотелось, руками терзать Васькины сапоги, просить, чтобы простил непростимое...

Словно сквозь сон, заходил на «Чайку» грозный боцман с «Качи», сурово опросил, знают ли приказ — быть всем завтра на бригадном митинге. В кубрик вызвали и Шелехова. Почему-то Бесхлебный обошелся с ним очень учтиво, даже как-будто с преклонением, как и встарь, несмотря на растрепанный, полоумный вид флагоффера и грязный, не внушающий почтения полосатый тельник. Наверно, после лекции ребята наговорили за глаза лестное.

— Очень приятно... с уважением, с уважением...—бубнил боцман, привстав, обеими руками пожимая ему ладонь. — А вон у нас на «Каче»... наши-то господчики... от матросской робы, как тот чорт от ладана!

А с Чернышевым вышло неожиданное. Кузубов, зайдя ночью в каютку звать на ужин, сообщил новость:

— А Васька-то наш, фюю-и!.. Озлобел, расстроился что-то, покотил в экипаж. Сейчас в обрат приходил за вещами. С дружкой вместе в ударный записался.

VIII

На рейде бросалось в глаза необычное для раннего часа, будоражащее оживление: спешили шлюпки и катерки, переполненные стоящими вооруженными людьми, по бортам судов, туманно теснящихся вдаль, чернели там и 'сям скопления митингующих команд. К вкзалу, разбежавшись с горы, оглушительно гроыхала артиллерия. На столбах, на привокзальных заборчиках Шелехов видел, несомненно, имеющие связь с этим оживлением свеженаклеенные листовки, под которыми еще издали можно было разглядеть крупную подпись военно-революционного комитета.

Нехотя пробирался берегом на «Качу», на общебригадное собрание. Зачем позвали, кому и на что он там нужен? От вчерашнего мутная разбитость мозжила во всем теле, словно после припадочной судороги. Погано стало — оглянуться... Вообще, было чувство, что до последнего края дотрясло, докатило, некуда дальше...

Вдалеке, за редкими деревьями, скользнул кусок толпяной суеты. Угласто-согнутые бушлатные спины вталкивали орудие на железнодорожную платформу. Даже в ненастном хлестании ветра отзывалась заунывная, подымающая тревога... Пойти к этим бушлатным, попросить, чтоб взяли с собой, сгинуть с ними безыменно — и от «Чайки», и от самого себя...

В который раз? О, заклятие поколения, безмускульного, двоедушного, выращенного только для комнат и бездеятельных мыслей!

Он читал листовку. Буквы хрипло, митингово рычали:

— Открытое нападение контрреволюции...

В листовке сообщалось, что военный диктатор Крыма, Сейдамет, прислал Севастополю наглый, провокационный ультиматум — немедленно разоружиться и подчиниться всем его требованиям. Штаб Сейдамета задерживает продовольственные эшелоны для фло-

та. На улицах Феодосии и Ялты эскадронцы избивают матросов. Готовится наступление на подступы к Севастополю — на Камышловский мост.

— Революционный Севастополь в опасности!..

«А ведь сегодня одиннадцатое января, как странно...» — вдруг подсказалось Шелехову. Именно к сегодняшней полночи, полночи на двенадцатое приурочивались все ходившие по городу слухи о предстоящей окончательной, небывалой резне. Только неизвестным еще оставалось, кто и кого будет резать... Не даром чайкинские неслышно свернулись и исчезли куда-то с утра, даже не разбудив его... И на лицах встречных матросов застыла, казалось, притихлая суеверная оторопь. Сила эскадронцев и офицерских отрядов, по нелепым рассказам, простиралась до восьмидесяти пяти тысяч человек. «Веревкой давить... пули жалко на такую тварь!..» — вблизи, зловеще слышались теперь Васькины слова. Из-за Камышловского моста тучей надвигалась бешеная, налитая кровью морда вагонного есаула, идущего всласть расплатиться за поруганье свое, за Малахов, за окровавленные седины Кетрица.

Сердце даже захолонуло, — до того ясно представилось, что тут уж не просто война должна быть, а что-то другое, невыразимое по своему ужасу и решительности: корча до последнего хрипа...

«А я... куда же я? Впрочем, мне ведь тоже не сдобровать, пожалуй, в таком наряде» — подумал он, взглянув на ходу на свои порыжелые матросские сапоги. Ни на одно мгновение, конечно, — даже и теперь, когда чувствовал себя брошенным всеми, отринутым пасынком, — не помыслил он для себя об есауле. Есаулом давно стало все ненавистное, погребенное... Его только смутило сознание своей одинокости, которая становилась страшной в такую минуту, — страшно было, что подхватит, швырнет между двумя вихрями, как никому ненужную, жалкую, пропащую щепку.

...Так вот почему митинг на «Каче»!

Теперь это подбадривало — что можно пойти куда-то, на народ, отогреться в человеческой тесноте, спрятаться, пожалуй, в ней от чего-то. Шелехов ускорил шаги, повернув на территорию порта. Над ним нависали целыми кварталами высокие кормы судов, буйные чертежи снастей, просекающие ненастный воздух. В мрачных просмоленных ущельях между судами накатывала и бушевала грязная волна. И небо вверху темнело, как ущелье, в котором кромешно путались снега и мрак. Беспросветной чиновничьей тоской желтели портовые, грязнооконные канцелярии. Флаги стучали на бурном ветру. Люди, в большинстве матросы или портовые рабочие, попадались навстречу потемнелые, ожесточенные. Во всем чуялась неуют, опустелость и вместе с тем дикое, подгоняемое отчаяньем напряженье, от которого — непонятно — не то вчуже сиротливо падало сердце, не то теплиться начинала далекая и зыбкая надежда. В таком настроении поднимался Шелехов по знакомому шаткому трапу, за которым уже собрался немногочисленный митинг.

«Здорово поредела команда за это время!» — подумал он, пробираясь на спардек, где виднелись вперемежку с матросами фигуры Скрябина, Бирилева, Блябликова и других кают-компанейцев, похолодалых, с посиневшими носами, но терпеливо слушающих долговязо-вихлявого, исступленно завывающего над толпой матроса. Странно было узнать в этом ораторе Зинченко, который раньше никогда не выступал на митингах, предпочитая потихоньку, ядовито держаться в сторонке... Да и во всем щемящая знакомость перемежалась с отчужденной, озлобленной хмурью... Однако, вон боцман, с

достоинством крутя ус, все-таки дружелюбно покосился, даже козырнул первый. И из толпы, зябко ежащейся вниз, двое или трое знакомых с лета матросов узнали Шелехова, приветно лыбились. Его ученики с бригадных курсов... Вон Кузубов, Хрущ, даже Опанасенко, с таким видом заложивший руки за спину, будто пришел лишь со стороны поглазеть на всю эту чудную суету. Вон Каяндин, и здесь охраняющий свою себялюбивую отдельность, лениво возлегший на крышку люка... Опять потеплела, родиной повеяла «Кача». Шелехов начал вслушиваться в то, что говорил, или, вернее, оскаленным пенъем выпевал в толпу Зинченко. Трудно было понять с середины смысл этих выкриков, когда человек выдыхал всего себя, всю свою узкую грудь по очереди в каждом слове, но, очевидно, речь шла о том, что будет, если матросы дрогнут, если враг ворвется и возьмет власть... Он взгляделся в глаза коченеющих от холода, греющихся друг о друга спинами матросов, — в их глазах тоже мутилась нащептанная полночь и еще что-то, ожесточенно-упрямое, недоброе; он случайно поймал взглядом — вкось от себя — полузасунутую в карман руку Зинченко, лихорадно, с ненавистью трясущуюся, как и все его тело, — и его самого вчуже прохватила самозабвенная, мрачно-подымающая дрожь!.. Вот так бы перечувствовать, вот так бы перененавидеть, как они ненавидят из себя, из глубины своей матроской шкуры, — тогда было бы оправдано и само собой понятно все: и почему нужно было взять винтовку и зверем рвануться на Каледина, и почему малаховские ночи, и Графская... тогда не нужно бы никаких вопросов, угрызений — все чисто... Ему, чтобы пойти с ними заодно, нехватало именно этого порывного, трясущегося гнева. А ведь у него тоже была ненависть и горькой, глубокой обидой и униженностью ущемленная жизнь — только кто бы столкнул его с заклятого места, повел?

Знаете, знаете, что будет? Да-да, об этом нельзя рассказать...

— Ни-ка-ки-ми-и..

— Чело-ве-чес-ки-ми-и...

— Сло-ва-а-ми...

* * *

Положение, по сообщению Зинченко, действительно, становилось угрожающим. Силу флота вдобавок изъязвляли некоторые внутренние распри, разжигаемые украинцами и соглашателями. Часть матросских отрядов еще не вернулась, гуляла за Джанкоем. Ревком мог бросить на защиту главных подступов, к Камышловскому мосту, всего сотни две ударников.

Спасение заключалось в том, чтобы поднять, вооружить на борьбу весь флот, всех способных владеть оружием и готовых, как собственную жизнь, защищать революцию.

... Самое трудное разрешалось просто — каким-то необыкновенным и в то же время легким прыжком. «Всех» — значило ведь и Шелехова? Он давался, падал, как спелый плод... Но его смущало: зачем вместе с ним и еще прилежнее его, прилежнее и дольше матросов тянули руки и Блябликовы, и Анцыферовы, и Бирилевы?

Зачем? Они могли помешать, запутаться в ногах, как кандалы, как вчерашний чайкинский кубрик...

Митинг постановил: организовать революционный отряд бригады траления, которому выступить на фронт по первому приказу ревкома.

И еще на минуту натянулся тончайший, готовый оборваться волосок. Шелехов заранее вцепился глазами в самых близких — в Кузу-

бова и Хруща... Это — когда известный своим умением вопрошать не-кстати Иван Иванович выступил из толпы и брякнул:

— Хорошо, а как насчет офицеров?

Из понизовья кто-то бойко осадил, однако:

— Тут, товарищ, офицеров нет, а есть одни военные моряки.

— Правильно! — поторопился горячо подхватить Шелехов, так горячо, что в офицерской горке выразительно переглянулись. Некоторые, как видно, только впервые узнали в неизвестном матросе Шелехова.

И, как на зло, ленточки на голове игриво взвились, защелкали на ветру.

Ему было все равно,—а, черт с ними, пусть шипят про себя что хотят! Важно только, чтоб не скатиться теперь назад, в смрадную щель «Чайки»... Только б матросы, поговорив, не бросили все наполовине, не разошлись кто куда. Запись что ли открыть? Шелехова была нетерпеливая лихорадка. О чем они шепчутся там, эти главари, ведут время?.. Ясно, что надо сейчас сделать; надо сделать что-то такое, чтобы каждый чувствовал себя определенно прикрепленным к отряду, чтобы с этим лег ночью спать (Шелехов все еще трепетал за себя...). Планы, один другого непоседнее, вскипали, наперегонки суматошились в голове... Из бригадной команды составитя целая рота; ее следовало бы заранее разделить на взводы, на отделения... В свое время в школе Шелехов основательно потопал в пехотном строю; теперь он мог бы предложить отряду свои услуги,—ведь моряки слабовато знают пехотные тонкости, например, взводное ученье, перебежки, цепь: вон Любякин, говорят, оттого и погиб, что шел в наступление стоя...

А что, если бы записаться взводным инструктором? Боцмана хотя бы попросить,—у того, как видно, сохранилась еще старинная задушевность к бывшему качинскому прапорщику. Нет, нет, не начальствовать собирался он над своим будущим взводом,—ему, Шелехову, кощунственно было об этом и мечтать,—нет, его поджигало подвигаться на студеном плацу, на вольном воздухе, поработать, главное, не с чужими, а со своими, привычными ребятами!

Он уже хотел сунуться поближе к боцману, как тот, нашептавшись с Зинченко, крикнул и вылился перед народом в струну: готовился держать речь. Бесхлебный любил сполнять дела революции столь же дерливо, сколь год назад, перед начальством, боцманскую свою службу.

— Теперь, как полагается, годки, надо выбрать начальника — командира отряду и комиссара.

Кают-компанейские, и Шелехов в том числе, невольно повели глазами на жиденькую зяблую фигурку Скрябина. И у всех скользнула одна и та же мысль: ясно, Володю выбирать вождем боевого, революционного отряда неподходяще и нелепо. А кому же еще пристало быть в бригаде вторым начальником? Шелехов находил справедливым — раз не Володю, следовательно, вообще не из офицеров, а кого-нибудь из матросов. Конечно, боцмана или Зинченко.

Бесхлебный, как бы предугадывая все эти сомнения, пояснил, что товарища Скрябина, Владимира Николаевича, с небольшим народом лучше оставить здесь, на «Каче», для порядка дела.

— А у нас есть человек, хучь пусть он и из охвицеров... Но оно и лучше, шд из охвицеров,—значит, во будет командир! И я за которого человека говорю... вы уси, ребята, его помните, как он нам выяснял про Ленина еще в это время, когда у нас за Ленина по шее накладали...

«О ком это он? И что же это такое?» — с внезапно заскакавшим сердцем, не веря себе, прислушался Шелехов. Стало жутко поднять глаза на то место, где находился боцман и толпа, словно оттуда неся невыносимый, сверкающий удар... Поискал ослабелым телом обо что бы опереться. Рот сам собой раз'езжался жалобно, как у потерянного цыпленка... — О ком? А увлекающийся боцман раз'ярялся, не щадя его, — теплый, бородатый, родной боцман, тот, что в самый лазурный день жизни, как нянька, подсаживал оратора-прапорщика на трубу «Джузеппе».

— Матросом, нашим братом, не брезговаит, живет заодно, у кубрике вместе на полке спит, сам вчера дывылся... Заодно из бачка с ими кушает. Вон они, те ребята, с «Чайки», вы их поспрошайте! Я за этого... за бирулевского флаг-офицера говорю, которого от нас тогда, с «Качи», дракон Мангалов сослал... Эх! — Боцман, по своей горячности, совсем остервенился, вдарил себя кулачищем в грудь.

— Такие бу нас были уси охвицера, бра-тцы!.. Таких бы мы, братцы, никогда на Малахов не водили... Таких бы мы, братцы, за всегда!.. от сердца!..

— Пра-виль-на-а! — гаркнуло в сотни голосов распаленное пониовье.

По кораблю, как выстреленный, брызнул ледяной увесистый дождь, крепко врубаясь в борты и мачты. Шелехов, не замечая его, смотрел на окраинную, обросшую меловыми слободскими хибарками гору, по которой извивалась обрывисто-пустая железнодорожная насыпь. Что он испытывал сейчас? Это не были ни благодарность, ни восторг, хотя на него свалилось вдруг большее, чем мог он пожелать даже во сне. И ничего похожего на захлебывающуюся самоупоенность, мечтавшую когда-то покорять, под музыку вести за собой... Нет, сейчас все просилось в нем к какому-то задыхающемуся действию, куда-то прорваться; на глазах матросов, боцмана, Зинченко сделать что-то, в чем он отдавал бы всего себя. И силы этого порыва хватило бы в нем на тысячи бездомных дней, на тысячи усилий и верст...

«Чего же я стою? Надо сейчас же, сейчас же сказать им про все...» Его вытолкнуло вперед из жмущейся под навес спардека зябкой тесноты ослепленного, с цепенеющими от волнения губами. Как тогда весной, в первый раз. Но он уже не боялся, что задохнется, как тогда, омертвеет, — слишком многое, слишком жгучее, слишком свое хотело теперь выкрикнуться — само!.. Что-то про «Чайку», про ее подземелье, на которое с самого начала была чем-то похожа жизнь... Про есаула, про Бирилевых, про сияющие над головой чужие окна.. И он бы не утаил, сознался открыто, почему для него труднее будет борьба, чем для них: потому что, кроме есаула, на земле оставалось еще нечто — что-то в роде неистребленной, хватающей за сердце Атлантиды... Но сказать ему так и не удалось: снега и мраки крутились над «Качей», да и надо всем рейдом, над всеми кораблями, на которых торопливо приканчивались митинги; матросы, спасаясь от ливня, скукожившись, в давку толкались уже у кубрика. Боцман, которого выбрали комиссаром, вдогонку наказывал что-то насчет винтовок и сбора на завтрашнее утро, если раньше не будет тревоги. На месте вымахнувшего под самое небо костра начиналось ежедневное, деловое... Шелехов был слишком ошеломлен, чтобы сразу принять участие в этих хлопотах.

Да и не в том, в сущности, было главное, что матросские руки снова внесли его на высоту, выбрав командиром отряда. Шелехов не обманывался, понимал, что все-таки не он, а его теперь вели...

...В толкучке, около кают-компаний, к нему привязался умильный Блябликов.

— Сергей Федорыч, дорогой! А у меня просьбица к вам...

Шелехов попугал его:

— Насчет вакансии в отряде?

— Что вы, что вы? Мы не записывались, мы только за резолюцию голосовали, чтоб был отряд... А то на «Каче»-то кто же останется? Я вот о чем: приходите ко мне сегодня на «Качу» ночевать-то. Вам здесь к отряду будет поближе. Коньячишко у меня есть. Приходите-ка, а?

— Нет, у меня еще на «Чайке» дела.

— Да какие могут быть дела! Я вам и койку свою уступлю, — прелестная, удобная койка. Себе походную расставлю. Сделайте мне одолжение, Сергей Федорыч! — Блябликов просительно ломал руки. — Сами знаете, что про эту ночь говорят... На корабле у нас дико... У Винцента вон весь день каюта изнутри заперта, можбыть, и не живой... При вас-то они не тронут, Сергей Федорыч!

Опять она угодничала, заманивала — вчерашняя побитая тьма...

— Вы меня извините, — резко оборвал Шелехов, — это все лишний разговор.

На «Чайке», вопреки ожиданию, все показалось теперь приветливо и уютно — тем грустноватым уютом, который окутывает вещи перед прощаньем. Да и зря он обижал этот невиноватый, опрятный по внешности кораблик: не «Чайка», а он сам был своей тюрьмой... К потемкам заявили Кузубов, Хрущ и Опанасенко, ходившие в экипаж получать винтовки — на себя и на нового командира. Рассыпалось содружество... Каяндин, оказывается, забрав вещи, ушел ночевать в бригаду заградителей к земляку: «соображает насчет демобилизнуться» — открыл его тайные намерения Кузубов, добавив: «свое «я» выше товарищей понимает!..» Васька, как сгинул вчера, так и не казался. На ночь каждый вогнал в затвор по пять патронов, приладил винтовку в головах. Только Опанасенко, которому такие хлопоты были не по душе, ворчливо сунул свою под койку.

— Та на шо мне, я на пехоту не учился, я минер. Вот... до завтра только дожить... Спишусь на «Волю», ий-богу, нехай сами те идейные воюют с кем хотят.

— Продаешь, жлоб, — скрежетнул, засыпая, Хрущ.

Шатало, колыбело катерок крепнушим прибором.

IX

Ночь обсвистывала деятельным ветром снасти, дома и памятники. Черноморский флот наполовину спал, наполовину бодрствовал, чутко прислушиваясь и на земле и на воде. У Камышловского моста глядели дозорные. В полночь туда же лязгал эшелон, полный человеческих голосов. Далеко в море, роя зыбь ножовой грудью, скакал «Гаджибей» — карать Ялту, поднявшую руку на матроса. «Румынии!», приняв пушки и десант, дымила к феодосийским берегам.

И что-то пронзительнее ветра пребывало над бессонными трюмными огнями, над братскими кладбищами, над бульварами, над чугунными офицерами, повелевающими с городских площадей, над обманчиво-мирной домашностью Севастополя.

«Ни-ка-ки-ми... чело-ве-чес-ки-ми... сло-ва-а-ми...»

На спардеке «Качи» светил на палубу единственный огонек — из рубки радиста. Время шло к одиннадцати... Радист вздрогнул, увидев в иллюминаторе чужое, защемленное добела лицо.

— Уходите, некогда, я с Парижем говорю! — закричал он, ступая. Руки его дрожали. Впрочем, узнав вахтенного, тут же стащил наушники, сам заторопился, полез головой вдогонку — в черную дыру.

— Эй, браток, погоди. Что еще за калединцев слышно?

— А ничего...

— Офицера где?

— Та у Скрябина наверху, в карты играют...

У натралбрига, в наглухо задраенной рубке, сидели с вечера за преферансом сам Скрябин, Бирилев, корабельный инженер — тоже из золотопогонных лейтенантов — и из нижних допустили в свою компанию самого почтенного — Анцыферова. К ночи, однако, без спроса, без приглашения привалили остальные — Блябликов, Иван Иваныч, безыменные с тральщикова. Да и в голову не приходило никому спрашивать: было что-то сбивающее этих людей в одну боязливую кучу, толкавшее их поближе друг к другу, помимо разницы в чинах и заслугах.

Кают-компанейские сидели, не расстегивая шинелей, как в караулке, неотрывно и чадно куря. Беседа плелась пустопорожняя, неправдоподобная: о чем угодно, только до самого главного, до сегодняшней ночи, ни словом не дотрагивались, как до болячки. Особенно Блябликов ратовал — чуть что, пугливо вцеплялся в разговор, переводил на другое. Говорили о политике: что вот заключили мы с немцами мир, а вчера или позавчера опять подали всем радио, что Германия объявила нам войну; что турки напали на Эрекли и вырезали тамошних наших матросов («хорошую науку дали товарищам, — не на Каледина, а вон куда надо смотреть!»); что в море, говорят, опять вышел «Гебен»... Что же теперь, сызнова вооружаться, чинить тралы? Да какие же мы, с позволенья сказать, вояки!

Ералашный Иван Иваныч не вытерпел:

— Война, а они вон чего делают: давеча телеграфисты шептались, радио еще одно получено — арестовать всех офицеров-дезертиров и которые неблагонадежны. Это как же понять, господа, кого же они будут теперь арестовывать?

Блябликов наскакивал с плачущим лицом.

— Наше какое дело, наше какое дело, Иван Иваныч? Нас это совсем не касается, что вы, в самом деле...

Анцыферов рассказывал свое:

— Вот тоже насчет радио. Иду я вечером по спардеку, выскакивает Вицын наш, чисто штоломный, и хватить меня за ордена. Слышали, говорит, последнее радио: сто пятьдесят английских, говорит, вымпелов прорвали Дарданеллы, идут сюда! Я, говорит, буду ждать до двенадцати ночи, а если, говорит, до двенадцати не придут, то заранее рекомендую убираться всем с корабля к чортовой матери!.. Ах, обалдел человек!

— По суткам запрется, как волк... обалдеешь.

— Пес его знает, что он там ворожит... Леплю, говорит.

— Посмотреть бы, кабы не налепил чего...

В синем угарном куреве смутнели развешанные по стене дскадентские этюдики, резные матросские сувенирчики, стопочки нот в тщательных шагреновых папочках — бледная, никчемная Володина суть... И сам Володя подстать, такой же, сидел за столом, улыбаясь всем без повода крупными, слезными глазами. При взгляде на улыбочивую, покойницкую эту немощь жесточе явствовало, какая подходит, метет где-то, пока неслышно, чугунная, всепожирающая буря!.. Голоса стали глухие, рычащие, пересохлые... В двенадцатом часу, когда нечаянно пресекся разговор, Скрябин вспомнил:

— Да, господа... Был у меня сегодня Лобович с «Трувора», с докладом. Рассказывал, как они ходили в Евпаторию. Там ведь большевиков недавно порубили... Ну, вот он теперь и нагяделся... что там было... Знаете, входит и головой прямо вот на этот стол...

Кают-компанейские шинели враз подались назад, в полутьму, словно остерегаясь. Блябликов умоляюще привставал, прижав ладошки к груди:

— Владимир Николаевич! Ну, не надо! Лучше не надо...

Даже Ивана Ивановича проморозило, приподняло, затараторил всякую несуряницу, нарочно Скрябина путал...

— Да-да, как же... всякие бывают дела! Всякие! Да-да! Они вон то же говорят, матросы: не офицеров, говорят а нашего брата поведут в эту ночь... На нас, говорят; тоже черные списки составлены, мы знаем!

— Какие же это на них списки?—изумленно вскинулся Анцыферов.— Да если что... так их безо всяких списков, под ряд.

Карты ронял из трясущихся пальцев, подбирал и ронял опять. Дряблое личико пятналось розовыми пламенами.

— Под ряд... каждого сүкина сына, под ряд!.. А поджигателей и командиров — самих... самих в топку головой, сукиных...

— Шшш...

Ледяной голос Ерилева поучительно поправял:

— Зачем же под ряд, капитан. Наши деды умнее делали: каждого десятого — на рею.

Что-то с узды сорвалось... иль сразу во все головы шибануло угорелой, сладкой волной.

— Для острастки, верно... на рею, лучше нет!

— Я висельников боюсь... По мне бы — всех на баржу, да в море, спокойненько.

— Забыли, как в шестом году собственное дерьмо ели! ¹⁾

— А-а!.. шестой-то бы год сейчас... в шестом-то году-у!..

— Господа,—вступился бледный Володя,—я бы просил, господа... Я вас бы просил, в моем присутствии...

— В топку, в топку! — визжал, притопывая, Анцыферов.

— Владимир Николаевич,—крикнул жалобно Блябликов, сжимая себе щеки,—я болен, Владимир Николаевич, я пойду в каюту, лягу, пожалуста, господа, если меня кто будет спрашивать, скажите — я тяжело болен... я не могу, я завтра, Владимир Николаевич, разрешите, в госпиталь лягу.

Холодное дуновение, долетевшее из черного погреба двери, как бы отрезвило всех. Иван Иванович брякнулся на стул.

— До чего народ стал слабохарактерный, просто позор!

Скрябин торопился овладеть разговором.

— Я, господа, сказал Лобовичу: если вам, Илья Андревич, тяжело, вы переводитесь опять на «Качу», ваша вакансия старшего офицера свободна, отдохнете у нас. Но... у него это странно,—подымает голову и таким тоненьким-тоненьким голоском: «Нет уж, говорит, я с ними останусь...»

В эту минуту за стенами каюты неурочным, железным, трубным воем завыл гудок. Он поднимался откуда-то из водяных недр, вривался в слух хриплым, неостановимым сигналом несчастья... «Вот оно, ого» — произнес Иван Иванович, ужаленно привскочив со стула. Анцыферов крестился, блуждая глазами. Другие, приподнявшись, глядели

¹⁾ Один из смертников матрос из ужаса перед казнью симулировал в тюрьме сумасшествие, поедая собственные испражнения.

оцепенело на иллюминатор, ожидая, что вот-вот выяснится там какая-то ошибка, все стихнет, оборвется... Но завывание не обрывалось,— наоборот, росло, жесточало, к нему присоединялись далекие сирены и парходные истерические гудки, — все это неслось разнуданной рекой воплей и криков, бесновато било в набат над спящим городом и рейдом, казалось, там уже рухали горой раскаленных углей этажи, метались по-овечьи люди.

Дверь распахнулась, из-за порога шатнулся всклокоченный, бессмысленный Маркуша, ища, за что бы ухватиться нетвердой рукой.

— Господа, там радист чего-то орет... я не понимаю.

— Режут? — ахнул кто-то, не расслышав.

— Радист чего-то орет, говорю...

... В самом деле, в радиотелеграфной рубке происходило необычайное. Сам радист силился протиснуть в иллюминатор искаженное, одетое в наушники лицо. На пороге, в озарении пятидесятисвечевого света, ухмылялся мичман Винцент, по-бальному одетый в снеговую сорочку, в двубортный, фасона смокинга, новый китель, в тот самый, как выяснилось потом, в котором на выпуске представлялся царю; на плечах у мичмана сверкали червонные, с двумя черными звездами погоны.. Так и осталось неизвестным, куда припарадился напоследок Винцент — взорвать ли со славой минный качинский погреб, как он обещал когда-то Шелехову (в руке мичмана нашли зажатым ключ для отвинчивания минных колпачков), или встретить достойно сто пятьдесят английских вымпелов, и почему сманил его с дороги единственный огонек... А радисту после всех разговоров о полночи, ошарашенному набатным гудком, конечно, непосильно было увидеть вдруг на своем пороге живого, ликующего офицера...

— Не мешайте, я говорю с Парижем! — и тут же, метнувшись к иллюминатору, завопил. — На помощь!.. Но на палубе никого не было, вахтенного давно крутило вниз, в горячей трюмной суматохе. Товарищи не слышали крика... А офицер наступал, зажимая в руке сталь, офицер щерился, как дикарь, — должно быть, в омраченном своем сознании услаждался близкой расплатой..

Маркуша первый прибежал и начал крутить руки Винценту. В темном коридорчике без толку толмозились очумелые кают-компанейские. Радиста никак не удавалось успокоить.

— Не трогайте, не мешайте! — кричал он, отбиваясь от обступивших его черных шинелей. — Я говорю с Парижем.

Наушники мешали ему слышать, понять... Между тем корабль колебался; с гулом сотрясали трап бесчисленные, сбегаящие на набережную ноги. Черноморский флот восставал по тревоге.

Напротив, через коридорчик, в своей каютке лежал Блябликов с открытыми в темноту глазами. Он слышал страшный гудок и крик, и душегубную, урчащую возню под своею дверью; ясно было, что уже пришли, режут... Зацепенел в одеяле, не шевелясь, не дыша, приготовившись к смерти, беспомощно ощущая, как одевает все его тело истощная, обжигающая и ледяная теплота. Блябликов лежал и мочился.

Шелехов проснулся в неясном смятении. Голову раздирало скрежещущее железо. Только спустя минуту уразумел, что это по-грозовому, несмолкаемо рычит гудок. Сверху били ногой в люк.

— Сбирайтесь, Сергей Федорыч, тикаем до «Качи». Тревога...

Одевался в торопливом ознобе. Первая мысль была об отряде. Наверно, уже собирался, бушевал около «Качи», ждал командира. Не думалось, что все случится так скоро. И целая гора забот и страхов подвалилась под сердце, укусила... справится ли? Конечно, Шеле-

хов не мог знать, что никакого отряда больше не существовало, что качинские, не дотерпев, похватав винтовки, врассыпную сеялись уже по темным портовым тропинкам туда же, куда бежали поднятые ночным сполохом и боевым нетерпением кубрики и трюмы всего флота. Позже, когда узнал, только вздохнул освобожденно.

...Вещи — поручить Опанасенко. Да и много ли их, вещей? Вот они кучей темнели, навешанные в углу. Офицерская шинель, китель с университетским значком; еще одна шинель — студенческая тужурка с синими петлицами, мохрявые брюки, на которых засохла еще петербургская грязь. Разноцветные, прощальные куски жизни пролетали, как за окном вагона. Была убежденность, что к этим вещам не вернуться больше никогда. Он погрузился на минуту в них лицом — в этот грустный, отступающий от его прикосновения прах... Так далеко ушло все — за ровень длинных-длинных, как океаны, дней... Ему вспомнилась фраза из прочитанного, неведомо какого романа: «Уходя, он взял с собой любимый томик Бюссиера». У него не было любимого томика Бюссиера. У него не было ничего, что он мог бы взять с собой в дальнюю дорогу... Грустная и облегчительная нищета!

Он позвал Опанасенко. Сложил на койку винтовку, патроны, папиросы. Достал из тайного хранилища браунинг. Горбушку хлеба на всякий случай. Кажется, это было все?

На корме в синей темени стояли двое стройных, прямолобых, с винтовками на плечах, как статуи. Кузубов с Хрущом. Третий присоединился — приземистый, пригорбленный немного от сиденья за книгой. Опанасенко высунулся следом, махал из могильного своего логова:

— Счастливо!

За гудком слышалось едва... Чем-то возбужденным, праздничным опухнул темный воздух, — вероятно, от огня, от будоражно поднятого в ночи многолюдья. Осыпалась круча под бегущими гулкими ногами. Хрущ с размаху скакнул через овражек, бешеное, охальное разгулье обуяло его.

— Э-эй! — загомосил он. — Иль я не живой вернусь, иль я... Эй, мать.

Кузубов поспевал сзади мягко, по-кошачьи, — за его голосом чудилось подслеповатое, смешливо-торжественное лицо.

— Нет, я смерти не хочу. Эх, Хрущ, чего мы видали с тобой в наши молодые годы?

«Теперь-то увидим!» — хотелось вызывающе крикнуть Шелехову. Ночь обтекала его ознобной, огненной свежестью. Так вот оно какое то, что и манило, и ужасало, и закрыто было от него всю жизнь! Пьяная, смертная гарь под окнами ораниенбаумской школы... Недослушанные, потаенные разговоры на «Пруте»... Бушевание борьбы и жути, бившееся о стенки тюремной каюты... О, теперь он дорвался, брал свое, до дна вдыхал обжаренной грудью. Вот оно какое!.. Над портом продолжали штормовать гудки, рыдание сирен. Проектора разрывали напорный мрак неестественными солнцами. Шлюпки высыпали в северную темень воинством тревожных рыщущих огоньков. От всего подувал обжигающий ветерок напора и опасности... Чорт возьми, Севастополь провожал их, как на свадьбу!..

..Конец этой ночи — за севастопольскими рубежами.

Много народу ушло из Севастополя безвестно в ту ночь. Ушло и не вернулось. Шеститысячная волна матросов-повстанцев в три дня смыла с полуострова малодушную контрреволюцию, а там устремилась далее, захватив с собой, среди тысяч других, и крошечную судьбу некоего Шелехова.

Окружной маневр

Очерк

ЛЕВ НИКУЛИН

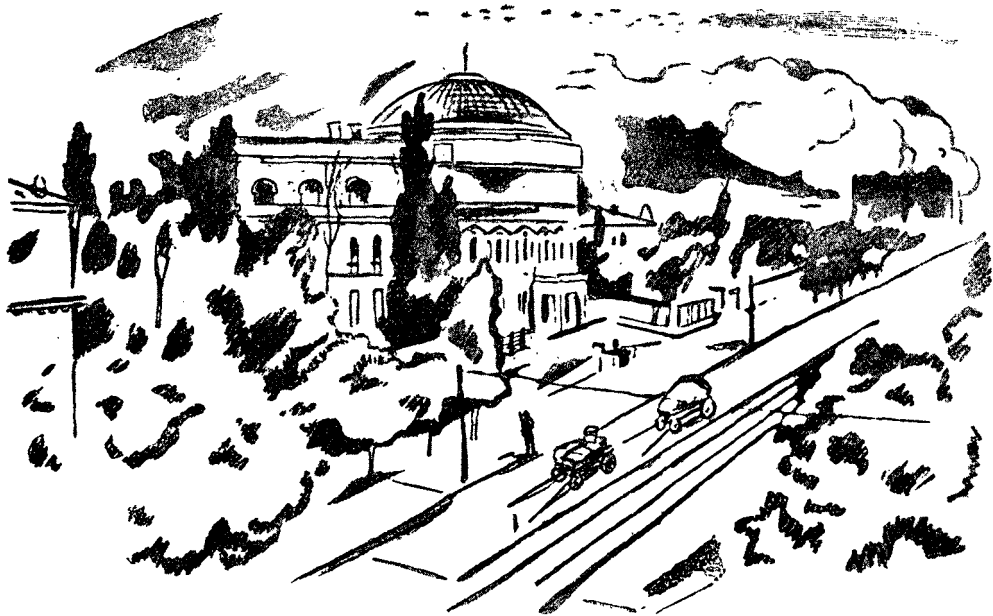
Рисунки П. Шухмина

I

Четыре человека в красноармейской форме вышли из жесткого вагона на узловой станции юго-западных дорог. За плечами у них были вещевые мешки, в мешках котелки и алюминиевые ложки, но все же опытный глаз за десять метров отличал в них штатских. Кавалерист комполка поглядел на самого штатского из них и сурово спросил: «Вы какой части, товарищ?» Тот развел руками и, подумав, сказал: «Никакой. Мы — бригада писателей». Комполка имел право удивиться и еще большее право имел спросить у нашего товарища Всеволода Иванова, почему он носит пояс под шинелью, а не поверх ее, как ему полагается. Мы были в районе окружных маневров, и в качестве членов ЛОКАФ (что значит литературное объединение писателей Красной армии и флота) были на положении мобилизованных. Всеволод Иванов надел ремень, как полагается, и многозначительно нам подмигнул. Мы, подтянувшись и подбодрившись, прошли на перрон. Так началась наша военская жизнь. Действительно, все вокруг выглядело несколько необычно: и военные кооперативные лавочки с толковыми продавцами и дисциплинированными покупателями, и лозунги, в которых говорилось определенно и кратко, что именно должно делать население в случае воздушной и газовой атаки. Наконец, часы здесь не отставали и не забегали вперед, и шестнадцать часов и сорок минут означало именно сорок минут пятого пополудни. Это стоило отметить потому, что время шестнадцать часов и сорок минут будет иметь значение для дальнейшего повествования. И так как до этого срока нам оставалось достаточно свободного времени, мы бросили свои вещевые мешки и сделали длинную прогулку по Киеву. Город этот некоторые ставят наравне с Венецией и Флоренцией. Это значит, что едва ли в каком-нибудь другом городе вы найдете гармоническое сочетание природы — «голубой зеркальной дороги», то-есть Днепра, высокого берега, «зеленого мира» садов и парков — и юго-западного барокко, перекликающегося с барокко западным. Не знаю, в который раз я видел из окна вагона, сквозь стальной переплет моста этот высокий берег и золотые яблоки куполов Печерска, но и в этот раз «вылитый весь из стекла» Днепр и кудрявые шапки деревьев, остря тополей взволновали меня. И это волнение происходило не столько от неповторимого очарования пейзажа, сколько от воспоминаний одиннадцатилетней давности.

Август девятнадцатого года, канонада, пушки полупановской Днепровской флотилии, петлюровцы и деникинцы, наперегонки врывающиеся в Киев, бои на Крещатике и наши речные пароходы, и баржи, уходящие из великолепного древнего Киева к северу, в грустный Гомель. Солнце косо светило в глаза умирающим и живым, и мы, живые, смотрели на высокий берег и кровли Киева чуть влажными глазами, и глухие удары сердца спрашивали: «вернемся ли?», а полупановские пушки отвечали стальным рыком: «вернемся!» И мы вернулись. Некоторые из нас, правда, вернулись в Киев почти через десять лет после того, как он стал навеки Красным Киевом, но это не мешало предаваться романтическим воспоминаниям и радостям в часы этой утренней прогулки. Мы поднимались в гору, к Печерской лавре, и у всех были разные воспоминания об этих местах — о дворце в бывшем царском саду, где в девятнадцатом году заседало рабоче-крестьянское правительство Украины, об арсенале — цитадели революционных рабочих, оплоте и твердыне советов в Киеве. В громе и грохоте исторических сдвигов, потрясенные небывалым в истории изменением мира, мы упускаем события средних масштабов. Кто, например, помнит о том, что Киево-Печерская лавра перестала существовать как лавра и монастырь, и собрание мощей и реликвий, и существует как музей украинского зодчества, исторический памятник и музейный городок. Теперь вы спускаетесь в дальние пещеры. Вы довольно долго идете по дощатым переходам, по лестницам, расшатанным тысячами богомольцев. Вас обгоняют печальные старухи, пягь-шесть старух, пришедших в «музей», как они между собой называют теперь лавру, придавая этому тайный смысл и значение. Холод, сырой воздух пещер пахнул вам в лицо, — две молодые девушки в прозодеждах открывают вход в подземелья, но жути, ощущения неизбежности, смерти, глениа нет, несмотря на то, что сорок семь дубовых гробов теснят вас в этом узком подземном проходе. Электричество, живая вечная сила природы, светит холодным и обнажающим, разоблачительным светом, отгоняя мистический трепет и черную византийскую магию. Может быть, в те годы, когда вы спускались в сырую и черную тьму подземелья и, осторожно ступая, шли за монахом, за тусклым пляшущим язычком свечи, подземелья, гробы и сорок семь отшельников, погребенных в пещерах, известным образом действовали на ваше воображение. Но при электричестве и при прозодеждах молодых девушек, которые рассуждают о месткомовских делах, нельзя предаться мистическим и философским размышлениям о бренности мира и даже нельзя быть просто почтительным к человеку, который тысячу лет назад сидел по собственному желанию на хлебе и воде в темной подземной пещере. Вознесенский собор, дальний родич венецианского Сан-Марко, поднимается на бледногубом и прозрачном венецианском небе. Колокольня, построенная гетманом Мазепой, запечатленная огненным знаком гражданской войны, бомбой шестидюймовки, напоминает об интернациональном искусстве итальянских строителей и мастеров. До сих пор время проходило у нас в поучительной прогулке по Киеву. Но настоящий военный, наш спутник и военрук, многозначительно смотрит на часы, и мы уходим из лавры и торопимся спуститься в город, потому что цель нашей поездки — не размышление о человеческом суеверии, вере и неверии. Мы — свидетели окружного маневра, то-есть экзамена на боеспособность, испытания в боевой подготовке воинских частей всех родов оружия. «В современной войне самое безопасное место — фронт» — не помню, где я слышал или читал эти слова. Их надо понимать так,

что средства, которыми владеет современная армия, не оставляют гражданское население нейтральным в будущих войнах. Будущая война вообще понимается империалистскими правительствами как поединок наций, а не армий. Надо не только разбить армию, но парализовать военную промышленность и навести ужас и панику, лишить нацию всякой возможности оказывать сопротивление,—для этого есть испытанные средства: авиация и химическая война. На этих зеленых равнинах, в этих синих даях, которые открываются с Владимирской горки, происходит окружной маневр, военная игра «синих» и «красных» дивизий. Однако, «игра» в наше время явно сочетается с действительностью, и когда синий аэроплан условно снижает красный, и оба самолета возвращаются на аэродром и оба летчика мирно пьют чай в столовой, громкоговоритель радио передаст подлинное сообщение РАТАУ о том, что польский аэроплан спустился близ Ямполья на советской территории и польский летчик стрелял в приблизившихся наших пограничников. Наши «синие» и



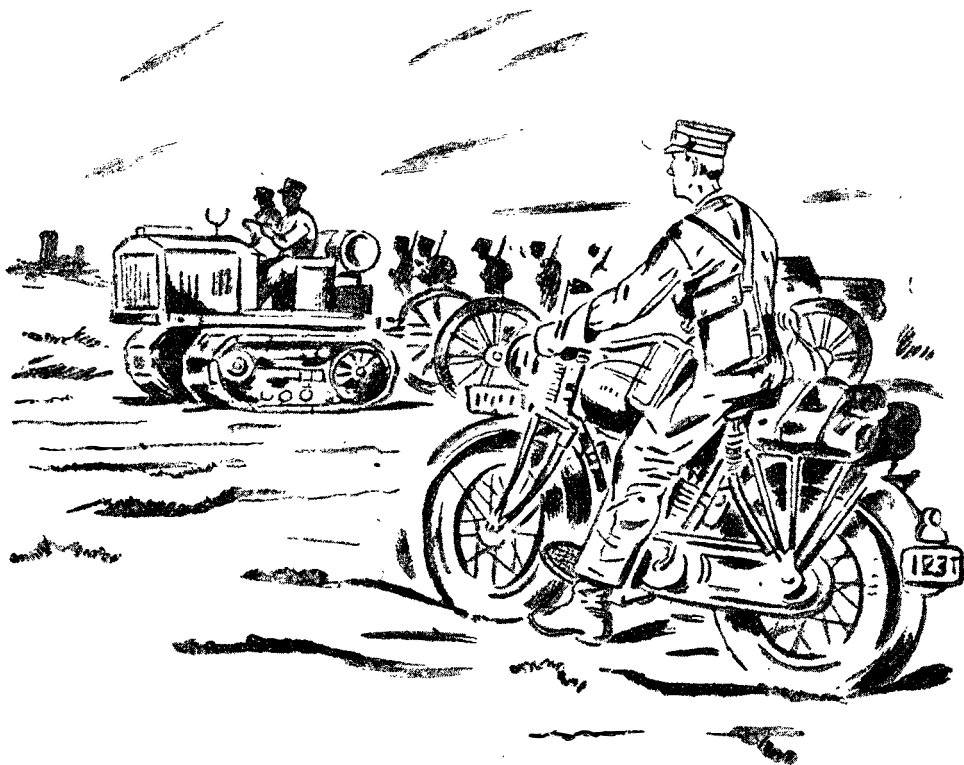
Звено за звеном перелетной стаей проходят бомбовозы

«красные» летчики слушают это сообщение и хорошо понимают, что игра, военная игра происходит на еле ощутимой грани с действительностью. Все это должно понимать и учитывать главное руководство маневрами, и вот почему мы с некоторым волнением ждем шестнадцати часов сорока минут, экзамена для летчиков, осоавиахимовцев и Красного Креста, экзамена для населения большого, древнего города. Летчик, перелетевший советский рубеж, через час мог бы кружиться над Киевом; он и пятьдесят или сто других налетчиков могли бы по частям превратить древний город в развалины и кладбище. Так думаем мы и смотрим вниз с обрыва Пролетарского сада на суету речного порта, на моторные лодочки и лодки на Днепре, на детей, играющих в аллеях. Город живет будничной, трудовой жизнью. Портфеленосные штатные единицы возвращаются со служ-

бы, звенят звонки велосипедистов, взвизгивают автомобильные рожки, громяют трамваи. Город живет, как жил, и только белые повязки военных посредников напоминают ему о том, что на обоих берегах величественной реки происходят условные бои и условно гибнут воинские части. Внизу под обрывом, на автодорожской пристани, оркестр играет туш в честь гонщиков, и вечер, теплый и ласковый осенний вечер, уже чувствуется в желтых и косых лучах солнца. И вдруг ухо уловило унылое, длительное и тревожное завывание гудков. Зловеще, на одной ноте воют гудки, как в те петроградские ночи, когда немцы напирали на Ригу и Двинск и занесли бронированный кулак над революционным городом. Мы, конечно, понимаем, что это—репетиция воздушного налета, но, как хотите, пронзительные свистки сторожей и внезапно пустеющий сад вселяют в вас настоящую тревогу. Стихает грохот речного порта и музыкальный туш в честь рекордсменов-мотористов. Живой и широкий Крещатик, одна из лучших улиц Союза, умирает, мертвеет на наших глазах. Понимаете ли вы жуткое безмолвие пустой и мертвой среди дня улицы, пустого и мертвого города? Это похоже на дурной сон, на самый скверный кошмар, от которого просыпаешься в холодном поту. По гладкой, как стол, улице катит трамвай с красным крестом на прицепном вагоне, наполняя гроыханием притихший город. Конные милиционеры в противогазах—резиновых масках с хоботами, спускающимися на грудь — скачут по тротуарам, и почти бегом спускаются на площадь дружинники авиахима. Каждый делает то, что ему полагается, с такой серьезностью и деловитостью, что люди, спрятавшиеся в подворотнях домов, проникаются серьезностью минуты. Пьянький чудак, которого спугнула тревога, бежит вприпрыжку по мостовой и, с веселым испугом кричит: «В чем же дело, граждане, в чем же дело?» И над городом монотонно воют гудки, ахают зенитные орудия, и когда вокруг нет никого, кроме людей в противогазах, настоящих или условных, над тихим и вымершим городом начинает скрежетать небо. Звено за звеном перелетной стаей проходят эскадрильи бомбовозов. Голубовато-зеленым огнем светят падающие ракеты. Мы обгаем пустой город на форде и видим всплывающие дымовые облака на перекрестках и вдыхаем противный запах не убивающего, но скверно пахнущего газа. Известковые белые пятна отмечают зараженные ипритом места, желтый плакат с черепом и костями преграждает нам путь у той самой лавры, где два часа назад мы рассматривали колокольню Мазепы. Люди в противоипритовых резиновых латах с сознанием своего права и долга работают в зараженных зонах. Это длится час или два, санитары уводят условно отравленных, пожарные команды тушат условные пожары. Утренняя газета укажет попадания бомб и условные разрушения, но пока, кроме выпачканной известкой мостовой, вы не видите никаких следов воздушной и газовой атаки. Во второй раз сигналият гудки, и это означает, что воздушный враг отогнан. Люди появляются на улицах, дружины осоавиахима возвращаются на заводы, и теперь ощущается некоторая гордость от того, что полумиллионное население большого города можно вовлечь в полезную и нужную военную игру.

Ночью нас отправляют на позиции в сосновом лесу, в стороне от шоссе, в сорока километрах от города. От настоящего на смолистой хвое воздуха у городского человека кружится голова. Черная, непроницаемая ночь, ни костра, ни фонарика, — нельзя обнаружить себя «синим». Но лес и дорога полны невидимой жизни. От шоссе

идет сдавленное дыхание моторов. Люди кружат вокруг леса, и в такую ночь в настоящей войне принимают своих за врагов и расходятся, не заметив друг друга, противники. Обрывки заглушенного говора, заглушенный кашель, треск обломившейся ветки под ногой, тихое конское ржание,—это все, чем выдает себя тысяча людей в лесу. «Ой же и засну завтра на дневке. Третью ночь не сплю». «А вчера что?» — «Вчера с бригадой ходил на поверку. Проверяли конский состав». Невольно думаешь над случайно услышанной фразой, и она, как все, что говорится и делается вокруг нас, имеет глубокое



От шоссе идет сдавленное дыхание моторов

значение и смысл. В этих скудных словах—высокая идея, двигающая общее дело всей страны, идея ударничества и социалистического соревнования. Старые армии всего мира боялись участия в массовых, общественных движениях. Новая армия живет одной жизнью с трудящимися своей страны. Фраза, услышанная нами, означает, что невидимый в черной ночи боец, вместо отдыха после дневного перехода, проверял с бригадой конский состав дивизиона, проверял договор на социалистическое соревнование. Потом в окружной газете вы прочтаете обстоятельный протокол налета бригады: «В управлении дивизиона—один конь без недоуздка, в седьмой батарее—кони без попон, а ездовой спал, укрывшись теми же попонами, в восьмой батарее конь привязан ремнем, стянувшем ему шею». Протокол прочтут другие командиры дивизионов и батарей и красноармейцы, и можно быть уверенным в том, что бессонная ночь налета бригадиров не пройдет бесследно. Простое, конкретное, прозаическое дело—

проверка договора на соревнование—имеет неизмеримое политическое значение. То, что в старой армии пытались сделать зуботычными вахмистров и драконовскими дисциплинарными взысканиями, здесь достигается товарищеским сговором и товарищеской проверкой. Мы—считанные дни в армии, но едва ли не в первый день нам стало ясно, что рабоче-крестьянская армия—это школа, политическая и политехническая школа молодых пролетариев. Когда одна рота вызывает другую в порядке соревнования помочь колхозникам собрать с поля свеклу и обмолотить урожай, то в этом есть великий урок для селян, и это есть реальное средство борьбы с агитацией кулаков. Не надо закрывать глаза на лжеударничество и лжесоревнование, когда оно просачивается в массы и пытается извратить мощное движение масс, но здесь, в молодой и здоровой красноармейской среде, в среде, чуждой обывательскому нытью и мещанскому карьеризму, великая идея встает в своей кристальной ясности и чистоте. Еще одна мысль приходит в голову, когда входишь в эту здоровую и молодую среду. Современная армия и ее технические средства есть не только военная школа для рядового бойца, но и начальная школа технических знаний. Я говорю о специальных родах оружия, о бойцах-связистах, шоферах, трактористах, электротехниках и просто бойцах, соприкасающихся с техническими средствами современной армии. Все знают, что завод рано или поздно перевоспитывает молодого крестьянина и делает его стопроцентным пролетарием и сознательным рабочим. В армии у рядовых красноармейцев есть особое тяготение к технике, к рулевому колесу трактора или грузовика, к полевой радиостанции, потому что в этом случае рядом с военной учебой идет техническое обучение, путь к тому, чтобы стать квалифицированным рабочим. И вместе с этим идет общее расширение умственного кругозора, потому что нельзя возиться с клапанами и мотором, не интересуясь, откуда пошел двигатель внутреннего сгорания и какие перемены в мировой экономике вызвало развитие автопромышленности. Народники любили противопоставлять «мужичка-землепашца «фабричному», и это им отчасти удавалось, пока мужичок ковырялся сохой в «божьей земле», но с тех пор, как металл и нефть и машины сделались элементами обработки земли, и разрешен вопрос о хлебно-зерновых фабриках, работник земли имеет крепкую связь с работником станка, и двигатель трактора так же интересен прирожденному крестьянину, как и рабочему. Но мы отошли от темы об окружном маневре, хотя у нас есть оправдание: Красная армия есть участок общего строительства социализма, и если «дело заключается в том, чтобы изменить мир», то мир меняется на наших глазах, когда мы видим армию, построенную на новых, справедливых и мудрых основаниях.

II

Утро встретило нас хмуρο. В воздухе клубилась смесь дождя и тумана. Мы разыскивали полковую газету «Сигнал», куда нас звали ее редактор и сотрудники. Но мы блуждали целый день с частями, то примыкая, то отставая от них, потому что везде было в равной степени интересно и всюду хотелось поспеть. Так, мы провели час в замаскированных землянках полевого штаба. В еле приметных складках оврага были вырыты три землянки, прикрытые веревочной сеткой. Трава и листья поверх веревочной сетки маскировали землянку и образовывали просвечивающий навес. В нескольких километрах шел бой, но, как в настоящей войне, мы ничего не видели за

деревьями и холмами. В землянке телефонисты, не отрываясь от трубок, монотонно выкликали условные названия частей, командиры переходили из одной землянки в другую, нажимая невидимые кнопки, передвигая невидимые части. Когда из серого неба возникало грохотание мотора, дежурный отрывисто выкрикивал: «самолет», и все лезли в землянку, чтобы не демаскировать полевой штаб. Веревоочная сетка и невинно накиданная поверх сетки трава в этом случае защищали от аэроплановых бомб. Если самолет был свой, «красный», мы вылезали из землянки, стараясь понять обстановку боя. Но все, очевидно, происходило как в настоящей войне, и потому мы мало понимали в происходящем. Когда кто-то из нас сказал об этом, телефонист вдруг оторвался от трубки: «Так, да не так. На войне прилетит чемодан и хлопнется рядом, и останется от всех яичница... Семь А, семь А», заторопился он, отвечая невидимой части. Командиры, посмеиваясь, говорили об ужине и вспоминали о том, как вчера у Н-ского полка взяли в плен полковую кухню, и синий раз'езд, отбивший кухню, не хотел ее отдавать, несмотря на указание посредника. И не отдавал до тех пор, пока ему не приказал прямой непосредственный начальник. Ужин, конечно, опоздал, в полку крыли «синих», но признавали, что раз'езд действовал правильно. Опять закричали: «самолет», но это тоже был свой, «красный». Суживая круги, он довольно долго летал над группой людей и двумя скрещенными шестами. «Кошку берет»—объяснили нам, и в бинокль можно было видеть, как летчик-наблюдатель проволокой «взял кошку» с земли, выудил приказание и улетел его исполнять. Три самолета звеном проходили так низко



...мы провели час в замаскированных землянках

над землей, что лес закрывал их от «синих», которые, очевидно, были по ту сторону леса. Они передвигались почти по земле, рычание их моторов и хищные силуэты хвостов и крыльев придавали им злобный облик летающих хищных ящериц каменноугольного периода. Они прятались от истребителей и, пользуясь складками местности, подкрадывались к передвигающимся в тылу частям, чтобы внезапно атаковать бредущим полетом колонну, смешать и рассеять условным пулеметным огнем, смешать карты противника в военной игре. Но в общем, вокруг была прозаически деловая, будничная обстановка.

Через два дня мы слушали разбор маневров, происходивших в этот серенький день. Оказывается, на протяжении двадцати километров разыгрывалась одна из самых увлекательных и труднейших

операций современной войны, так называемый встречный бой, и дело заключалось в том, что противники, развертывая свои дивизии, боролись за наиболее выгодное для себя положение. И даже в день разбора, слушая двухчасовой доклад командующего, краткое изложение германской теории встречного боя и самый детальный разбор операции, в небольшой части развернувшейся перед нами, мы очень мало понимали в том, что произошло. Николай Ростов у Льва Толстого был много счастливее нас, он видел, по крайней мере, огромных скачущих всадников в утро знаменитой атаки кавалергардов при Аустерлице. И так, это была в своем роде знаменитая атака кавалергардов, а мы в отдаленном грохоте артиллерии, в редко всплывающих дымовых облаках и еле слышном стрекотании пулеметов не рассмотрели встречного боя. Какая дистанция между девятнадцатым и тридцатым годами! Тогда, в обстановке гражданской войны, в боях за какие-нибудь Бровары или Батайск, все было значительно проще и яснее для рядового красноармейца и политработника. В нынешней обстановке такие задачи выполняются каким-нибудь комбригом, скажу больше, задачи комбрига в современной войне, пожалуй, сложнее, принимая во внимание чудовищно выросшее значение авиации, технических и химических средств современного боя. Не мудрено, что мы многого не понимали, и любой юноша, окончивший курсы специальных военных корреспондентов, забьет «квалифицированных штатских» писателей в тактике и стратегии, в разборе обходного движения «синих» и контрманевра «красных», и вывод из этих строк, конечно, должен быть такой: в те годы, когда военная угроза ощущается так явственно и остро каждым гражданином Союза, писатель должен научиться исполнять обязанности военного корреспондента, культурработника в политотделе. Такие мысли приходили нам в голову, когда мы слушали разбор операций. Но в то сырое утро мы, с чувством некоторой обиды, вылезли из землянок и, пользуясь белыми повязками нейтральных посредников, поехали разыскивать полковую газету «Сигнал». Пока мы спорили над картой, шофер поступил просто и разумно: спросил у первого попавшегося мальчика, где газета, и привез нас прямо в школу. Я думаю, что это была самая маленькая, компактная, рационально устроенная газета, которую мне пришлось видеть. В обыкновенной классной комнате сельской школы помещалась типография, то-есть маленькая плоская машина-американка и несколько наборных касс. Деревянный стол уже относился к редакции; угол, где лежали шинели, вещевые мешки и пачки газет, служил одновременно спальным помещением сотрудников и наборщиков и отделом распространения. Сейчас в этом углу спали два наборщика. Они работали ночь и, к сожалению, мы разбудили их. Черный хлеб—красноармейские пайки, сложенные в виде баррикады — придавал редакции походный вид, а винтовки в углу подчеркивали боевую, маневренную обстановку работы. Это была полковая многотиражка размером с лист обыкновенной писчей бумаги. Редактор многотиражки был на позициях, но заместитель его хорошо знал свое дело и заставил нас работать, и это было справедливо, потому что до сих пор мы были бездельничающими наблюдателями. Пока мы сочиняли литературную страничку в стихах и прозе, нам рассказали об успехах и неудачах полковой газеты. Успех заключался в том, что газету хорошо читали, что полковая газета не уступала дивизионной в своевременной подаче материала, в умении разъяснить обязанности на марше и в походе, а неудача заключалась в том, что газету подвели незатейливым плагиатом. Оказалось, что стишки одного литературного сотрудника, которые охотно печатала

газета, были довольно грубо перемонтированными стихами Безыменского. Пачка писем военкоров лежала на столе рядом с ломтем хлеба и кружкой остывшего чая. Покривившиеся строчки, крупные танцующие буквы недавно ликвидировавшего безграмотность красноармейца, обличали кухню, отставшую от части, другое письмо красноармейца пулеметной роты, об'явившей себя ударной «имени третьего года пятилетки», с искренним удовольствием указывало, что на марше в сорок километров рота не имела ни одного отсталого. Все это было актуальным и важным материалом, пожалуй, более



В обыкновенной классной комнате сельской школы помещалась типография...

важным, чем двести строк, которые отняла у полковой многотиражки наша литературная скороспелая страничка.

В пять часов был отбой. Мы встретили его в чайной за столом с двумя сельскими учительницами, молодыми девушками, очень довольными походной суетой, оживившей тихое село. И разговор был общий, обычный, но интересный для всех: разговор о здешнем колхозе и количестве колхозников до и после ликвидации загиба. Чайная была хатой кулака, которого выселили на время маневров. Учительница сказала об этом мельком, не вдаваясь в подробности, но артиллерист с двумя квадратиками на воротнике шинели покачал головой и сказал: «Ой же райончик тут был в девятнадцатом году. Я, конечно, тогда пешком под стол ходил, но люди говорят, бедовые тут дядьки. Теперь ты с ними балакаешь о том и о сем, и о колхозе, он тебе ничего подобного, вежливый и всем довольный, хотя сам не кулак, а кулачище. И я вам верно говорю, в девятнадцатом году он по сию пору в нашей крови был». «Сунули бы вы нос сюда в девят-

надцатом, — сказал шофер нашего полугрузовичка, — они б вам показали пряник с медом. Подступиться к ним из Киева нельзя было. Я с Павловым в Триполье на Зеленого ходил, тогда кругом одни банды были. В одном селе легло наших тридцать спать, да так и по сие время спят за речкой в болоте». «Другое время, другие люди — новые люди». Это сказала учительница и вышла в сени, где молчаливый рослый парень раскладывал на столе газеты и госиздатские книжечки. Разговор продолжался в том же роде о каркулях-кулаках, о числе колхозников, как называются по-украински колхозники, о комсомольской ячейке, кооперативе. Действительно, — другое время и другие люди. Новые люди.

III

На следующий день трое из нашей бригады летали, и вечером после полетов я сознался Всеволоду Иванову в том, что, устраиваясь на зыбком сидении летчика-наблюдателя, думал приблизительно так: «вот жил-жил человек, чего ему надо, куда лезет по своей охоте. В случае чего, мокрого места не останется». Иванов сознался, что у него были точно такие же мысли. Сколько бы ни говорили вам энтузиасты летного дела, что в поездах и на автомобилях опаснее ездить, чем летать, сколько бы ни успокаивали сравнительными цифрами железнодорожных и воздушных катастроф, невеселая мыслишка всегда обеспокоит вас в ту самую минуту, когда летчик дает команду: «от винта». Но тут же вы порадуетесь за авиобригаду (и за себя, конечно), когда вспомните, что за двадцать девятый год в бригаде была одна авария, а в тридцатом — ни одной, и это происходит главным образом потому, что материальная часть работает на совесть, из скромности командир, конечно, не сказал, что и люди работают на совесть, но сказал вскользь, что аварии бывают чаще всего в том случае, когда летчик «переходит на ты с мотором». Когда вы сидите в закрытой коробке гражданского самолета, для вас в общем неясны взаимоотношения летчика и мотора, и вообще в гражданском самолете вы только пассажир, а в военном вы — наблюдатель. Громоздкость, солидность конструкции, кажущаяся прочность гражданского самолета и легкость, спортивность, упрощенность самолета-разведчика заставляют сделать самое грубое сравнение: автобус и гоночный автомобиль, даже не автомобиль, а одно шасси с мотором. Наш полет был не простой двухчасовой прогулкой в воздухе, мы были летающими почтальонами, доставляющими на позиции письма и газеты. Если принять во внимание то обстоятельство, что в эти села почта попадает два раза в неделю, то можно понять, что летающих почтальонов нетерпеливо ждали маневрирующие части. Мне показали два прибора — указатель высоты и указатель скорости, затем показали один рычажок сбоку, которого я не должен был ни в коем случае касаться, и еще какой-то механизм в ногах, которого тоже не следовало задевать. Я положил на колени два солидных пакета с письмами. В известный момент я должен был их передать летчику. Затем я поднял воротник, надел шлем и очки. Мотор выстрелил и рванул, и тут я сразу понял, что пассажирские перелеты в Юнкерсе — скучное занятие по сравнению с полетом на разведчике. Полет в наше время не настолько важное дело, чтобы стоило тратить время на его описание, но этот полет все же был некоторой частью моей главной темы — окружного маневра. Кроме того я полагал себя наблюдателем окружного маневра сверху, с этой точки зрения кругозор наблюдателя маневров расширялся, и он видел общие планы, а не отдельные зоны, перегородженные лесами и

деревнями. Мы летали звеном, то-есть три аэроплана образовывали треугольник в воздухе, и это было неожиданно интересно, потому что вы видели не только соседние самолеты, но и лица и выражения лиц летчиков и наблюдателей всего звена. Они переговаривались жестами, предлагая друг другу взять высоту или опуститься, потому что был самый скверный час для полета, внизу болтало, и самолеты срывались в воздушные ямы. Два соседних самолета все время висели сбоку, как на ниточках, опускаясь и поднимаясь, соблюдая дистанцию и высоту. И так как эти две точки все время были рядом — пропало впечатление движения, и только двигающаяся под нами земля и необычайной плотности и упругости ветер и воздух подтверждали показания стрелки: сто шестьдесят километров в час. Конечно, никакого общего плана происходящих внизу операций я не увидел, потому что рассеивал рев трех моторов, свистящий, сверлящий ветер, обтекающий голову и плечи, упругий, ощущаемый как буфер воздух и сто разных впечатлений в секунду, сменяющих друг друга. Ветер давил и буквально держал за плечи, с трудом можно было поворачиваться в узком промежутке сидения и смотреть справа и слева в две бездны. Тень аэроплана передвигалась внизу по вычерченным по линейке прямоугольникам полей. Но при поворотах и когда мы забирали высоту, солнце оказывалось под нами, вообще в самых неожиданных местах. Молочный, золотисто-серый воздух пластами, просвечивающими плотными пеленами, лежал под ногами, еще ниже лежала черно-зеленая земля, по линейке шоссе на одну секунду глаз улавливал движение зеленоватых жучков, и летчик тыкал пальцем вниз, и это означало «артиллерия» или «пехота». Мы поворачивали, и земля косо-ласково и завлекательно надвигалась и лезла на нас и, очевидно, при аварии этот ласково напирющий, наклонно встающий край хлопает по самолету и разбивает его вдребезги. В круглом зеркалаще я встретался глазами с летчиком. Внезапно я стыл от холода, и земля внизу выглядела уже как плоская развернутая карта, план без всяких деталей, и стрелка показывала восемьсот и тысячу метров. Два наших спутника сбросили газеты и улетели по своим делам, мы тоже пошли на снижение и совсем близко увидели наклонное, почти опрокинутое поле, по которому скакали всадники, не то убегая, не то настигая нас. Затем мы покружились над полотняной буквой «Т», летчик вынул руку, я протянул ему первый пакет, борясь с ветром, который пытался оторвать пакет вместе с рукой. Летчик швырнул вниз пачку, со второй пачкой вышла неудача: ее плохо завязали на земле. Мы опять взяли высоту, летчик отрегулировал мотор, и пока самолет шел по прямой линии в пространство, занялся пакетом. Он завязал его наново, мы повернули к белой букве «Т», снизились и сбросили пакет. На этом кончились обязанности почтальонов. Назад мы летели на высоте восьмисот метров по прямой линии, гладко, без качки, как по невидимым воздушным рельсам. «Вы понимаете, что случилось? — написал мне записочку летчик, — плохо завязали пакет, и несколько писем пропало. Жаль, бойцы ждут. Как себя чувствуете?» Я ответил: «Недурно». Мы еще покружились над лесом, потому что летчик обнаружил батарею и показал ее мне. Но так как мы были нейтральными почтальонами, это не имело значения. И вообще, для того, чтобы в ползающих внизу козявках и жучках рассмотреть батарею, нужно было иметь острый и опытный глаз. Днепр оказался узким серебряным позументом, и город — множеством разбросанных внизу кирпичей. Ветер перестал жать на плечи, потеплело, и слюдяной, светлый, просвечивающий круг винта сразу потемнел. Мы спускались, неожиданно быстро оказались под нами ангары,

поле аэродрома и полосатый конус флюгера. Я вылез, летчик поделился со мной яблоком, и мы пошли в столовую. В ушах еще грохотал мотор, но постепенно возвращались все земные ощущения. Вокруг говорили о маневрах, о выговоре такому-то за ненужный риск и о том, что нужно бороться с суевериями. Суеверие заключалось в том, что такой-то сказал по поводу приказа о предупреждении аварий: «Не надо было вспоминать об авариях. Вот вспомнили и случится». По этому поводу следует написать в газету «Повитрянный боец» — с суевериями летчиков надо бороться. Потом говорили о происшествии: душевнобольной лез через забор аэродрома, и часовой после предупреждения, как полагается по инструкции, выстрелил. В комнате политотдела черноголовый рослый моторист рассказывал, почему и при каких обстоятельствах он ушел из партии. «И я вам скажу, что мне жалко и до сих пор жалко, я одиннадцать лет был в партии, и, конечно, была моя вина, но как припаяли мне выговор, а ему ничего — стало мне так обидно, так обидно — я и ушел...» «Ничего, поправимое дело, — это говорил другой, — ты рабочий и отец твой рабочий и ты в гражданской войне был раненый. Разберемся». «Работа у нас, сам понимаешь, какая нервная». «Как у всех, чего там...» Трещали моторы в поле, самолеты уходили в небо и возвращались, вернулась эскадрилья, которая бомбила Энск, приходили и уходили молодые, девятьсот шестого года рождения летчики, загорелые и обветренные неземным ветром, пили чай, улетали и прилетали. Командир бригады рассеянно говорил: «Конечно, с одного разу вам трудно понять нашу работу, хорошо бы вам прикрепиться, поработать в газете, связаться с культработой». Он смотрел на прилетающих и улетающих внимательным, я бы сказал, отеческим взглядом, он, вероятно, знал, какие мысли у каждого под шлемом и что заботит каждого из них. Он был (пусть простит за сравнение) как бы настоятель монастыря, вникающий в труды и дни каждого из его бригады, потому что оба мотора должны одинаково четко и хорошо работать: мотор самолета и механизм под кожаным шлемом — человеческий мозг. Здоровая психика, ясное классовое сознание, понимание долга и цели — все это обеспечивается социальным составом, пролетарскими кадрами советской авиации. В данном случае это и есть «политическое обеспечение операции» — термин, которого не знала старая армия. Но как мало мы в общем знаем об этих людях, об их трудах и днях, о героическом и высоком ремесле красной воздушной кавалерии.

IV

Армия и население. По существу, это целая проблема — взаимоотношение армии и населения на войне. Отступив в седые века, мы прочитаем у историка Чингис-хана Рашид-ад-Дина следующие слова, приписываемые Чингис-хану: «Наслаждение и блаженство человека состоит в том, чтобы подавить возмущившегося и победить врага, вырвать его из корня, взять то, что он имеет, заставить вопить слугителей его, заставить течь слезу по лицу их, сидеть на приятно идущих жирных меринах их...» и так далее в том же лапидарном, кораническом стиле. Века встали между Чингис-ханом и победителями в мировой империалистской войне, но программа победителей в отношении побежденных в корне своем мало изменилась. Скажем, Клемансо в Версале повторял политику Чингис-хана в отношении побежденных народов. Каждый, от командующего до красноармейца в нашей армии, хорошо понимает, что цели его противника в буду-

щей войне «подавить возмущившегося» и «вырвать его из корня», но революция научила красноармейца различать врагов, отличать своего классового врага от пролетария, насильственно, по принуждению брошенного в атаку на Советский Союз. В военных операциях Дальневосточной армии красноармейцы выдержали экзамен на сознательное отношение к населению, и они возвращались за рубеж, провожаемые явным сочувствием бедных и угнетенных. В маневрах у населения и армии особые, так сказать, соседские отношения. Инструкции «групповику и индивидуалу» вести в походе политическую, просветительную работу. В обстановке классовой борьбы, происходящей в деревне, нельзя, конечно, сказать, что население одинаково благожелательно относится к частям, участвующим в маневрах. Здесь есть кулацкая и находящиеся под ее влиянием группы населения, которые встречают красноармейцев плохо скрытой враждебностью.



Трещали моторы в поле, самолеты уходили в небо...

Но есть новые, свои люди, новая деревня, которая считает Красную армию своей армией и радуется ее успехам и растущей силе. В этом случае огромное значение имеет дисциплинированность частей, помощь, оказываемая в порядке ударничества колхозам и общественникам в деревне, наконец, просто бережное отношение к крестьянскому и колхозному хозяйству. Армия — десятки тысяч людей, коней и машин — сама по себе есть огромная разрушительная сила даже в тот момент, когда она не ведет боевых действий. Армия в походе может уничтожить дорогу, разрушить мосты, может «унести на своих плечах деревню», если этой потенциальной разрушительной силе не поставить жестких, непреодолимых преград. И полки и дивизии проходили мимо осыпанных яблоками деревьев, мимо собранного в копны

сена, не вызывая никаких жалоб населения. В самом начале маневров я прочитал в корпусной газете вызов на соцсоревнование: «Военная прокуратура, по получении информации от частей о серьезных, требующих тщательного расследования происшествиях и преступлениях, немедленно приступает к производству расследования...» и далее: «Военный трибунал обязуется в течение 24 часов по получении от военной прокуратуры дел по преступлениям рассматривать таковые в судебных заседаниях». За десять дней, которые мы провели в Красной армии, мы только однажды слышали о деле, возникшем по жалобе населения. И дело касалось нескольких копен овса и крайне смутило воинскую часть, которую считали виновной. Конечно, это было мелочью по сравнению с той просветительной и политической работой, которую провели в населении «групповики и индивидуалы».

Последние заключительные впечатления о десяти днях в Красной армии — это воспоминание о разборе военных операций. Мы постепенно утратили романтические представления о войне нашего времени, мы забыли батальные полотно и популярные картинки во вкусе Самокиша. Одна-две атаки в конном строе, сверкание клинков в облаках белой пыли, атака броневиков и танков, свидетелями которой мы были по счастливой случайности, несколько реабилитировали старинное зрелищное представление о войне. Но настоящее романтическое и величественное зрелище для художника и для поэта был разбор военных операций. Здесь внешность, величественность зрелища сочетались с его значительностью и глубоким историческим смыслом. В саду, вокруг карты-схемы, прибитой к деревянному щиту, собралось несколько сот красных и синих командиров. Вчерашние противники, они с'езжались в этот пункт, к крестьянской хатке и вишневному саду, и здесь подводился итог операциям, итог десятидневному экзамену. Редкий и резкий контраст — тихий, сельский пейзаж, золотые круги подсолнечников, белая хатка и лента легковых машин, вытянувшихся почти на километр по прямой вдоль дороги. В необыкновенной тишине делал доклад начальник штаба, и, кроме ровного и негромкого человеческого голоса, мы слышали только тихий звон уздечки, конское ржание и заглушенный рокот самолета в воздухе. Все это было необычайно просто, скромно и величественно — коричнево-серые ряды командиров, кругами охватывающие карту на деревянном щите, лента машин и кони, и вестовые поодаль, и восторженно глазающие селянские дети на деревьях. Около двух часов говорил командующий округом, и его слова, после несколько сухого и академического доклада начальника штаба, совершенно опрокидывали старые понятия о военачальниках. Это была живая, образная речь, сочетающая полное овладение военным искусством с абсолютным умением ясно, просто и понятно изложить свои мысли и взгляды на операции каждому красноармейцу и командиру. В этой речи была и критика, и самокритика в самом высоком смысле этого слова, когда недочеты и ошибки указываются с болезненным чувством и горячим желанием исправить эти ошибки вместе с тем, кто их совершил. Я думаю, что так умели говорить со своими командирами маршалы Великой французской революции и комиссары конвента, и вот почему они умели побеждать седых, искушенных в военной науке полководцев реакции. «Старые генералы», говорит иронический Стендаль, точно знали, «сколько пуговиц и каких именно пуговиц должно быть на солдатской шинели для того, чтобы генералы могли одерживать победы». Солдаты и командиры революции знают другое, они знают конечную цель, они хотят победы в «последнем и решительном

бое», в последней войне, которая решит судьбу пролетариата и мира.

Мы стояли несколько в стороне, впереди нас были молодые, тридцатилетние вожди первой в мире пролетарской армии, позади украинский шлях, советская Украина и советская армия. Это была монолитная армия, армия пролетариев от командующего до бойца, те же, кто пришел в нее из старой армии, уже сроднились с ней кровью в боях и победах гражданской войны. О таких командирах и кадрах пока только мечтает наша промышленность. Об этом думали мы на разборе и в хате, когда говорили с командующим. Изпод дверей подглядывали дети, курица клевала зерна на полу, это походило на историческую избу Кутузова в Филях и напоминало о новом Толстом, который придет из хаты или от станка и напишет бессмертную эпопею о новой, единственной в мире армии пролетариата.

Разлука

ВЕРА ИНБЕР

Все кончается вечером и вокзалом
Небольшой железнодорожной ветки.
Да и жить — всего-то уж нам осталось
Две каких-нибудь пятилетки.

Потому что потом уже дело слабо:
Наползут, тайком или открыто,
Раки там и грудные жабы,
Банда гадов и паразитов.

Нет ни мудрости, ни таланта,
Когда тело наше дряхлеет,
Когда впавшего в детство Канта
Кормят с ложки его лакеи.

Но никогда еще это жало
Увяданий, болей и вздохов
Не было так, я бы сказала,
Нейтрализовано эпохой.

Ведь это какая эпоха! Ведь
Это натиск такого племени,
Что не только что умереть,
Пообедать и то нет времени.

Это утро страны. Столько дела кругом,
Что немисливо скрыться в тень.
Мы, конечно, умрем,
Но это потом,
Как-нибудь в выходной день.

Все окончится полыханьем
Дыма над необычной крышей.
Все окончится строгим зданьем,
Как вокзалом. Но только тише.

А там, за оградой сада,
Будут жизнь, голоса и стуки.
Милый, сердце мое, не надо
Так бояться этой разлуки.
Кавказ, июль.

Площадь

Рассказ

ИВ. КАСАКИН

I

Среди этой обширнейшей квадратной площади, на том месте, где теперь утвердилось взвихренная голова Маркса, лет пятнадцать тому назад стоял в натуральную величину чугунный «царь-освободитель», сооруженный купеческим усердием в назидание крестьянству. Но мужики, с'езжаясь в базарные дни со всего уезда, сразу же к затейливой решетке у памятника стали привязывать лошадей, на золоченные пики распяливали кошолки с овсом, и после каждого базара выгонялась из тюрьмы рота арестантов, чтобы очистить вокруг «освободителя» навоз.

Заметное влияние постройка этого памятника имела только на кузнеца Гоголина. Этот многосемейный и весьма тихого нрава человек, примечательный лишь саженым ростом да зарослью бороды, густо распространившейся до самых глаз, именно с того времени и ударился в туманные рассуждения насчет вообще порядков, при чем все упирал на жиреющее купечество и всенародно показывал свои мозоли.

Но он не встретил сочувствия своим речам и вскоре жестоко начал пить горькую, а пьяный неудержимо всегда стремился на площадь, сучил перед чугунным царем кулачищами и орал такие слова, что его спешно приходилось тащить в кутузку.

Вот этот старинный, самый большой на площади дом, что против Маркса, с вывескою районного исполкома, и донныне таит на своем фронте двуглавого орла, тщательно замазанного известкой. В этом доме помещались все главные «присутствия» уездных властителей: суд, казначейство, воинское управление, полиция, разные «опеки» и многое другое, что даже и названия не имело.

Посещение этого дома для любого жителя в разные моменты его жизни было так же неизбежно, как неизбежна смерть. Поэтому— тут всегда в изобилии с толком и без толку самые разношерстные «просители», радеющие о своей шкуре. Иные имели такой жалкий и униженный вид, как мокрые вороны в осеннюю распутицу; а между ними, отвешивая направо и налево чиновникам поклоны и кидая заигрывающие восклицания, летали ясными соколами тронувшиеся в рост и в силу краснощекие купчики, жилистые арендаторы и матерые искатели казенных подрядов и поставок, имевшие за пазухой золотой ключ к любой замкнутой двери.

Пахло в этом доме сургучом, архивами, казенной непреложностью и, сверх всего, откуда-то сильно несло кислыми щами, хотя там и не было никакой кухни. Иной свежий человек мог бы тут за

иной чиновничьей конторкой в углу напороться на такое рыло, какое, быть может, не снилось и Гоголю...

По ту и другую сторону высокого каменного крыльца этого дома когда-то величественно возлежали два каменных льва, но к новейшему времени у одного была уже напрочь отшиблена голова, от другого на ржавом железном стержне уцелел только зад. С крыльца открывался замечательный вид на весь четырехугольник площади и на многие каменные и деревянные дома, домины и домики, на сады и огороды, на завалившиеся местами заборы и даже на реку с перебирающимся по канату паромом.

На крыльце этом всегда кто-нибудь торчал: или мужики, часто не одну ночь тут и ночевавшие на своих котомках; или какой-нибудь мещанин с картузом в руке, обалдело вышедший проветриться из залы суда, где его затомили в свидетелях по чужой тяжбе; или возвращающийся из трактира мелкий чиновник, которому раз'ело губу от только-что опрокинутого в глотку стакана водки, и он примеривался к торчащей тут публике, чтоб выудить в ладонь новую посильную мзду за посильные услуги.

Вечерами, в тот мирный час, когда через площадь уже бредут старушки от вечерни, на ступени этого крыльца выходили посидеть сторожа, казначейские счетчики, рассыльные, истопники, пожарные со своими женами, детьми, бабушками, кумовьями, и под мирный говор о том да о сем подсолнечная шелуха тогда, как из-под мельничных жерновов, обильно и с присвистом летела во все стороны.

А в полосатой будке, что стояла у ворот, ночами сиживал, имея меж колён ржавое, давно никуда негодное ружье, и до утра на всю площадь всхрапывал свирепый на вид, зеленоусый от табаку, старый солдат Никитич, впоследствии однажды в субботу запарившийся в бане насмерть.

II

В этом угловом двухэтажном доме, где теперь клуб, кино, библиотека и гимнастический зал комсомольцев, был тогда еще в славе трактир братьев Звиздаревых с черной и белой половинами, с несколькими бильярдами, на которых любили дуться чиновники, и с машиной-оркестрионом, которая заводилась двумя дюжими молодцами посредством четырехпудовой гири и ревела «Ваньку-ключника» или «Не белы снежки» настолько громко, что в летнюю пору ее было слышно за рекой; даже лошади, уставленные на пароме, бывало, начинали тревожно прядать ушами, и возчики брали их под уздцы.

Братья Звиздаревы были большие затейники и с жадностью хватились за всякое дело. Они содержали две водяных мельницы, лесопильню, имели богатые хутора, скупали хлеб и скотину, в самом городе у них работало колбасное и копильное заведение, откуда и выходили знаменитые звиздаревские окорока, досягавшие губернаторского стола. Будучи страстными любителями пения, они собрали со всего уезда самые отменные голоса, выписали из губернии регента, и в соборе основался хор, сразу же поразивший прихожан замечательным пением. Этот же хор, по желанию купцов, стал было выступать и в трактире, но вскоре распался по причине быстро развившегося в нем дикого пьянства и драк, в ночное время лишивших город мирного сна и покоя, при чем застрельщиками этих непомерных выпивок и побоищ всегда оказывались басы. Плисовые штаны, сатиновые рубахи небесного цвета, пояса с большими кистями и сапоги, выданные хористам для выступлений в трактире, были пропиты ими в течение первой же недели в ночных шинках.

Эти низкие каменные торговые ряды с «галдареями» времен Екаторины и Пугачева, занятые теперь лавками и складами кооперации, — немые свидетели возникновения, роста и расцвета многих и многих купеческих родов, вместе с капиталами достигавших звания и личного и почетного потомственного гражданства. Жизнь в этих рядах настолько была плотно сколочена и глубоко усажена корнями, что, казалось, ее хватит на тысячу лет. Купцы были вершителями всех судеб местной жизни и не просто именовались «отцами» города.

Широкозадый, еле грамотный купец с паучьей сноровкой петлял свои петли по всему уезду и тихонечко уминал да уминал под себя леса, земли и усадьбы захилевших дворянчиков. О, купец был в такой силе, что не спроста и настигшая его потом революция немедленно обернула дело так, что он сразу оказался без своих капканов и петь, без капитала и даже без голоса.

Но в те годы, хранимый законами, улаживаемый мирными петушиными криками, купец сидел на своем окованном сундуке крепко. Еще и пятнадцать лет тому назад, когда уже по всей стране широким и страшным шагом шла разруха, а взаимной мировой бойне, казалось, и конца не будет, в этих древних каменных рядах все еще жило благополучие.

Подручные мальчишки скучали за прилавками и ловили мух, так как уже не было прежнего оживления в торговле, а купцы группками сходились пить чай из огромных медных чайников и, сердцем радея о «победах», тут же вычитывали из газеток «донесения», при чем иногда попадались забавные истории, в роде того, как рядовой Синявкин на собственных плечах вынес из гущи боя раненого генерала и нес его десять верст, за что получил крест, или как наш доблестный раз'езд захватил под стогом сена немецкого лейтенанта без штанов, или как донской казак Голопуп в одноручье забрал в плен роту зазевавшихся австрияков... Слушая подобные героические истории, кушцы одобрительно крякали. Ведь это что!.. Случись какой большой беде подступить, например, вплотную к купецкому горлу, храбрый русский народ станет стеной, подыметя горой, любую беду он раздавит единым сказочным махом, даже и пикнуть она не успеет!

— Андрюшка! завари-ко еще чайку...

Купцы благодушно погогатывали, обсуждая неловкое положение лейтенанта без штанов, а мальчик с медным чайником бежал по «галдарее», поливая ее всевозможными кривулями из рыльца.

III.

В конце торговых рядов, где теперь открыт «Универмаг № 1», в то время над всеми тремя растворами вразбежку значилось: «Дементий Балалыкин», а пониже: «Спрадажий чаю, сахару, табаку, шорного товару и разных мук». Но и без вывески всякий знал, что Балалыкин любой товар держит, даже средство от грыжи и росной ладон.

Был он вдов, одинок, вел благочестивый образ жизни, возжигая цветные лампадки в своем небольшом, но крепком доме, что в Крапивном переулке. Он многолетне состоял соборным старостой, носил известный всему уезду тяжелый ватный картуз, выгоревший до шмелиного цвета, иногда надевал очки, и тогда со своей кругло постриженной бородкой был похож на сову. Хотя он и не скупал по уезду дворянских угодий, но молва гласила, что капиталом забьет он всякого. Даже братья Звиздаревы и многие иные перехватывали у него под хорошие проценты.

Бывало, вынесет он из лавки складной табурет, хлесталкой из конского волоса схлещет с него пыль, усядется и сидит, сидит, час и два сидит, с любовным прищуром взирая на площадь, — на ней ведь он вырос, возмужал, состарился, приобрел значение и деньги. Он смотрел на эту площадь, как на поле своей жизненной битвы, где всякий аршин запечатлен его потом и трудом выбить копейку из кармана ближнего и переселить ее в свой собственный. И что ему до полей иных битв, где в этот тихий час гудит и стонет земля и люди гибнут тысячами!

Вот он готов был уж и вздремнуть, как из-за угла появляется нескладная, длинная, зеленолицая Гоголиха, кузнецова жена. Кузнец Гоголин давно уже без вести на фронте, бабу с неисчислимым количеством ребят вконец измытарилла нужда. Втемяшилось ей в голову добыть малую толику муки. И вот, нескладно изгибаясь в поклонах, начинает она тут маячить перед Балалыкиным, слезоточа и захлебываясь горькими словами, что голод режет ее прямо по горлу, что эдакая жизнь ей больше не в мочь, что легче ей утопиться либо повеситься.

— Ты не меня, а деток малых пожалей! — вопит она. — Кабы заместо сердца кирпич я в грудях носила, давно бы сбегала на край света, чтоб только реву да писку ихова не слышать. Будь род-но-ой!.. вырuchi!

Балалыкин задумчиво выслушивает ее до конца и, помахивая конской хлесталкой, ласково говорит:

— Я тебе, миляга моя, вот что скажу: рубь семь гривен за тобою, но я молчу, не взыскиваю, это ты заметь. А больше я рысковать не могу. Время нынче вон какое... свирепое, аховое время. И все мы, как говорится, достойны сожаления. Иди к Еркину, может, даст.

— Была уж...

— Ну, к Соскину сходи, либо к Гузакову.

— Была-а...

— Тогда к Овсюткиным иди, у них мошна-то потуже.

Втянувши меж узких плеч голову, Гоголиха расхлябанно направляется вдоль торговых рядов. Балалыкин уже нахлюпил поглубже картуз, чтоб вздремнуть на солнце, и вдруг насторожился: шелкнуло... седьмая!.. Он вскакивает, торжественно выносит из лавки мышеловку, мертвую мышь вышвыривает на площадь, а мышеловку направляет новым кусочком сала и ставит ее на место.

Желание вздремнуть уже пропало. Сидит он, смотрит на облака, на площадь с чугунным «освободителем», а площадь такая знакомая, такая обширная, сонная, как сама Россия... и кажется, что взирать на такую площадь долгие годы под силу только философу или какому-нибудь обалдую.

Не отсюда ли у Балалыкина и склонность к туманным словам. Когда, ближе к вечеру, стуча по «галдарее» палочкой, приходит к нему ежедневный игрок в шашки, инспектор народных училищ Суслин, он встречает его так:

— Будь здрав и зрящ, старый хрящ! С новогодия новолуние. Егда есте, будь при месте. Пожалуйте бриться!

Они выносят из лавки особый столик на воздух, седлают носы очками и надолго углубляются в шашки.

Через какой-нибудь час их уже окружают, как и всегда, изодня в день, казначей Чирьев, смешливый и тучный соборный дьякон Варсонофий, старший околоточный Солнцев и огромный поджарый кобель казначея Чирьева, Буйко, с хребта искусанный бродячими собаками, — этот лезет прямо под шашечный стол и спит там беззаветно.

Мало-по-малу шашки превращаются в города и крепости, в арену военных действий, безответный Суслин делается немцем, презренным колбасником, Балалыкин же ведет наступление с русской стороны. Игра идет с медленным, но верным успехом для России.

Припертый на задних позициях, немец Суслин подпирает щеку и надолго задумывается, хотя и был уговор «больше часу не думать». Вдруг как бы проснувшись, он делает замысловатый ход, после чего смотрит на всех победоносно и достает тавлинку, чтобы понюхать табуку. Вот он уже подносит прожелтелый кривой палец к ноздре, дабы с присвистом всадить в нее понюшку, как в это время Балалыкин, давно уже державший руку на весу, неожиданно двигает свою шашку в такое место, в какое никто ее и не ожидал, так что присутствующие испускают общий звук одобрения; дьякон потирает руки и гогочет, околоточный Солнцев щелкает языком, а Суслин, забыв понюхать, опять подпирает щеку и задумывается на целый час.

Вся группа, как изваянная, недвижно замирает над шашельницей. Изнемогающая тишина виснет над площадью, над домами, над городом. Лишь кобель Чирьева под столом тихонечко юзжит во сне и перебирает лапами: не то его блохи кусают, не то снится ему, как удирал он с поджатым хвостом от ярых бродячих собак.

Но тут, откуда ни возьмись, нарушает эту величественную тишину опять та же Гоголиха, кузнецова жена, за которой рубль семь гривен. Еще издали раскачавшись в поклонах, снова она прилипла, заканючила, заслезоточила и все насчет той же проклятой муки...

— Не мешай ты нам, ради Христа! — отчаянным криком молит ее Балалыкин, сверкая совиными очками. — Уйди куда ни то!

— Пшла про-о-чь! — орет и околоточный Солнцев, поддавая бабе коленкой в зад и ударяя ее по костлявому боку шашкой-селедкой в обрыжелых ножнах. — У ррас-ка-налья!..

Гоголиха отступает куда-то за колонны «галдарей». Игра продолжается. В следующий кон безответный Суслин делается уже турком. Общими силами его припирают, наконец, в Дарданеллах, да так ловко и крепко, что казначей Чирьев, державший его сторону, в отчаянии даже за голову схватился. Еще один победоносный ход — и положение на турецкой стороне оказывается таким, что околоточный Солнцев без промедления гаркает «ура», а дьякон Варсонофий ржет, как жеребец, которому подсунули целую меру овса.

Обескураженный Суслин смущенно сморкается в платок, подпирает щеку и надолго задумывается. Снова наступает тишина и изваянная неподвижность насторожившихся игроков.

Это раздумье над судьбами Дарданелл могло бы продолжаться до бесконечности. Но вот над шашками медленно-медленно начинает подыматься прожелтелый от табуку кривой палец Суслина, — все замирают в высшем стратегическом напряжении... Но тут, откуда ни взявшись, все та же Гоголиха неожиданно, как бы с разбегу, тяжелой колодой с воплями бухается игрокам в ноги. Дремавший под столом кобель Чирьева, опрокидывая шашки, с визгом срывается с места и летит, поджав хвост, на площадь.

— Убирайся ты ко всем чертям! — злобным криком плачет Балалыкин. — Уйди от греха, не то вот двину чем ни попадя!..

— Пррочь, рра-калия!.. пшла пррочь! — осекаясь на визг, орет и околоточный Солнцев и в волнении вместо вышибленной из-под него кобелем табуретки садится на спину смиренного Суслина, что ползает в это время по полу, собирая раскатившиеся шашки.

Баба причитает и воеет, стучается лбом об каменный пол. Веселый дьякон, схватясь за живот, грохает-ржет, как из бочки, над расте-

рявшимися игроками, а кобель Чирьева, домчавшись на площади до «освободителя», обежал его кругом, высоко задрал ногу и стал рогать с той стороны, где историческая надпись: «Осени себя крестным знаменем, православный народ...»

IV

Все это было и былём поросло.

Кузнец Гоголин так и не вернулся с фронта, чтоб отдать рубль семь гривен долгу. Куда-то исчезла с детьми и Гоголиха, искологившаяся в неусыпном метании за хлебом. Кобель Чирьева давным давно подох, а сам Чирьев за выслугу лет живет на пенсии, но уже стар, плох зрением и слаб рассудком.

Веселый дьякон Варсонофий начал было служить за попа, но собор закрыли — в нем устроили обширный зал для с'ездов, и Варсонофий пока сбивает от двух коров масло и разводит капусту. Околоточный Солнцев долго скрывался в уезде и был расстрелян за бунт против советов. Впрочем, в свое время он был также и против Керенского, этого смешного Наполеончика, — он был за царя.

Балалыкин жив-здоров и — торгует...

Постарел он, весь погнулся как-то книзу, совиные связанные веревочками очки уже не сходят с его носа, бороду продернуло сплошным серебром. Известный всему уезду ватный картуз на нем все тот же, только выгорел еще больше и принял цвет дорожной пыли.

А торговать отвадит его только одна могила! Взяли у него лавку в три раствора, он открыл лавку под собором в один раствор. Взяли эту, он открыл на площади ларек. Отняли ларек, он обзавелся плетеной корзиной с ремнем через плечо. Отобрали за беспатентность корзину, он стал торговать из-за пазухи, из карманов.. И во всем районе теперь только у него, у Балалыкина, можно достать, например, венчалые свечи, средство от грижи, нательный крестик...

Как-то даже неизвестно, куда подевались все эти Ерыкины, Гузаковы, Соскины, Овсюткины и многие другие, кем крепка была прежняя площадь с торговыми рядами. Все они исчезли, как дым, вместе с чиновными заправилами из дома с двуглавым орлом и возлежащими каменными львами, от которых теперь остались одни лишь железные стержни.

Некоторые из «бывших» вначале пробовали притыкаться и в операцию, и в отделы исполкома, но быстрыми способами выживались оттуда, как клопы из щелей. Только братья Звиздаревы, затейливые ребята, долго еще кружились в уезде на хуторах, что-то пытались еще там вычувливать, пока их не выслали в Соловки.

Горластая машина-оркестрион с четырехпудовой гирей из трактира Звиздаревых в разломанном виде лет десять забвенно валялась без дела в дровяном сарае, и только недавно все эти медные трубы, трензеля, барабаны и литавры сданы в утильсырьё. А чугунный «освободитель» так до сих пор и лежит вниз лицом на площади под забором у пожарного двора. Местами его уже зеленым мохом подернуло. Давным-давно пора бы и его сдать на новое литье, да трудно подступиться: в нем, может, тысяча пудов... Так пока и лежит без пользы. Пожарные ребята вечерами, рассевшись на царевой спине, иногда занимаются политграмотой.

Август, 1930. Таруса.

Заштатная республика

Роман

П. СЛѢТЪВ

(Окончание¹)

У Семена Ивановича был большой день: председатель ревкома Белоспасской республики принимал руководителей коммассариатов и наиболее ответственных работников. Новый секретарь Семена Ивановича вел запись и устанавливал очередь среди ожидавших. Прочтя на дверях приемной, смежной с кабинетом, новую фамилию, Аркаша недоумевал, кто такой Маматов, откуда раскопал его Семен Иванович. Все раз'яснилось, лишь только он вошел в приемную — за секретарским столом сидела Зинаида.

На секунду смешавшись, Аркаша принудил себя подойти к ней для записи. Она встретила его как ни в чем не бывало. Глаза ее смотрели спокойно, ноздри чуть-чуть трепетали от скрытой усмешки.

— Вы делаете карьеру, — сказал Аркаша тихонько, наклонившись над столом.

Зинаида ничего не ответила, только брови ее высоко поднялись в то время, как она мелким почерком заносила Аркашину фамилию в общий список. Звонок из кабинета заставил ее выйти. Аркаша осторожно отошел от стола.

«Так вот что!.. Вот как дела складываются — породнился с предом, — думал он. — Теперь все понятно. Да, расчетливая девица, политик... А все-таки надо испытать, может быть, все это на руку. Чорт возьми, она теперь может такую протекцию составить — чертям тошно. Попробуем, попробуем... Мы не гордые...»

Аркаша уже готов был забыть нанесенную Зинаидой обиду, он загадочно улыбался, снисходительно поглядывал на ожидающих приема агронома, заведующего лесничеством, Балалаева, Будилина, а когда Зинаида вернулась, шепнул ей тихонько:

— Зина, кто старое помянет, тому глаз вон... Вы теперь все можете — передвиньте мою очередь поближе.

— Очень нужно? — спросила Зинаида, улыбаясь.

— Очень, совершенно необходимо!

Зинаида чуть кивнула головой. Аркаша понял это как обещание. И верно, едва лишь из дверей кабинета вышел и важно, ни на кого не глядя, прошел к себе Трунов, едва лишь успел Балалаев шепнуть Аркаше на ухо: — Каков новый сановник! — как тут же Зинаида вызвала:

— Товарищ Пальчиков!

Аркаша торопливо прошел в кабинет.

¹ См. «Новый Мир» кн. кн. 7, 8-9, 10 и 11 с. г.

Раньше бывало, когда приходилось Аркаше по тому или другому случаю являться в этот кабинет, Семен Иванович принимал его с оттенком официального терпения, скуки большого человека, который принужден отрываться от несравненно более серьезных занятий, зная, что без него обойтись нельзя, но в то же время считая, что причина беспокойства — нестоящая, возникшая от отсутствия инициативы у ненаходчивых сотрудников. Нынче Семен Иванович был словно помножен на самого себя в своем неоспоримом величии, но до того широк, доступен, так доброжелателен к каждому слову, так переливался силой в каждом своем движении, что Аркаша только диву давался — молодит человека власть больше, чем любовь. Семен Иванович сиял всем существом и словно говорил: «теперь все хорошо, вы все за мной, как за каменной горой, я за всех подумаю, за все отвечаю, и все пойдет замечательно...»

— Ну, как там твои артели? — шутливо спрашивал он. — Много ли монашенок наберёвал?

Аркаша словоохотливо рассказал о коммуне «Красный колокол» и изложил свои виды на коммунизацию других монастырей.

— Ладно, — прервал его Семен Иванович с легким нетерпением, — займемся и монастырями, дай только покончить с теми пререхами, что достались в наследство от губернии. А сейчас речь о другом, послушай-ка что я тебе скажу...

Он бодро потер руку об руку и коротко прошелся по кабинету.

— Власть, брат, это штука такая... Как бы тебе сказать? Одинокая. Почему? Потому, что человеку, облеченному властью, завидуют и пакостят ему на каждом шагу — раз. Потому, что человек этот по своему положению должен жить не со всеми, а впереди всех — два. Он должен придумать, предугадывать и на этом основании строить. Это не значит, что я против массы. Но масса — дурак, потому что масса существовала всегда и всегда-то сидела в дураках. Почему сейчас она получила власть? Да потому, что позаботились ей полураскрыть глаза. Перестала она быть дураком? Нет, сама по себе не перестала, но только выдвинутые ею вожди прикрывают дурачество ее. Пока, конечно, не станет она сознательной, пока не позабудет свое дурацкое прошлое. Следовательно, нам, жожакам, пока еще рано опираться на нее, рано беспрекословно слушаться, а нужно вести, толкать. Это, брат, долго говорить, целая философия.. Ну, вот, мы выбросили лозунги: укрепление власти, борьба с бандитизмом, обеспечение хлебом, разработка торфа, университет и так далее. А кто будет приводить в исполнение? Кто позаботится, чтобы все это было приведено в исполнение? Вот тут-то и есть одиночество. Я один — нет людей, их надо найти, создать. Кто мне их даст? Подбор людей — это девять десятых дела. А где выбор? Когда стал вопрос о замене Будилина, то и не нашлось никого. А между нами говоря, где ж ему, при его овечьей душонке, в таком серьезном деле...

Семен Иванович на миг призадумался, оцепенев, устремив глаза в некую точку. Казалось, перед ним мелькнул призрак, погрозивший ему пальцем. Аркаша выжидательно молчал.

— Так вот, — перебил свои мысли Семен Иванович, встряхнув головой, — я человека вижу не то чтобы насквозь, но достаточно глубоко. И не случайно я тебе в Питиримовском монастыре закинул словечко... Помнишь?

— Помню, — отозвался Аркаша.

— Так значит без дальних слов — вот мое предложение: Будилина я перевожу на народное хозяйство, а ты будешь моим за-

местителем по земельному комиссариату. Это пока, а со временем и вовсе... Ну, как?

Всем ходом разговора Аркаша был уже подготовлен к такому концу.

подавив торжествующую усмешку равнодушным движением глаз, он ответил с веселой невозмутимостью:

— Идет.

— Идет? — переспросил Семен Иванович. — Так на этом и кончим. Об остальном поговорим после. Только брось ты пока свои мопастыри и подавай немедленно заявление в партию.

— Идет, — еще невозмутимее, еще веселее отвечал Аркаша.

Семен Иванович протянул руку.

— Ну, вытряхивайся и действуй, — сказал он ласково. — Дай управиться с ребятами и уже приходи, дня через два, поговорим подробнее.

Аркаша солидно попрощался и неспешно вышел. С той же неспешностью прошел он через приемную, покровительственно улыбувшись Зинаиде. Ему казалось, что все на него смотрят и говорят о нем шопотом: «вон новый земельный комиссар пошел...» И еще почему-то казалось, что на нем папашин сюртук. Не опуская приподнятой головы, Аркаша пощупал даже грудь, чтобы удостовериться, не лежат ли на ней муаровые отвороты, и, поймав себя на этом движении, понял, что дело не в сюртуке, а в легком пришаркивании по полу, с которым он прошел через приемную. С таким пришаркиванием, помнится, проходил под руку с ним папаша по собственному ресторану тогда, когда шел Аркаше тринадцатый год, — ресторан только-что был на-ново отремонтирован, первый день открыт после перерыва, официанты стояли вокруг столиков в свежих крахмальных сорочках под черным сюртуком, с тугими салфетками подмышкой и кланялись папаше. Папашин сюртук отличался своими муаровыми отворотами, сам он отличался осанкой и, производя смотр своим служащим, небрежно кивал им головой... Аркаша улыбнулся воспоминанию и провел рукой по животу — да, верно, и живот у него слегка выпятился, как у папаши.

«Надо ему письмо написать» — подумал Аркаша и, пройдя в свой кабинет, тут же сел за стол, но неудобная служебная обстановка не располагала к письму. Зато Аркаша быстро набросал заявление о вступлении в партию и, вложив в конверт, адресованный Семену Ивановичу, запечатал и тут же сбегал, чтобы отдать его Зинаиде. Но рука раззудилась, прилив сыновних чувств нарастал, Аркаше стало жаль упустить драгоценную минуту, слишком хотелось поделиться с родителем своими новостями — он решил уйти домой.

Так и сделал. По дороге обдумывал письмо, что написать, и мысли переполняли его голову. Прошло полгода, как он из дома, а сколько перемен...

У себя в комнате Аркаша разорвал три листа почтовой бумаги, испорченных началом. Трудно ему было найти подходящий тон. Сперва хотелось первым же словом, самым обращением отграничить себя, — в память холодного обидного прощания, — начертав: «товарищ родитель». Потом показалось лучше, резвее «папашка» или «папан». Но, наконец, пересилила солидность нового положения. Письмо было начато издавна установленным в семье канонам: «уважаемый и дорогой папаша». Обращение наложило отпечаток на все остальное письмо — оно вышло примиренным.

«...Напрасно вы считали, — писал Аркаша, — вашего сына настолько никчемным и неприспособленным к жизни, шалопаем и т. д., —

я не буду вспоминать всех словечек, которыми вы меня наградили последнее время, не для того пишу, поэтому имейте терпение дочитать мое письмо до конца. Да, я согласен, что по глупости лет я ничего не делал в университете, но вы меня стали попрекать этим гораздо позже, а вы забыли, что гимназию я окончил экстерном? Вы не забыли только того, что, когда меня определили к рязанскому инспектору гимназии, то стоила вам моя подготовка 1800 рублей, что вы по 450 рублей платили в месяц одним преподавателям. А что я у тех же преподавателей сдавал экзамены и поэтому ни черта не делал, этого вы не хотите помнить? Я этим не хвалюсь, но надо же понимать, что как я не знал ни пупа, с тем и остался. Вы меня определили в университет для того, чтобы поддержать свою марку, я был не против, сами знаете, как поддерживал, сами же денег давали на лечение трипперов. Но когда все перевернулось, то пошло и пошло: и лоботряс, и дармоед и так далее. Вот это-то я и считаю вашей несправедливостью, об этом-то и вспоминаю с горечью. Я поддерживал вашу фирму, не щадя здоровья...»

На этом месте Аркаша весело улыбнулся, подумал — не зачеркнуть ли, но не зачеркнул, махнул пером, пробормотал «а чорт с ним...» и пошел писать дальше:

«Конечно, какое же это было учение. Да я и не жалею об этом. И вы сами прекрасно знаете, что и с университетским дипломом теперь не далеко уедешь, адвокаты теперь никому не нужны. А вы срываете сердце на чем угодно по случаю разорения. Но я не для того, папаша, начинал к вам письмо, чтобы отвечать на ваши попреки. Вы же меня упрекали еще и в том, что у меня нет никакого практического дела, что я, мол, не сумел, как Геннадий, сработать на керосине или на чем-либо еще. Но вы хоть и мало доверяете моему здравому смыслу, а я смею утверждать, что сейчас нет конъюнктуры, и вы как коммерсант должны это понять, может быть, уже поняли. Какая сейчас конъюнктура? Купить и в тот же день продать (как работал Геннадий). Разве это стойкая конъюнктура? Я утверждаю, что солидному коммерсанту сейчас пока делать нечего. А мазуриком на день-другой я тоже быть не хочу. И еще не видать, чем кончит Геннадий. Сейчас есть одна стойкая конъюнктура, на которой можно работать, это — революция. Да, не смейтесь, папаша, этот товар тоже котируется на рынке. Хоть вы и говорите, что я семь лет проносил студенческую фуражку как болван в шапочном магазине, но все же я настолько-то с историей знаком и против исторической науки возражать не стану. Вот вы смеялись: попробуй, мол, в компании с советской властью работать. Так я вам скажу теперь, что эта работа все-таки интеллигентнее, чем бегать с вокзалов на Сухаревку и обратно, а по вечерам ждать грузовика с гостями.

Теперь насчет общего положения. Я, как вам известно, немало поездил, прежде чем осесть на месте, и не расканиваюсь в том, что остановился на Белоспаске. В сравнении с тем, что делается в Москве и по железным дорогам, здесь — тишь да гладь. Я знаю несколько семейств, которые приехали сюда из Москвы и из Питера. И не нарадуются — продукты и квартиры здесь дешевле несравненное, о карточках не слыхать. Кругом места хоть и не особенно хлебные, но и не бедные. Словом, после того, что пришлось вынести в теплушках, — полный отдых, тем более, что служба моя не тяжелая.

Кстати о службе. В исполнительном комитете меня оценили не так, как вы, и предложили мне недавно пост земельного комиссара. Должен вам сказать, нравится вам это или нет, но я вступаю в партию большевиков. После того, что вы наговорили мне на прощание,

я думаю, вы не можете ничего против этого иметь — при встрече, если придется, поговорим, а сейчас вы должны понять, что у каждого своя голова на плечах. Только предупреждаю вас делать какие-либо письменные нравоучения. Вместо этого прошу вас взвесить следующее мое предложение: если вы бедствуете в Москве и терпите от притеснений, то приезжайте сюда. Заранее говорю: содержать всех вас я не берусь, но помочь вам — помогу своим положением. У нас сейчас самостоятельная республика, и с председателем ревкома у меня хорошие отношения. Берите с собой денег сколько можете (вы говорили, что кое-что из спрятанного не успели отобрать) и открывайте трактир — дело пойдет, здесь есть один трактир, но хватит спросу и на другой, в особенности, если его получше обставить. Здесь есть кое-кто не дураки выпить...»

Шум в соседних коридорах заставил Аркашу отвлечься. Он выскочил из комнаты и увидел пять-шесть вооруженных красногвардейцев, топтавшихся около дверей Хворовской комнаты.

Почувствовав, что приход красногвардейцев не спроста, Аркаша решил понаблюдать и был свидетелем того, как из комнаты вывели Зискинда и повели его под конвоем на улицу.

— За что его? — спросил после того, как все ушли, Чунников, наблюдавший из другой полуоткрытой двери.

— Надо полагать за дело, — отвечал Аркаша уклончиво.

— А Хворов-то словно чуял — скрылся, уехал куда-то, — продолжал Чунников, проявляя желание обсудить происшествие подробнее.

Аркаша, не ответив, прикрыл за собой двери и снова вернулся к письму.

«Конечно, — продолжал он, — вам может показаться очень мизерно: после первоклассного ресторана — трактир. Но важно переждать время. Надо быть тактиком. Я по своему опыту знаю, насколько это важно, в особенности в наше время. Если бы я в той борьбе, которая произошла здесь, в Белоспаске, не был тактиком, то попал бы в пиковое положение. А теперь наши противники разгромлены, и можно думать о спокойной работе.

Чтобы не забыть: предупреждаю вам, папаша, что ни в коем случае нельзя открывать дела на ваше имя. То-есть вообще, чтобы фамилия Пальчикова нигде не значилась. Вам понятно почему. И к вам я вообще не буду заходить, а будем считаться дальней родней, почти что однофамильцами. Я принимаю участие в вашей судьбе, — все ж таки вы мне родной, но не нужно мешать моим усилиям...»

Аркаша добавил еще несколько фраз о родственных чувствах, которые побуждают его заняться судьбой близких не помня зла, и кончил письмо растроганный собственным великодушием. Пока он клеивал и адресовывал конверт, в дверь постучали — вошел Чунников, Аркаша не прогнал его только потому, что увидел в его руках лыковый казан, тот самый, каким любовался он у Палаткина.

— Вот несую вам подарочек Аркадий Степанович, — сказал Чунников с искательной улыбкой, — угадajte от кого.

— Чего же угадывать, я и так знаю, что от Палаткина, — отозвался Аркаша. — Когда он приехал?

— Вчера после обеда в половине четвертого, — отвечал Чунников, как всегда точно осведомленный, и сделал попытку возобновить разговор об аресте Зискинда.

Аркаша снова решительно пресек эту попытку. Тогда Чунников пробормотал:

— Тут для вас еще записочка имеется...

И, положив на стол сложенный листочек бумаги, вышел на цыпочках.

Аркаша был слишком занят казаном, чтобы перейти к этой записке.

«Что это значит? — рассуждал он. — Обычай у него что ли такой азиатский — дарить все, что похвалят гости? Или это поздравление по случаю назначения меня в комиссары?.. Он мог уже узнать, Семен Иванович мог с ним переговорить... Скорее всего так и есть. Но чорт с ним, как бы то ни было — казан в самом деле хорош...»

И Аркаша, осматривая его, уже жалел по-хозяйски о том, почему нет подкладки — будут вещи в дороге пылиться, это ясно.

«Ну, ладно, отвезу в монастырь, чтобы подшили холстом» — заключил Аркаша и тогда лишь взялся за записку.

Она была коротка. В ней значилось: «Будьте сегодня в балагане Аршалуиса». И подпись — «У Яра».

Аркаша долго, с яростью перечитывал записку.

«Как бы не так!.. — проговорил он наконец с той же яростью. — Быть-то будет, только не тот, кого ты ждешь. Сволочь какая...»

Но в следующую минуту Аркаша думал:

«Как же я скажу Палаткину? Ведь эдак себя замажешь... Ну, допустим, скажу — пристал, мол, какой-то подозрительный тип, я — ничего общего и так далее... Но ведь потребуется мое присутствие, без меня ничего не выйдет. А начнут его брать, он станет отстреливаться, в меня первого пулю всадит. Ах, ты, чорт побери... И как же сегодня говорили, что шайка Агеева разбита вдребезги? И что ему от меня надо? Услышал, что меня комиссаром назначают? Может быть, он меня решил прикончить?.. Не пойду никуда!»

Но тут же Аркаша вспомнил, что хоть шайка Агеевская разбита, фронт подвигается все ближе, чехо-словаки взяли Симбирск и Казань. Подумалось, что по этому случаю и по случаю вступления в должность комиссара надо бы тем более быть осторожным с этой «реальной силой», раз что она разгромлена не совсем.

«Женись, брат Фома, не женись, брат Фома» — определил Аркаша свои колебания и, чтобы не упрекать себя потом в ошибке, пришел к мысли заболеть, — более чем вероятно, что Чунников связан с Агеевым, а значит подтвердит факт болезни. Кстати действительно стала побаливать голова от всей этой неразберихи. Все это нарушало свидание с Соней, как на зло назначенное в том же балагане Аршалуиса...

Аркаша разорвал на мелкие кусочки записку, послал Чунникова за пирамидоном, заказал ему же самовар, разделся, лег в постель и не велел себя тревожить по пустякам.

XXXIV

В это утро Соне Кругляковой работалось плохо. За уроками она была рассеяна, ученицы ее как на грех не могли взять в толк ни одной задачи, ни одного правила по арифметике, а Соня объясняла вяло, неубедительно, чувствовала, что ученицы так и не поняли, но не могла себя заставить быть внимательнее — так и отложила объяснение до следующего раза. Лагерь, которой занималась Соня для того, чтобы сдать при университете экзамен за курс мужской гимназии, плохо шла в голову, — она то-и-дело ловила себя на том, что глаза бегают по строчкам, ничего не улавливая, возвращалась вспять, но опять блуждала глазами по страницам без толку. Причиной рас-

сеянности был вчерашний разговор с Шурой Митрофановой, окончившийся ссорой. Но это только отчасти. Главной причиной было другое, вспоминая о «другом», Соня быстро и отрицательно качала головой, подавляя воспоминания в корне. Когда, наконец, ей стало ясно, что сегодня не до занятий, она отложила книги и еще раз перелопачивала в голове происшествие вчерашнего дня.

Шура Митрофанова обвиняла ее в черной измене, в лукавстве, говорила о своих правах. Права Шуры на ревность были неоспоримы, никаких других ее прав Соня признать не могла. Не первый раз встал перед Соней этот вопрос. Тогда, год тому назад, к тому же вопросу привели ее отношения с Сергеем Петровичем. И Соня разбиралась в них честно, беспристрастно. Тогда она пришла к выводу, что ею руководило больше тщеславие, чем хорошее чувство, что в глубине души она не хочет никакого определенного конца, а только с любопытством следит, что из всего этого получится. Разговор с женой Сергея Петровича, ее первые всхлипывания и упоминание о детях сразу же решили дело. Соня, неглубоко вздохнув, отказалась от влюбленного педагога и нашла даже своеобразное очарование в переживаниях легкой и светлой печали, память о которой теперь заставляла ее улыбаться.

То, что происходило сейчас, никак не походило на прежнее. Соня не искала встреч, ничем не пыталась помешать отношениям Шуры с Аркашей. Все произошло само собой. Шура всегда думает, что все за ней ухаживают, а это иной раз слишком наивно. Намеки ее на какие-то особенные отношения с Аркашей мало убеждали Соню. И даже тогда, когда Шура торжественно объявила о поцелуях, она осталась при своем мнении. Ветренность Шуры, падкость ее на романы была известна, но уже то, что Шура пришла объясняться, указывало на боязнь ее потерять поклонника, на непрочность отношений. Нельзя было и сравнивать эти ее несерьезные поцелуи с тем, что произошло в тот же вечер между Аркашей и Соней — тут-то Соня и трясла отрицательно головой. Ревновать может каждый, потому что ревность — это чувство, и его не повернешь по-своему. В самой Соне тоже проснулась ревность. Но как можно на этом строить какие-то права? Подруги поссорились крепко, непримиримо.

Проверив в памяти свое поведение, Соня еще раз убедилась, что ей не в чем себя упрекать. Все дальнейшее, похожее на бред, о чем вспоминать было трудно, только подтвердило Сонину правоту. Она не спросила Аркашу, что значит ревность Шуры, она не задала ни одного вопроса — все разъяснилось само собой. Аркаша много говорил о том, что до сих пор он встречал в жизни только неглубокое отношение к себе, что не знал цельной любви. Он вспоминал с раскаянием о своих романах, просил не расспрашивать его, но заранее признавался, что, кроме опыта, не вынес ничего — ни чувства, ни уважения к женщинам. Очень печально он говорил о своем отношении к ней, к Соне, — вот он целует ее, и первый раз в жизни понимает, как много в поцелуе счастья, но он так прivityк к легкости, с которой девушки принимают и отдают поцелуи, не связывая с этим ничего, что, нет, он не может надеяться на другое, более глубокое значение этих поцелуев. А сам он относится к поцелую как к обещанию, да, он не хочет скрывать этого, он не боится, что Соня его заподозрит в распущенности. Вот он перед ней, таков как есть — не знавший никогда полной любви, очень одинокий. Для него любовь — это самосожжение, но он знает, что не может ждать от Сони того же — девушки думают о любви как о замужестве, да и откуда им знать, что если нет любви, то нет ее и в браке, а если

есть она, то смешно и ненужно все, чем люди ее окружают — брак, уговор на всю жизнь...

Тут Соня неловко запротестовала: вовсе нет, она всегда смотрела на любовь как на свободные отношения. Слова вырывались сами собой, и не значение их, — Соня действительно так думала, — а какая-то внешняя грубость выражения заставляла ее теперь краснеть от воспоминаний. Но Аркашу почему-то не оттолкнула эта грубость, он быстро обнял ее и поцеловал как-то по-новому. Потом было мало слов, больше поцелуев, и все они были такие какие-то... Соня не могла даже подобрать определения. Как-будто не стало платья.

Все это было после гулянья, после проводов, в Сониной берейке. Кругом ходила такая ласковая, тихоступная ночь, что, казалось, одобряла и оберегала каждый Сонин поступок. Она сама не думала о том, что делала. Когда как-будто упали одежды, когда сквозь легкое платье она почувствовала, как Аркаша привлек тело ее к своему, тоже легко одетому, ее на минуту захватила совершенная невероятность этого чувства близости. Она никогда бы не могла представить себе, что это бывает так. Потом на один миг в ней проснулась трезвость, но тут же она испугалась обидеть Аркашу нехорошим подозрением. И тело ее так и не оторвалось от его настойчивого и слегка дрожавшего тела. Соня оставалась мягкой, доверчивой, лицо ее горело все больше, дичали и тяжелели глаза. Казалось ей, что идет она по острому, как нож, пути, по трудному пути, и, раз ступив на него, она уже не может вернуться без провожатого, а провожатым было доверие, бесконечное доверие, чем дальше тем больше, к Аркаше. Аркаша смело пользовался этим провожатым.

Потом улегшись в постель, Соня говорила себе: «ведь ничего особенного не произошло... Чего я должна стыдиться, почему у меня все время горят щеки?..» Но все в ней тотчас же возмущалось и твердило, что нет, неправда, пусть она знает, что не произошло, но она чувствует, что произошло. Что-то совершилось перед лицом ее собственной совести, перед лицом матери, брата, Шуры Митрофановой, всего мира. Она может не говорить об этом, но все переменялось, и Аркадий ушел от нее уже не одиноки. Наедине с собой она не все могла вспомнить. Бессовестная память блуждала вокруг Сони и чуть только замечала ее усталость, отсутствие мыслей, как тут же совалась с рассказом о том, что как крутой кипяток обжигало Соню — здесь-то и трясла Соня отрицательно головой и говорила резко: «нет, нет...» Но если она не могла даже наедине с собой вспомнить обо всем, а вместе, вместе с тем это произошло, то значит — есть что-то связывающее их непреложно, неразрывно, непохоже ни на какие связи в мире? А если так, то не все ли равно, произошло ли большее или нет? Да и чем отличается это «большее»...

В самый разгар Сониных дум калитка скрипнула, и в садик вошел Палаткин. Соня безучастно смотрела на него из раскрытой двери беседки и, пока он шел по дорожке, раздумывала — сказаться ли занятой. Но, взглянув близко в его лицо, такое убитое, она не нашла в себе силы на это. В ней разом боролись чуткое участие и холодная досада. Мелькнула мысль: «Не обязана же я скучать ради его блажи...» И тут же была подавлена.

— Разрешите с вами поговорить, — сказал Палаткин.

— Пожалуйста, я, кажется, никогда вам не запрещала этого, — отвечала Соня ласково, и чуть-чуть жестким стало ее лицо.

— Я тут прошлый раз не все досказал, — пробормотал Палаткин, отвернувшись. — Надо бы добавить кой-чего...

— Я думала, вы возьмете свои слова назад, а вы хотите еще добавить, — заметила Соня строго и удивленно.

Палаткин потупил голову.

— Нет, я не могу взять назад, — робко, тихо, но настойчиво произнес он.

Соня помолчала от неожиданности. Потом начала тем слегка учительским тоном, каким объясняла ему элементарные сведения по космографии:

— Михаил Ассинкритович, вы себе противоречите. Почему вы не живете со своей женой? Потому что не любите ее и считаете, что вас насильно женили, когда вы еще не вышли из-под родительской власти. Вы не раз возмущались тем, что она не хочет этого понять и все ждет, что вы вернетесь. А вы говорили, что если бы даже вы ее любили, то одно это насилье заставило бы вас разойтись с ней... Верно? Чего же вы теперь хотите добиться вашими угрозами?.. От меня? А ведь я вам даже не жена и вообще никто...

Голос Сони становился мало-по-малу гневным. Палаткин не подымал головы.

— Я не могу этого перенести, что вы с ним...

— Ну уж, знаете, — возразила Соня и не нашлась, что прибавить.

— Я не могу этого перенести, — повторил Палаткин глухо. — Каждый раз, как он выходит из дома, — мне видно, или я вас после встречаю вместилах, или мне кто говорит. Если б это был кто другой — я бы промолчал, вы бы ни слова от меня не услышали. Но этого хлюста я знаю...

— Какое же вы имеете право указывать мне, с кем я должна... гулять и вообще быть знакомой?

— Никакого права. Я и не беру на себя. Я говорю, что о ком другом, о каком другом человеке вы бы от меня слова не услышали. Но это не человек, а микроба...

— Да какое же вы имеете право так отзываться о том, с кем вы, по вашим же словам, всего два раза в жизни разговаривали? Вы его совершенно не знаете.

— Довольно с меня того одного раза... Бросьте, Соня, неужели вы думаете, что знаете его лучше меня?

— Да уж во всяком случае, — горячо вырвалось у Сони.

— Напрасно вы думаете. Я таких супчиков видывал в Москве немало. Этих супчиков мы в свое время и в штаб Духонина отправляли. А то, что он с губернским мандатом да на заседаниях — «мы завоевали, мы добились...», так это он кому угодно вотрет очки, только не мне. Что бы он ни говорил, я его нутром чую. Не знаю, для кого он пишет в анкетах «сын крестьянина»... Я бы сказал чей он сын...

— Надеюсь, что постесняетесь, — резко перебила Соня.

Палаткин замолчал. Помолчала и Соня. Потом спросила с оттенком враждебного пренебрежения:

— Не понимаю, почему вы открыто не скажете этого ему в глаза? Почему не поведете против него борьбы? Вы же комиссар по борьбе с контрреволюцией, это ваша обязанность...

Палаткин посмотрел на нее внимательно и печально.

— Может быть, поведу, — сказал он. — Когда поведу, то поздно будет. А сейчас я не хочу даже вожжаться с ним. Соня, если бы он сам по себе — плевать бы мне на него, по крайности, до той поры, пока он не допускает вредности. Но как вы с ним свели знакомство—

пускай-ка он катится, откуда приехал. Да... Пускай-ка катится. Вы так и скажите ему.

Палаткин смотрел уже вызывающе.

— Михаил Ассинкритович, — отвечала Соня сухо, — я вообще на себя подобных поручений не беру, а тем более в данном случае.

— Как хотите, могу я и сам ему об этом сказать.

— Поторопитесь. Это еще больше покажет вашу заинтересованность. Только я вас предупреждаю—вы на этом ничего не выиграете.

— Я ничего и не хочу выигрывать для себя. Интерес мой особый. Если б я ему хотел мстить или еще чего, я бы не так действовал. Я не думаю о себе. Я хочу, чтобы его здесь не было, только и всего. Я хочу только вам всего хорошего... Эх, Соня, плохо вы еще меня понимаете...

Палаткин встал.

— Нет, я вас достаточно понимаю,—отвечала Соня, подавая ему руку, — я и сама не меньше вас знаю, что мне лучше и что хуже.

Палаткин ушел. Тотчас же Соню охватило такое беспокойство, что она не знала, куда себя девать. До вечера было еще долго, говорить обо всех своих заботах ей было не с кем, занятия не шли на ум, оставалось одно — взяться за что-нибудь утомительное, за какую-нибудь физическую работу. Соня принялась за стирку и, перемогая жар пылавшей от дум головы, проработала до вечера. Под конец она забылась, заработалась так, что чуть не пропустила условного часа — пришлось торопиться. Но когда Соня, одетая в светлое, только-что выглаженное платье, с легким шарфом на голове вошла в балаган Аршалуиса и осмотрелась, оказалось, что пришла слишком рано — Аркаши не было. Соня забилась в самый темный угол и стала ждать.

Представление начиналось. Из-за холщевго пестро размалеванного занавеса послышался хриплый, надтреснутый звонок, занавес слегка отодвинулся, выглянуло бесчувственно-жирное лицо Аршалуиса с брильянтиновым пробором, служитель вынес и поставил на рампу две зажженных лампы-молнии, загороженные жестяными рефлекторами, и спрыгнул в зал. Здесь он прикрутил фитили висевших на стенах фонарей — в зале сразу стало сумеречно, сильнее почувствовалась предосенняя ночная сырость. Продребезжал второй звонок, публика притихла, и стали слышны из-за занавеса острые хохотки и вскрики девиц. Опять выглянул Аршалуис, и теперь его освещенное только снизу лицо было румяным, молодым лицом толстеющего весельчака. Вопросительно оглядев ряды скамеек, он энергично затрясся, рассыпая гороховый звон рукой, спрятанной за занавес, и исчез. В ту же минуту боковая дверца хода на сцену распахнулась и, шумно гремя сапогами по ступенькам досчатой лестницы, вышли и уселись в первый ряд Семен Иванович, Трунов и Будилин. Занавес раздвинулся, обнажив убого обставленную сцену. Начался первый акт «Иванова Павла».

Соня, скучая, слушала испитой тенор героя пьесы и бесстыжий, с томными повизгиваньями — его мамыши, краснела от ее телодвижений и от вольного костюма «Шпаргалки». Аршалуис потрудился над постановкой, стремясь показать свою труппу во всем блеске. Аркаша все не появлялся. Обидчивая мысль мелькнула в Сониной голове: «а, раз так — уйду...» Но Соня тут же осудила свою мелочность, решив, что, наверно, что-нибудь неотложное задержало Аркашу. Пьеса длилась, Соня почти не вникала в смысл ее, занятая своими мыслями, и только беготня «Шпаргалки» по сцене, толстые ее икры, оборки коротенькой юбки и панталон, предназначенные для взо-

ров первого ряда, да меценатские аплодисменты Семена Ивановича заставляли ее ежиться от ощущения пошлости. «Как им не стыдно» — повторяла она про себя привычную фразу. И едва лишь пьеса кончилась, Соня, проводив глазами компанию Семена Ивановича, вновь скрывшуюся за кулисы, поднялась, чтобы выйти. Но в дверях выросла фигура Палаткина, и Соня моментально села, наклонив голову, закрывшись тщательно шарфом. Так пришлось сидеть долго, до окончания перерыва — Палаткин присматривался к ней, но не подходил, видимо, неуверенный в том, что узнал. Когда же после перерыва свет был снова приглушен, новое обстоятельство задержало Соню — Палаткин сел у самого выхода, как-будто, чтобы осматривать каждого проходящего. Выход был единственным, и Соне пришлось ждать, пока Палаткин хоть ненадолго сойдет с места, пришлось слушать гармониста, игравшего руками, ногами, зубами и даже задом, садясь на гармонь, и куплетиста, уже сложившего вирши о губернских комиссарах, примазавшихся к власти и разоблаченных ревкомом Белоспасской республики. Публика принимала все номера дивертисмента бурей одобрения, а когда на сцену выбежала дряблоногая танцовщица, все повскакали со скамей, стараясь не пропустить ни одного ее па.

— Миша, садись сюда, к нам! — крикнул вновь появившийся Семен Иванович, заметив Палаткина.

Тут Соня воспользовалась суматохой и торопливо вышла из балагана. «Как хорошо, что Аркадия не было, — соображала она, — с ним было бы еще стыднее. Его, наверное, возмутила бы эта гадость — после московских-то театров...» Опасение не застать Аркашу дома подгоняло Сонины шаги и окончательно заслонило самолюбивую обиду на его невнимание. Лишь бы его найти, лишь бы предупредить — это слишком важно, чтобы откладывать. Чтобы ни говорил Палаткин, — Соня впервые в жизни сталкивалась с вопросами, где она не могла полагаться на одно свое доверчивое отношение к людям, — нет, что бы он ни говорил, как бы ни уверял, что по отношению к Аркаше лично он не сделает ничего плохого, надо было предвидеть все, и Соня инстинктом угадывала в мужской страсти неизученную силу, способную перевернуть человека, заставить его сделать совершенно неожиданный поступок.

Дорогу к номерам Чунникова Соня пролетела как на крыльях. Только подойдя к дому, встретив взглядом слепую, неосвещенную массу его, она замедлила. Стало страшно подумать — как войти в эту дверь и искать в незнакомом доме неизвестно где расположенную комнату. Соня приостановилась, робко вглядываясь в полуоткрытый вход. Но по улице сзади послышались шаги и, ища укрытия, Соня подалась не в парадный вход, а в калитку — казалось ей, что здесь безопаснее. Щекотла слабо звякнула за ней, и Соня порадовалась своей осторожности — действительно, шаги с улицы свернули, кто-то прошел по коридорчику парадного входа. Соня переждала, пока стихнет шум, и тогда тихонько двинулась вперед — во двор. Она вспомнила, что, по рассказам Аркаши, его комната выходит окнами к поленицам дров. Эти дрова ясно виднелись в темноте серебристым цветом бересты, Соня подошла и увидела сквозь узкие щели внутренних ставень слабый желтый свет. Она дотянулась прутиком до стекла и еле слышно постучала. Свет моментально погас. Соня стала ждать, стояла довольно долго, но ничего не дождалась. Тогда она постучала еще раз, также неслышно. Прошла долгая минута, прежде чем она услышала тихий скрип приотворившейся ставни, Соня притаилась, но, поняв по новому скрипу, что ставня запирается, постучала еще и на этот раз смелее. Вдруг отворилась форточка и послышался совсем дикий, срывающийся шопот Аркаши:

— Я болен... Уходите, иначе я весь дом разбужу!.. Я позову Палаткина! Оставьте меня в покое!..

Соня с'ежилась, пришибленная. Это показалось ей сплошным бредом.

— Аркадий! — позвала она тоненько и жалобно. — Это я...

Ставня скрипнула, нерешительно приотворилось окно, слышно было, как Аркаша озадаченно фыркнул: фу, ты, чорт!.. — и потом прибавил торопливо: — Сейчас... сейчас...

Все затихло. Соня пугливо озиралась по сторонам. Наконец, слышались шаги, и Аркаша выступил из темноты.

— Как ты меня напугала, — сказал он шопотом.

— Ты спал? Ты болен? — забеспокоилась Соня.

— Нет, то-есть не совсем... Мне, знаешь ли, померещилось чорт знает что. Ладно, ты не обращай внимания.

Но Аркашина рука, поддерживавшая Соню на незнакомом пути, сильно дрожала, и Соня не могла сомневаться в том, что испуг его был неподдельным.

Они прошли темные коридоры и вошли в Аркашину комнату. Лампочка с привернутым фитилем едва освещала контуры мебели и смятую постель.

— Ты знаешь, зачем я пришла? — спросила Соня, застеснявшись.

— Конечно, — отвечал Аркаша, не задумываясь и обнимая ее. — Ты пришла... Я очень рад, что ты пришла.

Он постарался доказать это помимо слов.

— Постой, — проговорила Соня, освобождаясь, — нам надо как можно скорее уехать отсюда.

— Зачем? — спрашивал Аркаша, думая о другом.

— Как зачем? Учиться. Разве ты не собирався? — все еще пыталась Соня отстраниться и начать необходимый разговор.

— Ах, да, конечно... Конечно, уедем, — согласился Аркаша охотно. — Кстати сегодня Палаткин подарил дорожный казан.

— Палаткин? — удивилась Соня. — А когда это было? В каком часу?

Аркаша отвечал рассеяннo, занятый желанием покончить ненужные предисловия. Соня, уклоняясь от его рук, сопоставляла часы и пришла к выводу, что Михаил Ассинкритович сделал Аркаше подарок немедленно по приходе от нее.

— Скажи, ты дружен с ним? — попробовала Соня задать хитрый вопрос.

Вместо ответа Аркаша крепко обнял ее и что-то прошептал ей на ухо. Она не расслышала слов, но всем телом поняла смысл. Поникнув головой, замерев, она сразу отяжелела в Аркашинах руках. Он помолчал и, найдя ее ухо, снова повторил сказанное шопотом.

«Что же... Ведь я люблю его» — понукала себя Соня мысленно.

— Вот видишь, — сказал Аркаша, — я сказал, что знаю... Ты пришла...

Если бы знала Соня, что утром, уходя, она встретит бессонный и горячий взгляд Палаткина, всю ночь просидевшего на лавочке возле ворот, она не ответила бы на Аркашин шопот так, как принудила себя ответить:

— Послушай, Аркадий, а разве ты не хочешь перед этим... помолиться?

XXXV

Давно уже не собирался салон Александры Петровны Бантышевич в таком полном составе, как эти дни. Давно уже не приобрета-

ли разговоры и суждения его такой убедительности и остроты, как теперь. Небывалый, неповторимый случай—вот когда можно было и следовало завоевать доверие тех скептиков, которые имели дерзость относиться с осторожностью к общественному мнению! События доказали с полной очевидностью правоту предсказаний Александры Петровны. Разве не стали все свидетелями полного развала новой власти? Разве можно теперь сомневаться в том, что большевики катастрофически стремятся к гибели? Уж если в Белоспаске творится подобное, то можете себе представить, что же происходит в Петрограде, в Москве?

Кто посмеет теперь утверждать, что это непроверенные слухи? Бывшая прислуга Мелании Алексеевны Мокроусовой замужем за шурином Семена Ивановича — ведь Семенова Палашка-то каждый вечер приходит к брату поплакаться на мужа. Еще бы, пожила как сыр в масле, расставаться с легкой жизнью не хочется!.. Пусть-ка теперь Модест Антонович попробует сомневаться или возражать. Это легко, когда речь о Мсске, — не может же, в самом деле, Александра Петровна заставить его съездить и убедиться. Но теперь он сам замолчал, — не очень-то поспоришь, когда факты налицо.

— Вообще, знаете ли,—говорил недавний прозелит Александры Петровны, бывший мировой судья Бакеркин, — вообще смешно было бы думать, что может что-нибудь получиться на такой основе, как эта знаменитая конституция. Это же совершенно безграмотный и к тому же противоречивый документ. А основой всякой государственности было, есть и останется право, твердые понятия о праве. Чего ж вы хотите...

Бакеркин делал пренебрежительный жест синеватой кистью руки. Он взял на себя роль подводить итоги общим суждениям в плоскости воззрений на законность.

— Неужели, — спрашивала его Александра Петровна, — вы не поднимете вопроса, разумеется, как только все это кончится, о пребывании Дыбовицкого в корпорации? Он то-и-дело шушукается с комиссарами и Хворовым и его компанией.

Бакеркин загадочно молчал.

— Да ведь ты же знаешь, милочка, — вставляла за него Мокроусова, — что еще твой покойник муж докладывал о нем губернатору. Вас нужно пенять за мягкость.

— Да, — произносил Бакеркин, — немало глупостей сделали в свое время, глупостей, за которые приходится расплачиваться сейчас.

Из уважения к Бакеркину ему прощали запоздалую критику старого. Александра Петровна замечала:

— Действительно, покойник муж был мягок. Его и назначили урядником за особый такт, с которым он провел усмирение раменских крестьян. А его отношение к подчиненным? Вы знаете, сколько раз бывало: напраказит кто-нибудь из стражников, он н и к о г д а не увольнял со службы, всегда говорил: «Лучше я, говорит, проучу его собственноручно, чем обречь его на голод и холод вместе с семьей». Я была против рукоприкладства, но — знаете? — ведь потом ему в ноги кланялись, благодарили...

— Гуманнейший человек, — подтверждала Мелания Алексеевна.

— Да, — произносил Бакеркин, пропустив мимо ушей трогательное воспоминание Александры Петровны, — я понимаю, что Дыбовицкий шушукается, он же всегда был красным. Но какой ему смысл связываться с Хворовым? Ведь он же в опале, как я слышал?

— Нет, простите, теперь это уже не опала. Он просто бежал, иначе его арестовали бы вместе с Зискиндом...

И так как эта фраза переводила разговор из плоскости отвлеченной на конкретную почву, то Бакеркин замолчал, уступая слово Мокроусовой и Бантышевичу. То в ариях, то в дуэтах перед слушателями вскрывались все тайные пружины, двигавшие историю Белоспасска.

Злостью дня был арест Зискинда. Это считалось началом форменной войны против центральной власти. Если войны не произойдет, то только потому, что повсюду в России происходит то же самое. Доподлинно известно, что три соседние уезда уже последовали примеру Белоспасска, об'явив себя автономными республиками. Следовательно, будет не война, а всеобщая свалка. Железные дороги скоро станут совсем, голод в столицах докончит остальное. При таких условиях никакое формирование армии да и самое существование центральной власти немыслимо, — это понятно всем и каждому. А местная власть сама себя с'ест во взаимных раздорах. Адмирал Колчак это прекрасно учитывает и не торопится, он знает, что через два-три месяца вся страна будет жаждать установления правопорядка и твердой власти. Вот тогда-то он и придет как триумфатор — в каждом уезде его будет ждать народное ополчение.

Тут вспоминали Агеева. Белоспасский ревком оповестил население стеновыми листовками о том, что банда его — подумайте, «банда»! — разбита и только сам он с несколькими участниками бежал через леса в пределы соседней губернии. Но люди, знавшие Агеева, утверждали, что он уже после этого появлялся в городе, что отряд его в полной целости, что, наоборот, красногвардейцы понесли жесточайший урон и выместили свою злобу на ни в чем неповинном Покровском монастыре, разграбив его склады под тем предлогом, что там якобы была его штаб-квартира. Бедные монахи, которых заставили только-что перейти в коммуны, теперь в отчаянии — к ним назначили комиссара, который требует, чтобы во время многолетних поминали его самого и всех членов белоспасского ревкома.

Причиной ареста Зискинда считали тот факт, что он во время отсутствия Семена Ивановича захватил вместе с Хворовым все наличные суммы казначейства. Хворов успел сбежать с большей частью присвоенных денег, а Зискинд пробовал откупиться, но давал слишком мало, теперь его подвергают утонченнейшим пыткам с целью дознаться, куда он спрятал деньги.

— Все-таки этому трудно поверить, дорогая Александра Петровна...—пробовал протестовать Модест Антонович, но на него сыпался такой град упреков в обольшевичении, что он тут же добавлял: — Я хочу сказать, что просто не верится, до чего мы, Россия, озверели, до чего озверел наш добродушный народ.

— Во-первых, народ был всегда зверем, — быстро и твердо устанавливала Александра Петровна, — но его раньше сдерживали. А во-вторых, пытаются Зискинда пленные мадьяры — ах, они удивительно жестоки: мне рассказывали...

Уездный инженер, рыжеусый, рыхлотелый Рындин, бывший за-всегдаей салона, теперь забегал урывками — он руководил организацией лесозаготовок и разработкой торфа. За ним наперебой ухаживали Бантышевич и Мокроусова, нетерпеливо распрашивая его о настроениях дроворубов, которые, по общему мнению, должны были вот-вот забастовать. Рындин прихлебывал чай с земляничным вареньем, обсасывая усы, и говорил:

— Да, настроение, знаете ли, подавленное... Чего ж вы хотите — муки дают по пуду в месяц на человека, перевозочных средств не хватает. Я сомневаюсь, чтобы из всей этой затеи что-нибудь получилось. Наш заказчик и потребитель — железная дорога, а управле-

ние находится в губернии. Вот уже две недели, как мы — автономная республика; пройдет еще неделя, и нам нечем будет платить рабочим, они разбегутся...

— Еще бы, если все деньги увез Хворов!..

— Голубчик, — упрашивала Александра Петровна, — а как вы думаете, не выступят ли они в один прекрасный день против Сеньки с топорами в руках?

— Я плохой отгадчик, — пожимал плечами Рындин, — но на мой взгляд все возможно...

— Я бы его четвертовала, — пылко восклицала Александра Петровна.

Но самым крупным событием, обсуждавшимся в салоне, было, конечно, торжество по случаю основания университета. Начало лекций было решено приурочить к Октябрьской годовщине, но уже сейчас ревком поручил директору женской гимназии приступить к присканию научных сил и составлению плана академических работ в расчете на два факультета — педагогического и естественных наук. Само по себе незначительное в сравнении с остальными, это событие стало в центре внимания салона потому, что большинство навсегдаев Александры Петровны были преподаватели гимназии, а остальные — как-никак культурные силы уезда; соль земли. Не высказать своего мнения об этом начинании уездной власти было невозможно — кому же, как не им надлежало вынести пронизательное и независимое суждение?

— Я приветствую это мероприятие, — слегка гнусавил тощий директор, — наше юношество, молодежь обоего пола получит возможность продолжить свое душевное и нравственное совершенствование. Я думаю, что ей не повредит и прохождение того курса наук, на котором настаивает Семен Иванович. Кстати, мы предложили ему быть ректором, конечно, экс-официо, и он согласился...

— Еще бы! — губа не дура. Но как вы на это пошли?

— Я не вижу в этом большой беды. Скорее наоборот. Уже самое соседство науки облагораживает человека.

— Позвольте, — возражал старенький, розовый, с взлетевшими сединами доктор, — вы едва ли отдаете себе отчет в том, что делаете. Большевики захватили путем насилия банки, фабрики, земли — хорошо-с. Но это нужно удержать. А для того, чтобы удержать, надо кое-что знать. Без накопления знаний немыслима никакая попытка управления современным государством. Поэтому проблема так называемой социальной революции через диктатуру пролетариата есть, в сущности, проблема овладения знаниями. Вам угодно взять на себя помощь в этом почтенном деле?

Доктор строго взглядывал сквозь золотые очки.

Директор, чувствуя себя обвиняемым, искал поддержки у дам, но те отвечали негодующими взглядами. Он неловко покашливал и говорил:

— Вы слишком требовательны. Если вас позовут к постели больного, кто бы он ни был, большевик или монархист, вы же не откажете в помощи? Вот видите. Мы, работники просвещения, в том же положении. Если есть в нас нужда — наш долг помочь.

— Ну, батенька, махнули... Разница большая. Когда я делаю перевязку, меня не спрашивают «како веруеши». А вас спросят, и если ваш ответ покажется неудовлетворительным — с вами не церемонятся. Кроме того, я возвращаю больному лишь то, что ему принадлежит — здоровье, тогда как вы отдаете часть самого себя. С какой стати? Разве вы обязаны обогащать тех, кто только и де-

лает, что занимается экспроприацией чужой собственности? Я бы понимал, если бы на вашем месте сидел Дыбовицкий...

— Но согласитесь же... — пробовал защищаться педагог.

— Обольшевичились, дорогой, обольшевичились!.. — хором пербивали его дамы, и уничтоженный директор уже видел по лицам своих сослуживцев-преподавателей, что надежды на них, как на основной кадр профессуры будущего университета, слабы,—слишком суров приговор, вынесенный салоном, слишком очевидно негодование, с которым отнеслось общественное мнение к участию культурных сил в новой затее власти.

В эти дни салон торжествовал. В эти дни особенно заметно чувствовалось, как каждое новое событие усиливает влияние, поднимает значение общественности...

А между тем по всем телеграфным и телефонным проводам уезда передавался приказ за подписью нового военного комиссара Трунова о формировании в Белоспасске добровольческого полка красной гвардии. Ревком сообщал о ликвидации банды Агеева, призывал население к обнаружению сообщников. Землеустроительные работы на участках окончились, землемеры съехались в Белоспасск для сводки, но темп работ упал сразу же после разрыва с губернской властью — землемеры не верили обещаниям ревкома и жизнеспособности новоявленной республики. Представители заготовительных органов губернии выехали из Белоспасска на обывательских подводах — земские ставки давали лошадей только по письменному предписанию превревкома.

В городе усилилось пьянство — пили брагу и спирт-сырец, неизвестно откуда доставлявшийся. В связи с участвовавшими случаями хулиганства и неповиновения распоряжениям власти в некоторых селах, где советы сразу обнаружили свою кулацкую окраску, ревком объявил уезд на военном положении. Словно в ответ на это потьминские воротилы подняли открытый мятеж: схватили приехавших для дознания по делу Потьма—Вонищи двух милиционеров и зверски убили их, предварительно исколов шилом и засыпав их затем полуживыми в песчаные ямы на берегу речки. В Потьму была брошена половина Палаткинского отряда, при чем произошло настоящее сражение, с убитыми и ранеными с обеих сторон. После занятия красногвардейцами Потьмы, в числе убитых был найден труп юнкера из Агеевской шайки. Это, а также то, что сражение велось потьминцами весьма упорно и организованно, не оставляло сомнений в руководстве Агеева мятежом. Но сам он опять ускользнул от преследования.

Почти одновременно с этим были сожжены постройки двух лесничеств, лесничие и семьи их перебиты. Виновники остались не обнаруженными, и та же, очевидно, рука продолжала выполнять план создания паники и разрухи — то тут, то там вспыхивали лесные пожары, загорались огромные площади леса, над Белоспасском стояла мгла и запах сосновой гари. Были неоднократные попытки поджечь склады лесозаготовок, кончавшиеся неудачами лишь потому, что огонь во-время замечали. Борьба с поджогами на лесозаготовках была тем труднее, что работы шли не полным ходом, многие были уволены, но не получали расчета и бродили по лесосекам без дела. Удалить же шатающихся не представлялось возможным — они чего-то ждали и при попытке нажима на них хватались за топоры.

Разбросанный по разным местам отряд красногвардейцев постепенно деморализовался. Все чаще в ревком поступали жалобы на отдельные случаи правонарушения: Палаткин, оставаясь в Белоспасске, с трудом руководил операциями. Нехватало людей. Первые дни набо-

ра добровольцев дали слабые результаты — записалось не более полудюжины городских подростков и лодырей. Дроворубы и безработные кожевники, на которых рассчитывал ревком, почему-то не шли.

Впрочем, несмотря на все эти тревожные обстоятельства, белоспасский базар, и прежде не бедный, теперь стал вовсе изобильным. Площадь не вмещала приезжающих с товарами, базар расплзался во все стороны по улицам, и в субботние дни Белоспасск представлял из себя сплошную ярмарку. Кроме местных крестьян, внезапно вынырнули откуда-то нижегородские и костромские кустари, перекупщики, появился ассортиментный привозный товар, замки, кожи, саратовская сарпинка, ситцы, тульские сласти, даже отрезки московских сукон. Брат Чунникова разбил постоянную палатку с гребенками, зеркальцами и прочей галантереей. Больше всего было кожевенного товара — раскрылись погреба и кладовые Митрофанова и других местных заводчиков. На кожевенный товар цены стояли сначала низкие — торопились продать. Но уже через несколько дней, видя, что власть преследует только налоговые свои интересы и смекнув, что, значит, она нуждается в деньгах и будет впредь нуждаться, заводчики повысили цены, отчего дела не пошли тише. Иначе было с хлебом — в первые дни после объявления Белоспасска республикой, он сильно подорожал, но вскоре цена стала падать и упала ниже старой. На базаре совершали сделки все более крупные лесозаготовки, все время нуждавшиеся в гужевом транспорте, теперь совершенно его лишились — все ломовые бросились на базарные заработки.

Над всем этим базарным изобилием пыжился, надувался, покачивался круглый, довольный, спокон веку знакомый, многообразный и в то же время единый живот — при серебряной ли цепочке, при золотых ли брелоках, с рубахой ли под жилетом или выпячивая сюртучный засаженный борт. Вернулся и царил совсем было забытый многоцветный, но единосушный глаз — веселый над румяной с прожилками щекой, или хитро прищуренной под русой, в тон курчавой бороде, бровью, сонный ли — «сам себе цену знаю!», оживленный ли в продувной заботе — обернуться, без капитала дело сделать, купив-перепродав с полуторным барышем.

Зашумел, бойко заторговал трактир. Хозяин спешно принимал двух девок и отгородил особую комнату для гильдейских разговоров. И уж распаренные многими «парами» чая, негромкие от воскресающей спеси утробные тенорки рассыпали на укороченном звучке:

— Почтение Силе Митричу! Как ваше славу богу?

— Ответно... Ох, помаленечку, помаленечку.

— Жить можно, говоришь? — провожал издевательской усмешкой влетевшего невпопад в эту торговую кутерьму и вздыбленного, как волк, красногвардейца.

— К этому должно было притти, — провожал красногвардейца щупающим холодным взглядом — вот-вот, побагровев, гаркнет: «А ну, хозяин, гони его взашей!..»

И уж косились оба на качающих бедрами примадонн Аршалуиса, зашедших в трактир на разведку, и уж думали оба: «Что ж, оно не вредно, немного погода можно и это...»

Хозяйство уезда «оздоравлилось»...

Дыбовицкий бродил по базару с отвислой набок губой и приглядывался ко всему так, как если бы он был податным инспектором и ему надлежало определить оборот каждого купца. И стань он действительно сборщиком налогов, дорого бы дало белоспасское купечество, чтобы убрать его подальше, — так злобно играл на его лице коричневый румянец, по собственному его выражению, «егерь фарбэ».

так возмущенно и брезгливо шепелявила его отвислая губа отрывистые чертыхания:

— Ах, дураки, ах, кретины... Что делается! Неужели же не наглядно? Неужели же не бывает минут просветления у того же Семена Ивановича? Ведь был и он когда-то бескорыстен и выдержанным, бегал и он когда-то в единственной паре штанов и рисковал шкурой... Я понимаю, я согласен с Хворовым, — дорвался и удержу не знает. Но в личных отношениях, чорт тебя побери, куда ни шло, а раз на тебе ответственность за живой кусок кровавых и потных надежд... Нет, есть же пределы, отделяющие мелкокорыстное пионерство от самой наивной контрреволюции. Ведь и субъективная глупость, доведенная до известной степени, становится реакционной силой. Преступно и мерзко, мерзко и преступно...

Остановившись перед возом, груженным красным товаром, он вдруг спросил строгим голосом:

— Почему?

Стоявший подле ломовой указал ему на поджидавшего покупателя хозяина, русого, с клинышком своей бороды, с глубоко надринутым на глаза суконным козырьком картуза.

— Почему? — повторил Дыбовицкий свой вопрос в упор, подойдя к купцу.

Купец смерял его с ног до головы ледяным взглядом и проговорил нехотя:

— Вам не подойдет.

— Почему не подойдет? — взорвало Дыбовицкого.

Тот помолчал, осмотрел еще раз его потрепанный камзол и ответил почти вежливо:

— В розницу не торгуем.

— А сколько оптом? — приставал Дыбовицкий. — Может быть, я все куплю? Сколько стоит весь товар?

Но купец уже бросил потухающий окурок и отвернулся, рассеянно глядя в даль и как-будто не слыша.

— Что ж, вы хотите торговать или нет? — визгливо и истерически повторил Дыбовицкий. — Я спрашиваю, сколько стоит весь товар...

Купец молчал, не обращая никакого внимания. Дыбовицкий неловко топтался на месте, пятна «егерь-фарбэ» прыгали на его щеках, вдруг он нелепо взмахнул рукой и нелепо взвизгнул:

— Кашалот, вот вы кто! Кашалот и к тому же росомаха!..

— Чего угодно-с? — повернулся к нему купец. — Проходите-ка, господин, отседова. Совестно, право, в годах уж вы немаленьких.

— Росомаха! — крикнул Дыбовицкий и плюнул, отходя прочь.

В своем волнении он не заметил, что на кого-то наткнулся.

— Здравствуйте, Виктор Яковлевич! — окликнул его ломающийся дискант Кости Круглякова.

— А, здравствуйте, Костя, — все еще раздраженно отвечал Дыбовицкий. — Нам по пути? Ну, так пойдете. Как вам все это нравится? Недурно, интели?

— О чем вы говорите, Виктор Яковлевич?

— А вот обо всей этой благодати. Смотрите-ка, сколько повезли — тут вам и хлеб, и живность, и мануфактура, и кожа — чего-чего только нет. И это, разумеется, неплохо, что все это у нас еще есть, что война не пожрала всего окончательно. Но вы видите, у кого все это в руках? Советую вам, Костя, пользуйтесь возможностью, наблюдайте то, что происходит. Будет время — и все, что теперь происходит, станут вспоминать, собирать и записывать, как любопытней-

ший и поучительнейший материал. Немногие свидетели наших дней, оставшиеся в живых, будут рассказывать то, что сохранит их память, на громадных с'ездах. И тысячи газет перепечатают их воспоминания для того, чтобы новые поколения смогли почувствовать за сухими страницами исследований и учебников проносящуюся сейчас перед нашими глазами действительность. И все-таки будет казаться невероятным...

— Да, я знаю, — ввернул Костя, — когда мне было восемь лет, то все искали современников отечественной войны.

— Ну, вот, интели, а когда вам будет восемьдесят лет, разыщут вас и спросят...

— Будут спрашивать тех, что сейчас в Москве, в Петрограде.

— Нет, ошибаетесь, спросят и тех, кто в Белоспаске, я вам на-верное говорю. Так вот посмотрите же и запомните, как разливалась огромная революция по огромной стране. Не думайте, что это мы с вами выдумали Семена Ивановича, сидя здесь, в Белоспаске. Это закон такой: когда жизнь становится совершенно новой, то в первые дни выдвигается человек практической смекалки. Он живет настоящим, он близорук, а близорукие видят вовсе неплохо, — они видят то, что близко, лучше, чем люди с нормальным зрением. И поэтому он гениален в своей близорукости, он незаменим как вождь энтузиазма, ведь энтузиазм без вожака, это — бросовая вещь... Но когда все мало-по-малу осваиваются с новизной положения, когда успевают выработаться новые навыки, близорукая практическая смекалка уже становится ненужной, а так как она часто работает на самое себя, — то даже вредной. И тогда выступает на смену новый, уже дальновзоркий вождь... Все это, само собой разумеется, относится только к мелкому, практическому вожаку, а не к вождю и творцу революции, ибо у того-то должно быть не меньше трех глаз: в одном — микроскоп, в другом — телескоп, в третьем — бинокль. Замечаете, как я необычайно остроумен?.. Но вы не верьте, когда вам говорят, что Семен Иванович только и всего, что шкурник, и не рассказывайте потом внукам, как это делали мопассановские провинциалы о французской революции, что, мол, и у нас в Белоспаске власть захватил пропойца и растратчик такой-то, ибо это будет поклеп на революцию, ибо не потому он получил власть, что он пропойца и растратчик, а потому, что он в то же время был революционером... Вам не скучно, Костя?

— Нет, я даже люблю про революцию писать.

— Вот как? Что же вы, интели, пишете?

— Стишки и вообще... разные статьи, — смутился Костя.

— Ну, стишки; так стишки, тем лучше. Так вот запишите...

Ведь вы слышали о Бакунине? О нем было сказано, что он незаменим в первый день революции, но на второй день его надо расстрелять. Конечно, Семены Ивановичи — не Бакунины, но и их не грех расстрелять в революционный вторник. Посмотрите-ка, — мы с вами все никак не выберемся из базарной толчеи, — как же это случилось, что в то время, когда вся страна загоняет кашалотов и мародеров в волчьи ямы, здесь, у нас, эти кашалоты вылезли и нагло поплевы-вают? Приедет вонищенский или мотызлеевский мужик посмотреть, что делается в городе, только почешет в затылке: как же, мол, говорили, будто «совецка» за трудящих? Как же говорили, что «буржуазея обжирралась»? Она и сейчас — тьфу, ты... «в розницу не торгуем, проходите...» А случилось это, Костя, за какие-нибудь две недели, время, за которое от Семена Ивановича остался только пропойца и растратчик, а все остальное, что нужно было революции, вы-

дохлось... Вы, Костя, не вздумайте где-нибудь повторять то, что я вам сейчас говорю и лучше не слушайте меня... А скажите, что бы вы сделали с Семеном Ивановичем, если бы были председателем ВЦИК'а?

— Я и без того знаю, что сделаю, — сказал Костя многозначительно и взволнованно.

— То-есть? — посмотрел на него Дыбовицкий с любопытством.

Вместо ответа Костя выпятил свой карман, и Дыбовицкий угадал в нем очертание револьвера.

— Бросьте, Костя, — сказал он, — не увлекайтесь романтикой, вы ведь уже довольно взрослый. Один в поле не воин, хотя бы он и был такой же храбрец, как и вы.

— Я знаю, я читал Шпильгагена, — ответил Костя с воодушевлением. — Но я совсем не один. Сказать вам, кто мне дал револьвер? Впрочем, я не могу.

Но ему, видимо, страшно хотелось поделиться своим секретом, и он испытующе поглядывал сбоку на Дыбовицкого.

— Не надо, — отвечал тот. — Вы могли бы не сомневаться во мне, и все же говорить этого не надо. Но я вам хочу сказать, что рано вам все-таки участвовать в таких вещах. Предоставьте это тем, кто уже занялся вплотную практической жизнью, а вам пока нужно подзубривать. А? Пифагоровы штаны для решения нам даны...

Но Костя, полный решимости, зашагал так крупно и по-мужски, что ясно было, насколько он пренебрежительно относится к пифагоровым штанам, и Дыбовицкий, отставая от него, проговорил:

— Не торопитесь, Костя, а то я за вами, интели, не угонюсь.

Костя остановился и сказал вполголоса:

— Я не хочу, чтобы к нам подошел вон тот, я его терпеть не могу.

Но Аркаша уже заметил Дыбовицкого и подходил, любезно улыбаясь.

Костя так и остался стоять в сторонке, полный враждебного невнимания.

— Прогуливаетесь? — спросил Аркаша, здороваясь. — Стбит, погодка замечательная. Мы вчера с предревкомом заработались до ночи, я тоже с удовольствием гуляю.

Аркаша грассировал и говорил слегка в нос. Дыбовицкий несколько озадаченно ответил на его небрежное рукопожатие.

— А сегодня вы отдыхаете от трудов праведных? — спросил он иронически.

— Нет, я только-что от предревкома... Посмотрите-ка, что можно сделать при некотором внимании к нуждам населения.

Аркаша повел рукой, указывая на ряд тесно стоящих телег.

— Да, действительно, — слабо и безразлично отозвался Дыбовицкий.

— Я сегодня сказал предревкома, — гнусил понемногу Аркаша, — давно бы тебе, говорю, с дельными людьми посоветоваться. Давно бы с тактичными людьми...

— Так что и вы приложили руку ко всему этому?

— Нет, — скромно отрекся Аркаша, — я ведь земельный комиссар. Но предревкома постоянно советуется со мной по всяким вопросам. Он понимает, что нужно же привлекать культурные силы.

Аркаша говорил с усталым и рассеянным наслаждением. Он и остановил Дыбовицкого только для того, чтобы лучше почувствовать весь блеск своего величия. Потрепанный его камзол и воспоминание, что это ему предлагал когда-то Хворов руководство уездным кон-

тролем, щекотали Аркашу каким-то восхитительным сравнением с собственной удачливостью.

— Да, действительно, — проговорил Дыбовицкий с гадливой ненавистью, — внимание к населению... Сколько можно сделать преступных глупостей при соответствующих способностях.

Аркаша торжествующе улыбнулся. Злобный тон его собеседника неожиданно доставил ему предел ощущения, на который трудно было рассчитывать.

— Однако, прагматите, — скартавил и сюсюкнул Аркаша, — мне уже пора на заседание ревкома...

Он едва притронулся к козырьку и предусмотрительно не подал руки, отошел кокетливой раскачкой. Смотря ему вслед, размахивая кулаком, Дыбовицкий выговорил как можно громче и явственнее:

— И запишите, Костя, в своих записках, что революция не имеет ничего общего с пошлостью!..

К вечеру Дыбовицкий был арестован.

XXXVI

Утром, приоткрыв ставню, Аркаша остался недоволен — вопреки вчерашним его ожиданиям, день оказался пасмурным. Правда, не было основания думать, что обязательно будет ясная погода — ни небо, ни свежий вечерний ветер не предвещали этого. Но хотелось солнечного дня. Слишком уж стало не по себе. Почему-то неприятно подействовал на Аркашу арест Дыбовицкого, почему-то угрюм и молчалив был Семен Иванович после под'ема первых дней. И не так-то просто казалось заткнуть рот все больше смутьянившим дроворубам.

Аркаша посмотрел на часы. Было без четверти десять, надо было торопиться — возглавляя земельный комиссариат, он считал неудобным слишком опаздывать.

Но когда Аркаша подошел к умывальнику, то оказалось, что нет воды. Он заглянул в запасное ведро — не было воды и там. Пришлось звать Чунникова. Пользуясь простыми нравами номеров, Аркаша не стал для этого одеваться и, как был в сорочке и кальсонах с чересчур широким поясом, вышел в коридор.

Но едва приподнял он голову и открыл рот, чтобы вызвать Чунникова из мезонина, как зазвонил телефон, висевший в коридоре для общего пользования. Аркаша подумал:

«Прохвост этот Василий Михайлович, он мне нарочно воды не наливает, в знак бойкота, с тех пор, как узнал о моем комиссарстве... Ну, я ему тоже так не оставлю — начну платить по таксе, как все комиссары...»

И машинально потянулся к трубке.

— Алло! — крикнул он по московской привычке.

— Что за хайло?! — рывкнула трубка, и Аркашка подпрыгнул, узнав голос Семена Ивановича.

Если бы кто-нибудь в это время наблюдал Аркашу, он удивился бы, до чего быстро может менять свое выражение человеческое лицо, и как это бывает вообще забавно, когда, говоря по телефону, забывают, что собеседник не видит обворожительной улыбки, рассчитанной на дополнительное впечатление. И к чему бы улыбаться Аркаше сквозь сонную еще опухлость лица, и к чему бы щурить любезно изюмовые свои глаза, подтягивая свободной рукой спускающиеся кальсоны?..

— Доброго утра, Семен Иванович, — отвечал Аркаша, — ты не узнал меня, что ли? Это я, Пальчиков.

— Какой Зайчиков? — рокотала и верещала трубка.

— ...Комиссар, земельный комиссар, — пояснил Аркаша несколько растерянно.

— Какой, в гроба мать, комиссар?!

— Ну, инструктор губернский по социализации... — не находился Аркаша.

— Спекуляция, а не социализация!.. — гаркнула трубка. — Арестовать!.. Расстрелять!.. гроб, крест, в бочку...

Вместе с оглушительным треском и звоном в ухо Аркаше ударил такой подарок гнутых и перченых слов, что он отдернулся, как от ожога.

— Запой... — прошептал он и добавил, как бы в утешение себе, — ничего, пройдет...

Но бледность, быстро разлившаяся по лицу, и пот, выступивший на лбу, подсказывали ему другие, вовсе не утешительные мысли. Между тем трубка продолжала громко верещать, и Аркаша недоверчиво, как если бы это была ручная граната, поднес ее снова к уху. Блуждая глазами, поддергивая сползавшие кальсоны, он слушал, и медленно, в такт словам, зад его изогнулся влево, потом круто дернулся вниз, вправо, и пошел, и пошел крутить... Аркаша с болезненной улыбкой на лице, не отрываясь от трубки, едва успевал поправлять кальсоны...

— Постой, Семен Иванович... Обожди...—пробовал он перебить.

Но Семен Иванович не слушал и сыпал без остановки:

— Телеграммы отправлять!.. Я тебе покажу кузькину мать! Ты у меня юшкой чихнешь... Коммуны монашеские организовывать. Коинцидент, сукин сын... Шашни с Ванькой Хворовым... Кулачье отродье, бога, мать... К стенке!.. В подвал!.. Я тт-ебе...

... Аркаша отнял трубку от уха и медленно с великой осторожностью повесил ее на аппарат. Подозрительно оглянувшись вокруг лихорадочно потухшими глазами, словно для того, чтобы убедиться, что никто не подслушал, он прошел тихонько, подрагивая и подергиваясь на ходу, в свою комнату. Здесь он сел на кровать и надолго оцепенел, уставившись в пространство мутным взглядом. Потом обвел глазами комнату и стоявшие в ней вещи.

— Пропеллер, сэттен, пррропеллер... — бормотал он, наконец, белыми губами и стал медленно, как-будто удивленно одеваться.

Но вдруг бросил на полдороге одевание, с одной ногой в носке, с другой в сапоге, он схватил чемодан и принялся бешено-торопливо запихивать туда вещи.

— Найму, — мелькало у него в голове, — сотню рублей дам, по найму...

И он продолжал уминать строптивые вещи, рассовывая их то в чемодан, то в палаткинский казан. В эту минуту в комнату постучали, Аркаша присел за чемодан, не отвечая на стук. Потом, воровато хлопнув крышку, встал и заставил себя крикнуть:

— Войдите!

Дверь приотворилась, показался красногвардеец Гриша...

Если бы кто-нибудь, желая напугать, хлопнул над ухом Аркаши из пугача, он не добился бы такого впечатления, какое произвело появление добродушного широкорожего Гриши. «У меня губернский мандат!.. Вы за это ответите!..» — хотел крикнуть Аркаша, но только едва пошевелил непослушными губами.

— Я от товарища Палаткина, — сказал Гриша. — Товарищ Палаткин велел вас спросить, коли вам нравится какой-то казан...

— Д-да! — задохнулся от счастья Аркаша. — Да! Меня вчера

Чунников спрашивал. И я просил передать, что очень нравится, очень благодарен... Я все никак не могу повидать Михаила Ассинкритовича, он все так занят...

— Так Михаил Ассинкритович приказал передать, что, мол, пусть не беспокоится насчет тройки, это вы то-есть, чтобы не беспокоились, тройка готова. Вы куда-то ехать желали, так товарищ Палаткин велел передать, скажи, говорит, ему счастливого пути...

— Д-да! — отвечал Аркаша, — верно, я как раз собирался. Вот... Он одним взмахом отшвырнул крышку чемодана:

— Вот, даже вещи готовы... Да. А где, говорите, тройка? Дождается? Здесь? У ворот?.. Ну, вот здорово. Я сейчас, сейчас... Передайте Михаилу Ассинкритовичу благодарность. И вообще привет...

Гриша потеревил свою фуражку, оглянулся на окружающий беспорядок и вышел. Аркаша снова присел на этот раз прямо на пол, совершенно обессиленный. Но тут же вскочил и с измученным проворством забегал вокруг чемоданов, продолжая запикивать туда без разбора все, что попадало под руку.

— Слава богу, — приговаривал он, — слава богу, прррропеллер с'эт'ен прррропеллер...

В пять минут вещи были готовы. Обрывая себе кожу на ладонях, Аркаша увязывал их веревками, давил коленом, садился на них, даже прыгал, — плохо уложенное платье распирало бока. С той же бешеной торопливостью он натянул сапог на необутую ногу, напялил толстовку, пыльник, нахлобучил картуз и оглянулся. В комнате оставалась только стоявшая на окне банка с медом да кое-какие продукты, присланные... а чорт их знает кем.

— Прррропеллер с'эт'ен, прррропеллер, — повторял Аркаша с легкой тоской. — Вот и готово... Нет, этого взять нельзя... Это никуда не войдет.

Подхватив вещи, он бросился к двери, но тут словно споткнулся о новую мысль и сел на чемоданы. И не бойся он в эту минуту каждого лишнего шума, он взвизгнул бы благим матом:

— Никуда не поеду! Провокация! Ловушка! Они меня хотят без шума, как куренка, прямо туда, к Зискинду и Дыбовицкому, я знаю!..

Но он ограничился только тем, что горестно помахал рукой в ту сторону, где, по его мнению, должны были находиться Зискинд и Дыбовицкий. Потом, стараясь быть твердым, подумал: «Все равно, они и здесь меня найдут, лучше уж ехать, пусть уж лучше подвезут, чем пешком под конвоем... А может, и не ловушка?..»

Снова подхватив натруженными и трясушимися руками вещи, он вышел из комнаты и, крадучись, пробрался к выходу. Действительно, у ворот стояла тройка. Аркаша кое-как пристроил багаж и прыгнул в тарантас. Лошади тронули...

Никогда еще не злобился так Аркаша на медлительность земских троек, как в эти немногие минуты, пока ехали по городу. Каждый шаг выматывал из него душу.

— Да потрагивай ты, Христа ради! — взмолился он равнодушному ямщику.

Ямщик ни единым движением не отозвался на Аркашины страдания. И только тогда, когда миновали последние строения, начал накрапывать мелкий дождь, Аркаша перестал судорожно осматриваться по сторонам, напряженные мускулы его обмякли, раскисли, он глубоко облегченно вздохнул и весь сполз на сиденье.

Под поднятым кожаным верхом тарантаса было душно и пахло застарелым дорожным прахом. Полет ветра порой заносил в лицо дождевую пыль. Дорога осклизла, лошадиные копыта чавкали по грязи. На душе Аркаши было подло и скучно. Не то, чтобы он жалел о том, что покидает Белоспасск. Право! не весело ему жилось в этом городе, право, не сладко ждать, когда разразятся тучи, собравшиеся над ним. И сам Аркаша не раз уже подумывал, как унести благополучно ноги — даже роман с Соней не веселил. Но вынужденная быстрота отъезда ощущалась тяжелой обидой. Будущее рисовалось беспросветно неясным. Да, в губернии он об'яснит, что создались совершенно невозможные для работы условия, что не мог же он, конечно, продолжать несение обязанностей в обстановке полнейшей анархии. Но тут же вставали вопросы: а комиссарство? а протоколы ревкома? а землемеры, которые скоро возвратятся в губернию?.. Аркаша тихонько охал и качал головой:

«Нет, — думал он, — мне, пожалуй, не следует показываться в губернии, ничего путного из этого не выйдет. Поеду-ка я в Уральск или вообще на юг — и сытнее и зима помягче... Замазался — чего ж здесь отираться. Но как все же меня выпустили — непонятно! Это Палаткин, он не чета другим прост... И глуп.»

Догадка, осенившая тут Аркашу, заставила его приоткрыть от удивления рот. «Соня!..» — хотел он сказать, но тарантас тряхнуло на ухабе, Аркаша едва не прикусил язык и только пробормотал:

— Подумаешь, какие мордовские тонкости...

Потом мысль его скользнула в сторону — к банке с медом и оставленным в комнате припасам. Стало жалко, но опять подумалось, что взять с собой было невозможно, и тогда Аркаша пожалел лишь о том, что не догадался вылить в мед керосин из лампы.

— Ну, черт с ним, Чунников возьмет, я ему все равно за последний месяц еще не платил...

Дождь все моросил, вода, скоплавшаяся на пыльном фартуке, временами проливалась на Аркашу, но он не стремился защитить себя. Какое-то безразличие охватило его, верста за верстой он ехал в полудреме, не проявляя нетерпения, не думая о том, когда же будет ставка. Ямщик на козлах безропотно мокнул в своем чапане, колеса метали на крыльях тарантаса комья черной грязи, по обеим сторонам дороги лежали скошенные безлюдные поля — все было полно унылой скверны.

На ближайшей ставке Аркаше пришлось застрять в ожидании свободных лошадей, — все были разосланы или в Белоспасск, или на следующую, дальнюю ставку. Аркаша скучал, ругался со ставочником, потрясал своим мандатом, но делать было нечего, пришлось запастись трепением и вместо обеда пить теплое, пахнувшее навозом молоко. Только к шести часам вечера вернулась тройка из Белоспасска. Ставочник требовал для нее отдыха, не склонен был и Аркаша продолжать путь, на ночь глядя. Он поздно раскаялся в своей уступчивости — полчища клопов не давали сомкнуть глаз, а когда он решил, наконец, перейти на сеновал, его жестоко продуло.

Он выехал на рассвете иззябший, едва согретый горячим чаем. Утро было ясное, на крышах лежал ранний иней. Когда выехали в поля, этот иней тускло блестел сединой росы по жнивьям. Опять пошли версты, опять стал клевать Аркаша носом. Но вдруг тарантас закачался, повертывая, вылезая из глубоких колеи, послышались громкие голоса: «Стой, придержи лошадей!» — и он, очнувшись, увидел всадников в военном обмундировании, окруживших тарантас. За ними тянулся ряд троек и крестьянских телег, полных военными.

— Кто такой? Предъяви документы! — потребовал один из всадников.

Аркаша покорно, но с опаской вытащил свой мандат. Всадник посмотрел на него, с явным трудом разбирая содержание.

— Ну, слазьте, поговорите с начальником, — сказал он и сам, не доверяя Аркаше, передал мандат одному из седоков ближайшей тройки.

Аркаша подошел в тот момент, когда начальник, широкоплечий молодой человек в серой кепке, с очень узким, желтым лицом и светлыми медленными глазами, проверив подписи и печати документов, уже складывал их и прятал к себе в карман. Задав несколько вопросов о цели и назначении Аркашиной поездки, он сказал с легким нерусским акцентом:

— Вам придется вернуться с нами в Белоспасск.

— Но позвольте, — возразил Аркаша, страшаясь мысли попасть впросак, — мне совершенно необходимо быть в губернии... И... вы заставите меня опоздать на крайне важное совещание...

— Не беспокойтесь, я беру на себя ответственность за ваше опоздание.

— Я вас не знаю, — настаивал Аркаша.

— Я председатель чрезвычайной следственной комиссии, — последовал сухой ответ.

Вернувшись в свой тарантас и осторожно уткнувшись в угол, Аркаша думал:

«Ехать, так ехать, сказал попугай, когда его потащили за хвост... Я понял это с первого взгляда. Ну, что ж, будет бой, меня убьют, уж, конечно, так и будет...»

На большее он был неспособен — дорога и тревожения, неудобства бессонной ночи окончательно притупили его...

... В этот самый час в Белоспаске Соня Круглякова, напрасно прождав накануне Аркашу весь вечер, в страшном беспокойстве стучалась в двери его номера. Никто не отвечал. Соня, повернув ручку, нажала. Пустота и нежилой вид комнаты остановили ее на пороге. Она беспомощно и вопросительно оглядывалась вокруг. Потом прислонилась к стене, застыв в недоумении. Голос, раздавшийся за ее спиной, заставил ее вздрогнуть:

— Вы кого, барышня, ищите?!

Чунников выступил из коридора с глумливым, шутовским выражением слезящихся глаз и улыбки.

— Аркадия Степановича, — отвечала Соня растерянно.

— Ась?... Не дослышу я, барышня. Как вы изволили сказать?

— Аркадия Степановича, — повторила Соня громче, заливаясь краской.

— Вон кого! Ну, так, так... Был такой, как же, был... Только теперь-то нет его. Нет его здесь.

— Он арестован? — крикнула Соня.

— Арестован? Хи-хи-хи... Нет, зачем же... Скажут, право... арестован! Не арестован он, только нет его здесь, уехал он. Да. Теперь он, надо полагать, уж не в Белоспасской республике, а в какой-либо иной...

— Да не может этого быть! — вырвалось у Сони. — Куда он мог уехать? Когда?..

— Вчерась утром. А куда — неизвестно. Уехал и кланяться никому не велел. Мне один красногвардеец сказывал — сам Палаткин ему тройку предоставил, у него и спросите.

— Путаєте вы что-то... ошибаетесь вы! — с горестной настойчивостью повторяла Соня.

— Ась?.. Путаю? Чего ж мне путать, не вы первая, золотая барышня, красавица моя, тут уж двое приходили, цоврозь, конечно, вы счетом третья, все Аркадия Степановича спрашивают. А где же я его возьму, коли он уехал? Хи-хи-хи...

Чунников лгал с издевательским наслаждением и нарочито притворной жалостью, наблюдая, как высоко вздымается Сониная грудь. Соня отвернулась, молча глядя в окошко, и вдруг, не простившись, вышла из комнаты, все ускоряя шаг, под конец побежав и вместе со спазмом прорвавшегося всхлипа сильно хлопнув выходной дверью.

Чунников похабно улыбнулся, посмотрел ей вслед и сказал:

— Дошаталась... Эх, ты...

И добавил паскудное слово...

...Обратный путь Аркаша проделал не один. К нему, облегчая тяжело нагруженную телегу, подсел один из отделенных отряда. Несмотря на всю молчаливость спутника, Аркаше удалось выведать от него, что начальника отряда зовут Токко, из чего можно было заключить, что он финн. Выяснилось также, что отряд послан из губернии в Белоспасск вместо предполагавшейся отправки на фронт. Большого Аркаша от спутника добиться не мог и погрузился в обдумывание своего незадачливого положения, всю дорогу разбирая возможный ход следствия. Он был уверен только в одном, что дело не обойдется без его показаний, и всю свою изобретательность направил на то, чтобы не попасть из свидетелей в подследственные. Дороги нехватало на все мыслимые варианты — Аркаша под'езжал к Белоспасску не более готовый к ответу, чем в момент встречи с отрядом.

Было уже сильно за полдень. Ясный день, как золотой созревающий плод, уже готов был оторваться от напитавшей его земли и улететь вслед за уходящим солнцем. Город лежал вдалеке, словно рассыпанные чурки, кое-где сияя куполом церкви, крышей или окном. Отряд потихоньку подвигался вперед, все всматривались в даль. Токко, встав на тарантасе, поводил биноклем, затем отдал распоряжение, и несколько всадников рванулись вперед карьером, в то время как остальной отряд еще более замедлил движение. Стало тихо. Дальновзоркий Аркаша различил на мокшанском мосту черную массу, надо было думать, что это люди, быть может, всадники. Сердце его сжалось. «Ну, вот, сейчас начнется бой» — думал он, видя, что телеги с пулеметами разворачиваются по сторонам дороги.

Навстречу высланному авангарду от моста отделились подвижные черные точки. По мере приближения они становились похожи на черных жуков. Встреча произошла так далеко, что невозможно было различить и понять, какой оборот принимает дело. По знаку Токко отряд прибавил ходу. Попав в невольные участники всех маневров, Аркаша до боли напрягал глаза и слух, ожидая начала стычки. Одно его успокаивало — в городе не могло быть больше двадцати пяти—тридцати красногвардейцев, в отряде их было не меньше пятидесяти.

Вот стали различаться отдельные фигуры всадников на мосту, вот уже послышались голоса встретившихся и слившихся в одну кучу авангардов, вот они соединились с отрядом Токко, — а Аркаша, опереженный к его удовольствию почти всеми подводами, не мог понять — взяты ли в плен посланные от города парламентареры или они требуют разговора с начальником отряда, а затем возвращаются обратно.

Как после догадался Аркаша, разговор этот произошел на ходу. Отряд все ускорял движение и остановился только в трехстах шагах от моста. Отсюда уже можно было пересчитать не только всадников, неподвижными рядами поджидавших на мосту, но и отдельные пулеметы, стоявшие на том берегу Мокши. Токко сошел с тарантаса и пошел пешком к мосту. В это время защитники его молча двинулись навстречу. Токко остановился — всадники продолжали приближаться. На ходу они перестроились в один ряд и, перейдя в рысь, а потом в галоп, лавой понесли, выхватив из ножен сабли. Токко стоял не шелохнувшись. Только в последнюю минуту, когда передний всадник, в котором узнал Аркаша Барсова, готов был наскочить на него, он поднял вверх руку, пустую ладонь...

Аркаша зажмурил глаза. А когда, не дождавшись выстрелов, открыл, — всадники уже стояли как вкопанные, со стуком всовывая в ножны свои сабли и беспорядочно, шумно спешивались. Барсов оживленно разговаривал с Токко, указывая на мост. Там осталось трое — по светлому ряду перламутровых пуговиц на френче и по буланой лошади Аркаша признал в одном из них Палаткина. И по мере приближения отряда к мосту, все яснее было, что это действительно Палаткин, бледный, как известь, похудевший, как после тифа, обезоруженный и охраняемый двумя своими же красногвардейцами.

Город был занят в течение двадцати минут. Через полчаса к зданию исполкома двигалась колонна кожевников и дроворубов во главе с Хворовым. К ней по дороге присоединялись зеваки. Тут же в исполкомовском саду состоялся митинг, — лучшую речь произнес только-что освобожденный и заросший в тюрьме щетиной Зискинд. Выступал и Дыбовицкий, оказавшийся весьма взволнованным, но плохим оратором.

Семен Иванович при аресте бежал, во время обыска, через окно второго этажа и дальше через сады, где, несмотря на то, что был ранен выстрелом в ногу, скрылся. Арестованный у себя на квартире, Трунов утверждал, что предревкома окончившей существование Белоспасской республики последние три дня беспробудно пил, почему, очевидно, и не почувствовал боли от ранения.

XXXVII

В той самой камере старого белоспасского острога, где больше двух недель провел Зискинд, от скуки разрисовывая стены фальшивыми окнами и видами, развертывавшимися за этими окнами, был заключен теперь Палаткин.

Он лежал большую часть времени на койке навзничь, заложив под голову руки и глядя в потолок. Обед, приносимый ему из котла красногвардейского только-что переименованного в красноармейский отряда, оставался наполовину несъеденным. На ночь Палаткин не раздевался, на нем попрежнему были надеты желтые ботинки при шпорах, ременные перемычки поверх френча и даже примятая под козырьком фуражка — так, как на мосту в момент разоружения. Он словно не хотел верить, что жизнь движется с тех пор, как в ответ на его команду руки ближайших схватили его с двух сторон, а Барсов живо отстегнул револьвер и шашку. Он словно ни о чем не думал, ни о чем не вспоминал, как-будто полеживал от усталости, отдыхая по собственному желанию. Сменявшихся часовых спрашивал о погоде с таким видом, как если бы собирался сейчас выйти погулять или куда-нибудь съездить. За уборкой камеры следил с любопытством, казалось, в первый раз видя такое удивительное занятие.

Но он стремительно худел. Веки выпуклых глаз его быстро падали, острее становились скулы, улыбка — суше. Спал он очень мало днем, по ночам, повидимому, не смыкал глаз, и все реже подавался он зискиндовской фантазии, расцветившей стену пейзажами, все упорнее, неотрывнее смотрел в потолок.

На первом допросе он был очень краток в своих ответах, отвечал молчанием на попытку комиссии перевести разговор в плоскость общеполитическую, ограничиваясь только освещением местных событий. Вину свою признавал безоговорочно. Известие о ранении Семена Ивановича не произвело на него никакого внешнего впечатления. Окончание допроса было отложено за поздним временем.

На следующий день, войдя в камеру, Хворов застал его лежащим. Здороваясь, Палаткин приподнялся, но тут же опять лег.

— Спишь? — спросил Хворов, садясь на табурет подле койки.

— Сплю, — отвечал Палаткин, отыскав и остановившись взглядом на облюбованной точке потолка.

Хворов с минуту смотрел на него молча и, оценив видимое нерасположение его к разговорам, всхрипнул сварливо:

— Миша, ты со мной не кукись, как на допросе, не позволю я тебе этого. Я тебе сейчас не предисполкома и не член следственной комиссии, а друг, дядя Ваня, как ты меня величал... Ну, и не форси — сам, мол, ответ несуй...

— Я и не форшу — с чего ты взял? А ответ, верно, сам несуй, ни на кого не киваю.

Палаткин отвечал равнодушно и упрямо.

— Неверно это, — произнес Хворов как мог энергичнее. — Ты свою вину признал — хорошо, но это полдела, не это от тебя требуется. Ты сделай так, чтобы самое раскаяние твое пошло на пользу не только тебе. Мы знаем, что ты виноват, иначе бы не попал под суд. Ты говоришь — я виноват, и дело с концом, судите меня... А должен ты сам себя судить. Вот если ты так помотришь на свое дело, то не станешь упираться на огульном признании своей вины, точно скажешь, в чем она. А то сейчас у тебя выходит так, что ты постольку виноват, поскольку наша верх взяла... Так ли?

Палаткин молча покосился глазами и закрыл их.

— А я тебе скажу, — осторожно выбирал слова Хворов, — что не один ты виноват, а все мы виноваты, не говоря уж о Семене и Трунове — и я в том числе. Сейчас скажу в чем. Если бы — так я считаю — я с тобой больше разговаривал, чаще бы мы с тобой по душам беседовали, то не получилось бы так, не отдал бы я тебя Семену ни в каком разе...

— Верно, нашел маленького, — насмешливо отозвался Палаткин, не открывая глаз.

— Маленький ты или нет, — спокойно возразил Хворов, — а видел я побольше тебя и партийную публику знаю получше. Ты пришел к партии с одной боевой подготовкой, пришел тогда, когда сама партия пришла к власти. Настоящей рабочей закваски в тебе нет, да и не может быть, ты еще сосунком был, когда пролетариат формировал свою партию. Я тебя старше и годами и опытом, почему и виноват, что не постарался на тебя по-товарищески влиять. А Семен елиал, это ему надо в заслугу поставить, умеет он влиять в особенности на тех, кто его мало знает. Я тут не могу итти ни в какое сравнение с Семеном: где я одно слово скажу — он уж десять. И не стесняется ничем, никакой демагогией. Но речь не о его грехах, а о моих. Я вот хочу больше дела, делом заниматься и, случается, забываю, что слово — то же дело. Агитировать не умею, вот в чем моя беда...

— Оно и видно! — снова приоткрыл на минуту глаза Палаткин. Хворов хитро улыбнулся и, подавив улыбку, сказал:

— Я тебя не агитирую...

— А кто ребят моих разагитировал?

— Вы же сами своей политикой. Ребята не дураки, сообразили, куда вы загнули.

— А дроворубы? А телеграммы кто слал в губернию? А кто губ-исполком наставил?..

— Какая же это агитация?..

— Хитер ты, дядя Ваня! — поднялся на койке и погрозил пальцем Палаткин. — Хитер. Ты гнул свою линию еще до всей нашей, как ты ее зовешь, склочеспублики. Мне говорил Семен, что в губернии на наших делегатов как на чумных смотрели. Ты сам его толкнул на анархию... Ты знаешь, что тебя хотели арестовать еще до объявления республики?..

— Ну и что ж! То же и было бы.

— Было бы еще хуже, — пробормотал Палаткин.

Он сидел теперь на койке, облокотившись на колени и подпирая руками голову. Разговор волновал его мало-по-малу все больше.

— Иначе действовать я не мог — сказал Хворов. — Пора было навести и у нас порядок. Почему же вы меня не арестовали? Ты что ли был против!

— Я был против, — тихо признался Палаткин.

— Скажи на допросе.

— Что — допрос!..

Палаткин махнул рукой и оглянулся с каким-то отчаянием. Хворов не спускал с него глаз.

— Миша, — сказал он, — я хочу тебе рассказать об одном случае. Запомнился он мне... Было это в Москве, еще до войны. Шел я в Сокольники, к себе, жил там тогда. Шел с работы, усталый. Вдруг гляжу — помнишь, мост там такой, железнодорожный? — так под этим мостом провозят котел паровой. Этакая махина — не проходит, цепляет верхом за ферму. Корабельный что ли?.. Пришлось его снимать с платформы домкратами и волоком на катках протаскивать под мостом. Когда я подошел, его уже снова грузили на платформу. Платформа — честь-честью, на стальных осях, на литых колесах, а впряжены в нее счетом тридцать три битюга, одиннадцать троек. Да... Остановился я, любопытно, как его повезут. Надо бы домой итти, а любопытно. И очень уж я люблю тяжелых жеребцов. Шеи, понимаешь, что твой окорок, крупы раздвоенные, словно их из широкого камня сляпали, а почует кобылу — заржет, как чорт в кадучке захочет: и-го-го-го-го... Вот, прикрутили котел канатами, толщиной в руку, отошли рабочие в сторонку, подошли ямщики ломовые, каждый к своей тройке, и еще один, над ними старший. Излишне мне показалось, зачем на каждую тройку по ямщику? Зачем лишний расход? Поставили бы ну, двух, ну, трех — и довольно. Спрашиваю я старшего: зачем, мол, тратитесь зря? Я, конечно, понимаю, что подрядчик зря тратиться не станет, что, может, вопрос-то мой — смешной, но не могу пройти не спрося. Тут мне старший и объясняет: если, говорит, не будет на каждую тройку по ямщику, то тронут вразброд, и уж тогда ничем не заставишь лошадей взять тяжесть — изверятся, потеряют доверие к своим силам... Ну, ладно, сказал он мне это — стали трогать. Подошли ямщики все к своим тройкам, дослали лошадей, чтобы натянулись постромки, как старший крикнет: ххо... о, пошел!.. Как все подхватят: — ххо... пошел!.. Покачнулся котел и пополз потихоньку, битюги ступают, как по паркету, даже и не

придет в голову, какая сила нужна тянуть эту махину. А впереди идет под широкой дугой коренник — ах, какой красавец, так сурьезно и гордо головой с каждым шагом кивает, расцеловал бы его!

Хворов замолчал. Палаткин посмотрел на него мутным взглядом.

— Миша! — сказал Хворов тихо и тронул его колено.

Палаткин торопливо расстегнул ворот френча.

— Миша!.. — повторил Хворов. — Ты сам ходил в коренниках революции...

— Эх! — простонал Палаткин и одним движением оборвал все перламутровые пуговицы френча донизу. — Не мути ты меня, дядя Ваня... Эх!

Он сорвал с себя фуражку и изо всех сил шмякнул ее об пол. Потом схватился за голову, словно и голову хотел так же сорвать и шмякнуть о землю. Глухо урча, он покачивался теперь, мямля руки одну за другой так, что они трещали в суставах, запуская пальцы в волосы и упорно скрывал лицо. Хворов выжидательно смотрел на него и, заметив, что в пальцах его остаются клочки вырванных волос, сказал:

— Будет тебе убиваться. Сделанного не воротишь, давай думать, как поправить.

— Поправить?.. Эх, дядя Ваня...

Палаткин поднял лицо, исцарапанное и смятое крепким захватом пальцев. Нелегкие слезы, втертые кулаками в покрасневшую кожу, блестели тусклыми полосами.

— Плохо вы все понимаете о Палаткине... Плохо ты понимаешь, что у меня было со всем соединено. Ты так рассуждаешь, что, мол, Палаткин потеет, землю пашет — где положит борозду, а где и вырвется у него соха... Ну, ничего, поправится, пойдет потеть дальше... Эх!

Глядя куда-то вбок, он тряс головой и прерывал себя такими ударами кулака по колену, что кулак разлетался, но он продолжал ожесточенно бить, не чувствуя боли, а может быть, наслаждаясь ею. Губы его дрожали, он шевелил ими беззвучно и снова вскрикивал:

— А я!.. Я с тех пор, как ушел из дома, я и не жил, а только красовался жизнью. С тех московских боев я, как на колокольне, когда парнишкой в пасхальную неделю лазил... Не слышу ничего, только звон у меня в груди стоит... Так вся грудь и дрожит... И что делаю — не знаю, а знаю, что все на меня смотрят, и значит дело делаю и очень хорошо перед трудящимся народом красуюсь и очень нужно все делаю... Словно не я думаю, и грудь все время дрожит... Что вы со мной сделали?! А?!. Вы меня посекали!.. Вы меня с колокольни стащили, и уж звона нет, а у меня все в груди дрожит...

Он схватил руку Хворова с такой силой, как-будто хотел расплющить, сорвал с нее что-то невидимое, так что щелкнули пальцы, и снова схватился за голову.

— Кто сделал-то, Миша? — мягко спросил Хворов.

— Вы, вы все, товарищи мои родные, вы меня голого посекали... Ты говоришь — поправить. Да разве можно человеку свой хребет поправить? Коренник... Нет, не коренник я, а пристяжная, ты мне не сласти... Со слепу я загребал... Эх! Ты вот — коренник, это да...

— Ну, стой, Миша,— заговорил Хворов.— Ты не тоскуй. То ли бывает, то ли еще будет. Это к слову сказать. А к делу — не так ты, я вижу, понял меня. Не суть в том, коренник или пристяжная, — один воз везем. А в том суть, чтоб не вразброд, чтоб не надорваться, чтоб никто не терял веры из-за того, что рванул не во-время. Мы люди, не лошади, живем головой, но и у нас есть нутро, которое надо

беречь от надрыва. Со всеми не надорвешься, а дал промашку — сумей понять, что от своей же глупости. Значит, дело поправимое. На этом бруске и точимся все, так нас и разбрасывает — кого направо, кого налево. Всем до единого приходится думать — с возом или своим чудным путем. А впрягся в воз, так уж приходится тебе свой норов оставить, переделать его под общий норов. Так все и делается и переделывается. Эсеры, вон, называют социализацию земли черным переделом. А это — черный передел людей, душ, мозгов человеческих. Читал я — землемеры произошли из страны Египта. Там река такая есть, Нил, что ли, так очень уж сильно разливается. Понанесет ила на поля — все межи сотрет, смочет. Вот и приходится каждый раз наново делить землю. Издавна это так, спокон веков, потому и землемерия оттуда пошла, прежде всего там народилась. А у нас сейчас такой разлив — небывалый, необыкновенный. Где уже межи — все валит и рушит! Так гляди в оба за новыми межами, их ставит человек занятой, трудящийся...

Палаткин, казалось, не слушал — он все смотрел в сторону воспаленными, отчаянными глазами и тихо повторял:

— С этим у меня все соединено... А вы — посекали...

Хворов начинал досадовать.

— Судите меня! — вдруг крикнул Палаткин с упрямой запальчивой силой. — Судите! Заслужил я всего...

— Ты, Миша, подумай, — сказал тогда строго Хворов, поднимаясь с места, — подумай насчет нашего разговора. Судить мы тебя будем, конечно, по-товарищески. Но и ты себя чистосердечно на допросе покажи.

— Отшибли вы мне нутро, — пробормотал Палаткин.

— Не надо ли тебе чего?

Палаткин посмотрел на него отсутствующим взглядом.

— А? Нет... Или, стой... Пришли ко мне брата Пашку. Пришлешь? Не ем я что-то, квасу бы он мне принес. Он, Пашка-то, у меня в номере.

— Пришло, пришло, — говорил Хворов, прощаясь.

Он ушел с неловким чувством. Как-то нехорошо было итти навещать, но еще хуже — уходить. По дороге думал о том, как бы еще ободрить и, придя домой, нашел — отправил с Пашей Палаткиным записку:

«Миша, не сдавай! Только-что телеграмма пришла: Семена задержали на пристани Ватажка. Его-то и будем судить. Бывай здоров. Хворов Иван».

Михаил Ассинкритович мельком лишь взглянул на записку, сразу отвел брата подальше от двери и на ухо ему заказал что-то принести. Услышав о револьвере, Паша — подросток со скрытым лицом, гораздо более близким к мордовскому типу, чем брат, — спросил хмуро и коротко:

— Отбиваться будешь!

Старший кивнул головой.

— Отобьюсь. Так не дамся.

Больше Паша ни о чем не спрашивал, постоял с минуту в раздумье.

— Ступай, ступай, — торопил старший. — А то сменится часовой, может, и не пропустят тебя.

Паша исчез. Михаил Ассинкритович повалился на койку и лежал неподвижно вплоть до его прихода, напрягая слух. Через полчаса Паша вернулся с караваем белого хлеба и четвертью кваса. Михаил Ассинкритович принял все это на глазах у часового и тут же отправил брата к себе в Мотызлей.

— Поклонись жене Дарье Акимовне, — наказывал он. — Дяде Дорону особый поклон, передашь ему мои сапоги...

— Папаньке-то что сказать? — хмуро напомнил Паша.

— Ничего... Ничего. Только расскажешь, как есть, как меня видишь... Да вот еще зайдешь тут, в городе, отдашь книги, что в номере, в красном углу. Адрес сейчас тебе дам, напишу. Спросишь прохожих...

И, передав адрес, Михаил Ассинкритович выпроводил брата сдним словом:

— Счастливо...

Затем опять лег на койку и выждал время, когда по его расчетам брат должен был отойти от города верст на пять. Тогда, отвернув корку пшеничного каравая и достав из-под нее маленький браунинг, он снял с себя френч, обернул голову, лег снова на койку и, старательным движением вставив ствол в рот, выстрелил.

Расчет оказался правильным: обратный толчок газов далеко отбросил револьвер, выскользнувший из вскинутой руки, но тугую обернутую черепную коробку сорвать не смог.

XXXVIII

Похороны Палаткина состоялись через два дня. Было решено не придавать им характера общественного события. Хоронил белоспаский отряд красногвардейцев да отдельные граждане, пожелавшие проводить тело до кладбища. Мало-по-малу к похоронной процессии присоединялись один за другим лично знавшие Палаткина работники исполкома да прохожие, любопытствовавшие — как это хоронят без попа. Процессия растянулась по дороге к кладбищу. Примкнул к ней и Аркаша в тайной надежде встретить Хворова и поговорить во внеслужебной обстановке наедине. Случая остаться с глазу на глаз до сих пор не представлялось — Хворов был занят бесконечными совещаниями и заседаниями, у него всегда толпился незнакомый Аркаше народ, а Зинаида, сохранившая место за секретарским столом, не хотела теперь палец о палец ударить, чтобы устроить Аркаше прием.

День был бессолнечный, но сухой и светлый. По осеннему небу холодным паром сквозил легкий купол сплошных облаков. По временам ветер осыпал на людей осиновые мертвые листья. Раздумывая об устройстве своей судьбы, Аркаша шел в толпе один и не хотел ни к кому присоединяться, хотя и видел много знакомых лиц. Мелькнула голова Зинаиды, он решил спросить ее о настроении Хворова, но тут же увидел, что она не одна: под руку с ней шла Соня Круглякова, шла и смотрела на него широко открытыми глазами. Аркаша заулыбался и поклонился. Сонины глаза остались неподвижными, словно невидящими. Аркаша подумал, что, может быть, она и в самом деле не заметила его от рассеянной задумчивости. Он заулыбался сильнее и несколько раз кивнул головой. Ресницы Сони дрогнули от изумления и, как показалось Аркаше, от легкого скорбного пренебрежения, она сразу оторвала свой взгляд и затем уже отвела чуть побледневшее лицо. Он быстро оглянулся по сторонам — случившегося никто не заметил, кроме Зинаиды, следившей за Аркашей с холодным любопытством. Но Аркаша поспешил отойти подальше, думая:

«Так вот оно что — спелись девицы!.. От Зинаиды трудно было ожидать такого свинства, она до сих пор славилась тем, что обходится без подруг. Но, впрочем, — чорт с ними...»

Мысли его сразу и очень искренне вернулись к тому, что было теперь постоянным предметом его внимания.

«Не в том дело, — повторял он себе, — что я из комиссаров попал опять в инструктора по социализации да еще под начальство к Балалаеву. Хорошо уж и то, что оставили меня в покое... Но надо же выяснить отношения! Балалаев — временно, сегодня — он, а завтра еще кто-нибудь. Посадят какого-нибудь Побратимова, — вот и толкуй Захар с пьяной бабой... Характерно: со мной даже не думают советоваться, словно я не представитель губернии. Ведь я же в свое время телеграфировал о начавшейся анархии. Нет, обязательно надо выяснить отношения...»

Аркаша, впрочем, затруднялся определить, с чего он начнет разговор с Хворовым. Но события, последовавшие вслед за концом Белоспасской республики, были ему непонятны, тревожили его своей непонятностью.

Отряд Токко занял большое помещение того самого трактира, в котором Аркаша пообедал первый раз по приезду в Белоспасск. Стало известно, что отряд не собирается оставаться в городе навсего, что он развертывается в полк для отправки на фронт: была объявлена мобилизация бывших фронтовиков. Командиром полка был назначен Дорофеев, комиссаром его — Барсов. Обмундирование, над отсутствием которого хихикали городские скептики, нашлось очень быстро и просто — оказалось, что белоспасские монастыри хранили в своих подвалах и складах такое количество сукон, полушубков, чесанок и сапог, какого хватило бы на формирование целой бригады. Заборы городских садов и вековые вязы по Митрофаньевской улице покрылись серией газет и воззваний. Сквозь них проступил и как-то вдруг придвинулся фронт гражданской войны. Люди собирались кучками возле заляпанных клейстером листов, толковали то спокойно, то вдруг закипятившись, среди них громче, увереннее других звучали голоса сплавщиков и кожевников.

В помещениях исполкома в разговорах советских служащих часто произносились фамилии Глушкова, Сельденкова, Смольцова — их называли новыми кандидатами в исполком. Называли и других — все они были незнакомы Аркаше и как-будто возникали из ничего. По крайней мере, такво было его ощущение. Не то чтобы он относился с уважением к кому-нибудь из старого состава исполкома, но он узнал их в свое время уже сложившимися величинами. Вот почему теперь, встретив даже вполне ничтожного и оставшегося не у дел Будилина, Аркаша с чувством жал его руку, если встреча происходила без свидетелей, — при других он ограничивался кивком головы. Новых кандидатов Аркаша старался до времени не замечать, обходил их стороной. Но нашествие их уже давало себя чувствовать: то дверь украшалась новой надписью «тов Сельденков», то Зинаида, к которой обращался Аркаша по встретившейся надобности, отсылала его для резолюции к Глушкову. Аркашу это бесконечно раздражало.

Немало раздражало его и другое. У него складывалось ощущение, что не только все эти «возникшие» вокруг Хворова люди обходят и не замечают его, Аркаши, но что сам Хворов, завидев его издалека, торопливо сгонял со своего лица улыбку рабочего оживления и, как-то скучно пожав ему руку, спешил отвлечься неотложным делом.

«Председатель чрезвычайной тройки... — каждый раз внушал себе при этом Аркаша. — Интересуется происхождением живой клетки на земле. В свое время ставил какую-то ставку на Пальчикова, увязался со мной в Вонищи... Ничего, вы все еще придете к Пальчикову, попроситесь...»

Тут Аркаша всегда желал улыбнуться с достоинством и как ни в чем не бывало. Но в конце концов от этих мыслей оставалось обидное чувство заброшенности, забытости. После одной из таких встреч он и отправил папаше телеграмму: «Воздержитесь приездом».

И еще настойчивее стал понукать себя:

— Надо выяснить отношения...

Но ничто этому не способствовало. И сейчас, на похоронах Палаткина, Аркаша начинал терять терпение. Много раз он беспокойно осматривался по сторонам, оглядывался назад, но ничто, в конце концов, не убеждало его, что Хворов исполнит обещание, брошенное им в здании совета Дыбовицкому:

— Ступайте, ступайте, я вас догоню.

На том перекрестке, где дорога делилась, уходя прямо к кладбищу под крепостной горой и налево к примокшанским садам, Аркаша заметил, что Дыбовицкий, шагавший до сего времени молча среди двух «вновь возникших», отстал от похоронной процессии и повернул налево. Аркаша проворно вышел из рядов и, поровнявшись, схватил его за рукав камзола.

— Виктор Яковлевич, — как можно любезнее начал он, — вы не знаете, Иван Иванович наверное будет на похоронах? Я слышал, он вам говорил, что нагонит, а его все нет...

— Он и не собирался, интели, откуда вы взяли?

Дыбовицкий отвечал с неприятным изумлением, порываясь продолжить свой путь.

— Но он же вам говорил, — настаивал Аркаша.

— Не туда, совсем не туда — в больницу!.. — досадовал Дыбовицкий, стараясь освободить рукав.

— Зачем в больницу? — еще крепче держал Аркаша.

— Евлампий там... из Раменья... да пустите же, чего вы вцепились?.. Да, интели — до свидания.

Вырывавшийся с каждым словом Дыбовицкий сильно дернулся, поправил на носу пенснэ, покраснел и заспешил своей дорогой.

— Юродивый... — пробормотал Аркаша, оставшись стоять на месте. — И чего злитесь?..

Он решил ожидать Хворова тут же, на перекрестке. Присев на какое-то бревно, Аркаша повел глазами: было пустынно. По одной дороге медленно подвигалась к горе черная толпа хоронивших, по другой торопливо удалялась короткая и смешная фигура Дыбовицкого. Со стороны города брело несколько одиноких прохожих. Аркаша стал терпеливо всматриваться, ловя ухом трепещущий пролет ветра сквозь готовые оторваться листья придорожных осин.

Первым появился веселый шотландский сеттер. Радуюсь бодрому, свежему дню, он пружинил на бегу, кивал большой ласковой головой и мотал длинными шелковистыми ушами. Аркаша почмокал и похлопал себя по ноге, маня собаку. Но сеттер, проплясав несколько раз вокруг, повернул к горе и помчался, так и не дав себя приласкать. Издалека послышался свист и тонкий зов:

— Джэрс, Джэрс!.. Сюда!

Аркаша узнал Федорова. Он был как всегда при бинокле, висевшем через плечо широкого пальто фасона «автомобиль».

— Посиживаете? — спросил Федоров, раскланиваясь и не проявляя намерения остановиться.

— А вы — прогуливаетесь? — отвечал Аркаша вопросом и посмотрел в сторону горы.

— Да, иду посмотреть родное гнездо... Теперь листва осыпается, кое-что видно сквозь лес — не горит ли?.. Джэрс, сюда!

Он прошел, опираясь на тоненький альпеншток.

Аркаше некогда было исправить кривую усмешку, с которой он посмотрел вслед Федорову, обдумывая острое да так и недавшее словечко, — оглянувшись на шум донесенных ветром тяжелых шагов, он увидел мчавшегося, как всегда иноходью, облическим движением — в восьмую оборота к направлению — Хворова — Ты что хоронить нейдешь? — всхрипнул тот мимоходом.

Аркаша вскочил с бревна.

— Мне с тобой, Иван Иванович, поговорить надо, давно дожидаюсь.

— А? Ну, говори, говори, — не уменьшал Хворов своего шага. — Я вот тороплюсь к товарищу — помирает...

Аркаша припустился вслед. Несколько шагов прошли молча.

— В чем дело? — спросил Хворов и, достав из бокового кармана толстую пачку бумаг, стал на ходу просматривать ее.

— Да вот, — начал Аркаша, глядя на эту же пачку, — надо бы выяснить отношения...

— Какие отношения?..

Быстрая ходьба, хворовская иноходь, бумаги, которые он перевортывал в руках, чрезвычайно затрудняли разговор. Аркаша мялся, не находил слов и взглядом перебегал с бумаг на оставшийся до больницы путь.

— Я относительно работы, — снова начал он. — Вот я, исполняя обязанности губернского инструктора, вижу, что не вполне все ладно у нас, в самом аппарате земельного отдела...

— Ты о Балалаеве, что ли?

— Нет... То-есть не совсем. Он, конечно, знающий землемер... Хворов сложил и стал засовывать бумаги в карман.

— Верно. Но вами теперь другой будет заворачивать. Есть уже постановление. Все в порядке.

— Вот и отлично,—дождался Аркаша случая обрадоваться.—Я... И осекся.

Дорога уже подходила к воротам в больничный сад. Хворов замедлял шаги с тем, чтобы распрощаться тут же. Заметив это, Аркаша выдавил наконец из себя со всевозможной беспечностью:

— Там у меня между прочим есть заявление одно. В ячейке. Насчет...

— Да, знаю, — перебил Хворов. — Они все будут пересматриваться.

— Очень великолепно! — пустым восторгом прозвучал Аркаша. — Так я вот хотел выяснить — как твое отношение?

Хворов уже остановился и, потерев челюстью о воротник, чуть вкось, но неподвижно глядел во влажные изюмовые Аркашины глаза.

— Вообще — удовлетворительное, а по этому случаю — не очень.

— Как понять? — спросил Аркаша, слегка меняясь в лице.

— Буду против.

Оба помолчали, продолжая смотреть друг другу в глаза. Ветер хлопнул тяжелой створой ворот и засыпал сад мелким шумом. Хворов отвернулся в ту сторону, к тому концу ограды, из-за которого вместе с порывом ветра показалась большая толпа людей. Аркаша выждал с полминуты и сказал угрюмо, но нерешительно:

— Так я лучше уеду, Иван Иванович.

Хворов не отвечал, всматриваясь в толпу. Невольно посмотрел туда и Аркаша. Шла колонна привыкших к ходьбе в ногу разно-

мастно одетых людей. У каждого в руках был узелок, топорщившийся ломтями хлеба и кружкой. Лица были полны спокойствия особенной военной бывалости. Впереди шел, придерживая рукой шапку, красногвардеец Дякин.

— Мобилизованные, — проговорил Хворов. — Должно быть из Мотызлея...

Толпа надвигалась.

— Так поезжай, Аркаша, поезжай, — вдруг продолжил Хворов очень деловито и оживленно.

Толпа нарастала вместе с нараставшей силой ветра. В больничном саду слышался треск ломаемых сучьев. Шел кто-то огромный, пригибавший землю, сотрясавший деревья.

Аркаша явственно вспомнил тот солнечный день, когда он, только-что приехав в Белоспасск, забрел в Чунниковский сад, вспомнил налетевший тогда внезапный и короткий вихрь, почти смерч, бестолковый, странный, закруживший листву, заломивший сучья и сгнувший бесследно. По спине Аркаши так же, как тогда, пробежал легкий озноб...

Но сейчас ветер был иной — шедший на Белоспасск непрерывной сплошной полосой, все в одну сторону, подметавший и уносивший с собой все отжившее, захвативший по осени всю ширину огромной страны.

Спор эпох

Очерк

ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ

I

Замыкая с трех сторон небольшую площадь Регистан, подымаются над путаницей кривых переулочков, над ласточкиными гнездами плоскокрыших глинобитных домиков великолепные изразцовые громады трех медресе: Улуг-бека, Тилля-Кари и Шир-дор. Голубые, лазурные, ультрамариновые, бирюзово-зеленые, фиолетовые, малиновые изразцы, слагающиеся то в звездную россыпь беспредметного орнамента, то в узорную вязь арабского алфавита, то в просторные угловатые литеры древнего куфического письма, во многих местах осыпались с фронтонов; растрескались алебастровые розетки оконных решеток, гармонию узора которых не в силах выразить никакая математическая формула; один из минаретов, величиною в главную трубу металлургического завода, висит под углом в 45 градусов, схваченный железным корсетом и придержанный стальными тросами. Но несмотря на эту изветшалость, на раны, нанесенные пятью столетиями зноя, ветра, землетрясений и государственной нищеты, без труда можно вообразить первоначальный блеск этих изумительных зданий и оправдать цветистого поэта, написавшего на фронтоне Шир-дора, что «небеса прикусили палец изумления», увидав их.

Эти здания—символ. Символ хищной диктатуры Тимура и его преемников, умевших из нищеты завоеванных и рабства подданных извлекать наслаждение, художество и славу. Дехканину надо было до кровавых мозолей натирать омачем ладони и наживать наследственное узкогрудие и малокровие; горожанину приходилось задыхаться в серебряной пыли самаркандских переулков, мерзнуть зимою в неотопливаемых тонкостенных домиках; и тому, и другому хоронить детей, уносимых тифом, дизентерией, оспой. Ибо эмиры и ханы, воздвигая на зависть Багдаду мавзолей и на удивление Тегерану медресе, оставляли узбеку из его каторжного труда на сожженной земле столько лишь, сколько хватало на горсть урюка и на лепешку из серой муки. Остальное расцветало лазурью и киноварью на зданиях, книгах, тканях...

Но медресе—и названные, и другие—были не только декорацией величия чалмоносных владык. Они были духовными центрами, откуда выходили пропагандисты Корана, толкователи Сунн и комментаторы Авицены и Аверроеса. И—поэты, певцы исконного благочестия, классического наслаждения и традиционного героизма. Великолепие зданий усугубляло в глазах массы значительность их питомцев.

Вы входите через узкий проход, пробитый в развернутой на двадцать метров в ширину арке фронтона, и попадаете во внутренний двор.

Изнутри медресе—целая крепость. Высокие, огромной толщины стены отделяют двор от внешнего мира. Вдоль стен, обращенных к площади и улицам сплошными изразцовыми плоскостями или декоративными арками, изнутри в два яруса кельи, где обитали когда-то студенты этих академий и их мударисы—профессора. Посередине двора—восьмигранный бассейн, теперь пересохший, редкие деревья. Резко сверкает под солнцем одна сторона двора и построек, и в резкой тени лежит другая. Тишина абсолютная. И ясной становится здесь, в этой цитадели, та каменная отгороженность, опора власти, которую блюли духовные владыки.

Теперь медресе пусты. В кельях живут случайные обыватели, которым комитет по охране старины, нуждающийся в средствах, дешево сдает неудобную их жилплощадь; в молитвенных залах по большим праздникам еще собираются верующие,—обыкновенно же сидят, обратясь к Мекке, один-другой мулла; изредка заходят европейцы оставить в равнодушной памяти смутный очерк орнамента и лепки, а поперек терпеливого орнамента, карандашом—свой автограф с поросычьей завитушкой росчерка. Впрочем, в Шир-доре по вечерам гремит рояль, ухает бубен, бряцает дутар или ут,—старинная арайская лютня: там музыкальный институт. Единственное живое место.

Но в расстоянии километра от Регистана, вдоль прекрасного бульвара, совсем другое. На одном участке солидное, но достаточно казенное здание бывшей гимназии; дальше, минуя несколько домов,—сумятица, пыль, скрежет и трескотня стройки: штабеля досок и бревен, кирпича и тавровых балок. Из лесов вытарчивается четырехэтажный серый бок тоже солидного и—увы!—тоже довольно казенного дома; половина уже застеклена, отделана изнутри и обставлена, но попадать туда приходится, огибая известковые ямы, прыгая по ребрам еще не настланных полов и увертываясь от душа из штукатурки, которым вас щедро кропят веселые ребята, висящие в люльках у потолков. Еще дальше—огромный двор, застроенный одноэтажными домиками. Весь квартал кишит молодежью: юноши в европейских костюмах, но с пестрыми тюрбетейками на головах; девушки—пестря порою узорчатой шалью. Это—педагогическая академия, ее аудитории, лаборатории, кабинеты, общежитие студентов, но здесь и рабфак и вечерний рабочий университет. С семи часов утра и до одиннадцати вечера не умолкает жизнь, раздаются лекции, шипят реактивы, вспыхивают молнии, рожденные саженой катушкой Румкорфа, звучат узбекские песни в студенческом клубе, тархтят молотки строителей, стучают малокалиберные винтовки стрелкового кружка.

Академия, три года назад бывшая заморышем и ютившаяся в нескольких комнатах, развертывается с быстротой распускающегося цветка. Узбекистан, знающий, что такое темнота, не жалеет денег на народное образование и на учреждения Наркомпроса расходует втрое больше (относительно), чем РСФСР.

И—вокруг нее нет изразцовых стен медресе. Сюда запросто заходит председатель Совнаркома Файзулла Ходжаев рассказать студентам и профессорам о пятилетке Узбекистана или поздравить сверкающих радостью выпускников; сюда приходит учитель из начальной школы за методической инструкцией; отсюда мобилизуют студентов в культпоход или на посевную кампанию; отсюда, в по-

рядке соревнования кафедр, профессора идут в рабочие клубы и в штабы культпохода; в актовом зале академии происходят заседания общества поэтов «Кзыл-Калям», вечера смычки с артистами национального театра. Жизнь стучится во все окна и двери академии, и студенческая масса во главе с профессорами чутко вибрирует в ответ. В отличие от былых установок студенческая работа не изолируется «на время прохождения курса», а немедленно проецируется в практику: в Самарканде множество начальных и средних школ, курсов и техникумов, и студенты обслуживают их наряду с квалифицированными педагогами. Нормальный трудовой день студента девять часов, но фактически нагрузка значительно больше, тем более, что многие студенты ведут литературную работу в газетах, в УзГизе, в центральном комитете НУА (нового узбекского алфавита), а некоторые вдобавок готовятся к аспирантуре, работают при исследовательских кафедрах академии и т. д.

Все это требует полного и, пожалуй, чрезмерного напряжения сил. Но стоит посмотреть на студенческие занятия, чтобы убедиться в той радости, с которой напрягаются эти силы. Лекции идут на русском языке; пособиями и справочниками приходится пользоваться русскими. При резкой структурной разнице языков, при различии в самом складе восточного и европейского мышления, узбекскому студенту приходится преодолевать такие трудности, которые и не снились его русскому или украинскому товарищу. И при этом на лекциях напряженнейшее внимание, живое участие в развертываемом с кафедры предмете: вопросы и недоумения, с которыми порою обращается аудитория к профессору, обычно умны и остры, обычно хорошо скомбинированы с полученными ранее сведениями. Профессора академии многократно подчеркивали мне свое удовлетворение жарким интересом их аудитории к излагаемой науке.

Потому ли, что в этом вузе (как и в других вузах Узбекистана) учатся сливки национальной молодежи, или потому, что революция разбудила в угнетенных массах творческие силы, или по обеим причинам вместе, но едва ли в центральных вузах РСФСР ощущается подобный трудовой вольтаж и та необыкновенная атмосфера товарищеской молодой благодарности, которую окружают студенты популярного профессора.

Все сказанное — вовсе не панегирик. Недостатков много. Не все профессора сумели уловить тембр необыкновенной эпохи, почувствовать в огненноглазых юношах, заполняющих аудитории, не просто «учащуюся молодежь», а полномочных представителей одаренной нации, вдруг вышедшей из исторического анабиоза и пришедшей к ним, к ученым, с огромнейшими запросами. Не все студенты осознали лежащую на них ответственность перед трудящимися массами родной страны, которую они должны из средневековья вбросить в социализм. Есть прогулы и провалы, прорывы и провалы, и другие «про»... вплоть до проклятого «женского вопроса»: в нем не без шероховатостей, особенно мучительных там, где студентка, штудирующая диалектический материализм, видит свою мать одетою в паранджу.

Помимо педагогической академии, в Самарканде открывается медицинский институт, хлопковый институт, комвуз, в него переводится (как упорно говорят) из Ташкента Среднеазиатский университет, и уже целый год существует научно-исследовательский институт.

Последний, руководимый замнаркомом просвещения т. Бату, одним из талантливейших представителей молодой узбекской поэзии, переживает еще «героический период». В маленьком здании, где сто-

лы работников стоят не только в комнатах, но и на верандах, а профессора беседуют с аспирантами, прогуливаясь, подобно Аристотелю в садах Ликея, по дорожкам крохотного садика (в комнатах летом можно испариться без остатка), в этом маленьком домике разместились свыше десятка секций. Здесь деловитые инженеры, коряющиеся над геологическими картами, почвоведы и ботаники, мечтающие о египетском хлопке и парагвайской (кажется) гвайюле; здесь физики и солнцеловы, определяющие радиоактивность таких-то руд и вод, и то тепловое бешенство, до которого может довести металл или камень самаркандская жара («мы решили запрячь в работу» — говорит один из них); здесь этнографы, антропологи и языковеды, подбирающие остатки былых эпох, затерявшиеся в орнаменте вышивок, в разрезе век и в иррациональных формах спряжения; здесь историки, изучающие свитки вакуфных документов и летописи тюркских родов, чтобы окончательно добить антимарксистов, утверждающих еще, будто Восток развивался «по своим особым законам»; здесь литературоведы, сидящие над драгоценными книгами из хранилищ эмира бухарского и хивинского хана и регистрирующие на карточках каждое стихотворение и каждый рассказ современной узбекской литературы. И здесь такие же огненноглазые юноши, жадно глотающие науку, готовящиеся к профессуре, горячащиеся на шумных конференциях секций и общепитутских собраниях. Многие не устроены; нехватает людей, места, времени, даже пепельниц (антропологи, например, суют окурки в ухо гипсовой головы, изображающей питекантропуса, литературоведы — просто в вечно пересыхающую чернильницу), нехватает книг и цифр, — но вся эта шумная машина десятками приводных ремней связана с Совнаркомом, с Госпланом, с директоратами СНХ, с разными наркоматами, научными обществами, журналами и издательствами. Зародыш будущей узбекской Академии Наук, исследовательский институт, уже сейчас живет производственной жизнью, хрустально ясно осознав, что наука — для революции и для строительства.

Самарканду повезло. Когда-то центр мировой империи Тимура, затем (вместе с Бухарой) источник мусульманской мудрости и правоправия, теперь он становится громадным культурным форпостом в Азии, монументальным пропагандистом «силы и славы» идущих к социализму масс.

II

Узенькая, резная калитка в глинобитной слепой стене, звякнув узорной щеколдой, раскрылась, и вы, нагибаясь в низком проходе, минуя черные отверстия каких-то служебных помещений, зияющие справа и слева, проходите во внутренний двор. Все дома «Старого Самарканда» (как и Старой Бухары, Коканда и пр.) планированы таким же образом, напоминая европейские постройки, вывернутые наизнанку: не дом внутри двора, а двор внутри дома; окна не наружу, а внутрь. Этот же тип, родившийся, вероятно, еще в древнем Вавилоне, распространен во всех мусульманских странах, с арабским халифатом перекочевал в Испанию, а оттуда с разбойничьими отрядами Кортеса и Пизарро — в Южную Америку, Мексику и Калифорнию. «Гасиенды» и «ранчо» со своими «патио», о которых мы читаем у Эмара, Генри и Дж. Лондона, — родные сестры глиняных домиков Узбекистана. Их планировка — результат взаимодействия южного климата и хищного быта. Невыносимый дневной зной заставляет после заката и ночью искать воды и прохлады: отсюда — двор, как комната без крыши, с бассейном посередине; наездничество, родовая

месть и т. п. заставляют искать безопасности: отсюда дом — форт, где можно выдержать осаду, где двор служит плацдармом, плоские крыши — бастионами, где легко защищать узкий и низкий проход. Конечно, с течением времени фортификационная фактура дома деформировалась, постройки прильнули одна к другой, с крыши одного дома можно (но не нужно) переходить на крышу другого, — но все-таки существо типа сохранилось: жизнь внутрь, в свою семью, изолированно, без чужого глаза срослась с архитектурными формами прочно. В этих домиках редко живут неродственные семьи. Иногда богатый домовладелец застраивает целый участок наемными квартирами, но каждая из них является самостоятельной ячейкой, с своим особым, порою весьма путаным ходом.

Первое, что бросается в глаза, это многоступенчатость постройки: середина двора занята квадратным углублением бассейна (хауса); по периферии вдоль стен поднимаются невысокие глиняные террасы (болхана) с выходящими на них узкими и длинными — до пола — окнами; выше — второй этаж с такими же окнами и воздушным балконом вдоль всего фасада; дальше — крыша, над которой иногда высятся стена третьего этажа соседнего дома. Все это вместе образует множество уютных затененных уголков, где можно разостлать циновку или одеяло и спрятаться от свирепого солнца.

Окна забраны створчатыми ставнями из окрашенного бирюзовой эмалевой краской дерева, сплошь покрытого искусной и разнообразной резьбой; в верхних частях окон вставлены цветные стекла, и заглянувшее сквозь них солнце фантастически пламенеет на стенах.

Вас приглашают в комнаты.

Алебастровые стены расписаны масляной краской, развертывающей невиданные цветы и сложнейшие арабески. Потолок поддерживают квадратные деревянные балки, опять-таки расписанные цветами, арабесками и стихами; на них настланы, плотно прилегающие друг к другу круглые жерди, образующие потолок. Они неизменно выкрашены в темнопунцовый цвет и, равномерно пересекаясь балками, дают впечатление, будто над вами висит библиотека одинаковых фолиантов, переплетенных в красный сафьян. В стенах арабскими арками врезаны ниши с увлекательной путаницей полочек, ящиков, балкончиков, где стоит посуда, книги и бесчисленные мелочи домашнего обихода. В главной нише монументально покоится кованный сундук, а на нем аккуратной грудой высятся полтора—два—три десятка ватных одеял, стеганых из пестрого ситца, из цветистого сатина и из переливчатых радуг изумительного туркестанского шелка. Мебели нет. Имеется один-другой переносной столик, вышиною с полметра, детская колыбель, иногда — досадное вторжение чужеродного стиля — европейская этажерка.

Кирпичные полы покрыты циновками и коврами, по которым разбросаны подушки; узбек, изнуряемый солнцем и трудом, наследственно знает цену отдыху и предпочитает полулежачее и лежачее положение всякому другому.

Во всякой комнате в центре пола кирпичное углубление, зимою туда ставится жаровня с разожженными углями, над ней помещается решетчатая плоская крышка, и все это прикрывается огромным одеялом. Семья располагается вокруг звездой, забравшись под одеяло, и наслаждается теплом, в то время как в комнате господствует достаточно низкая температура: стенки глинобитных домиков весьма тонки, окна неизбежно с одной рамой, и короткая, но хлесткая самаркандская зима, налетающая порою двадцатиградусным морозом, прохватывает легкое жилище насквозь.

Чистота и порядок даже в самых бедных квартирах изумительные (не знаю, как в кишлаках), и о социальном положении хозяев вы можете догадаться только по наличию или отсутствию книг да еще по количеству одеял.

Но средневековые кладет на обитателей этих узорчатых келий свою тяжелую руку, нападая на них странными и страшными болезнями, унося их детей, убивая их время и энергию.

Жизнь внутрь, в отгороженных двориках, создает равнодушие к тому, что снаружи. А снаружи — узкие, кривые переулки, засыпанные невылазною пылью или залитые невылазною грязью. Пыль, тревожимая каблуками прохожих, копытцами ишаков и резиновыми пятками верблюдов, с утра до вечера серебряным облаком висит над домами. Насыщенность воздуха пылью такова, что снеговые хребты, кольцом охватившие город, бывают видны только при восходе солнца, когда пыль еще спит, осев за ночь, что ультрамаринное тропическое небо большую часть дня кажется бледно-голубым с серебристым отливом. И эта пыль миллионами микроскопических ядер бомбардирует человеческие легкие и глаза. Отсюда — вечные конъюнктивиты, частая слепота; отсюда же туберкулез, задевший легкие, разражается в них с грозной и быстрой силой.

Залить переулки асфальтом? Почти бесполезно: с тысяч глиняных домиков, обдуваемых ветром, все равно будет сыпаться на мостовые глиняная перхоть. А кроме того, неохватываемая никаким планом запутанность и кривизна переулков, по крайней мере, вчетверо увеличивает подлежащую замощению площадь. Сначала выпрямить, потом мостить. А чтобы выпрямить, надо снести весь город. А чтобы снести...

Но пыль нападает и иначе. Вам подают в узорчатой китайской пиале бледножелтый ароматический кок-чай. В зной — это единственный напиток, утоляющий жажду. Но надо выпить в один присест 7—8 пиал. Вы пьете. На дне чашки оседает земля, — наиболее грубые и тяжелые частицы. На каждую чашку приходится приблизительно 0,3 грамма: целый «порошок». А сколько не успевает осесть? А сколько растворено в воде? И вся эта «минералогия», помноженная на десятки пиал за день, сваливается в почки, оседая в них камнями и вызывая тяжкие воспаления. А кроме того, иногда к воде примешиваются еще неизвестные соли, вызывающие зоб или создающие чудовищные отеки слоновой болезни. Есть зобы величиною в астраханский арбуз; я видел снимки со страдающих слоновостью: ноги толщиной в 30—40 сантиметров, наросты на лице размером в рулон вестфальской ветчины. А еще решта, таинственный зародыш которой с водою проникает в желудок, а оттуда в мышцы, разрастаясь в их толще полутораметровым тонким, как конский волос, червем, которого надо в течение года с величайшей осторожностью вытягивать из тела, наматывая на палочку... Все это таит в себе вода. Есть, конечно, прекрасные источники. Но если в твоём собственном дворике собственный хаус, то гораздо удобнее брать воду из него.

Водопровод, фильтр? Для них нужны предпосылки. Первая — свободные и немалые средства; вторая — снос и перестройка всего города. Но еще раньше — перестройка цитадельной психологии обитателя глинобитных ласточкиных гнезд, которому надо научиться выходить мыслью за стены своей крепостцы.

Дальше. Я говорил уже о зиме, о жаровне с угольями, о семейном одеяле. Ведь это — мертвый якорь, на котором стоит жизнь. Как работать, если надо сидеть, засунув руки и ноги под одеяло? Вокруг жаровни расцветают сказки, побасенки, песни — словесный сур-

рогат жизни. Простая печка, более толстые стены, двойные рамы в окнах, и — два месяца, помноженные на пять человек — триста миллионов человекоднев будут вырваны из средневековья, переведены на личный счет нашей эпохи. Но для этого надо перестроить города и кишлаки. И раньше — психологию.

Слов нет, национальные кварталы очаровательны. Но это экзотическое очарование хрупкой и изящной культуры мгновенно меркнет при мысли о страшной цене, взимаемой за нее историей. И новая самаркандская гостиница, построенная (к слову сказать, скверно и неумело) в современном стиле, кажется великолепным символом иной, более высокой культуры, предпочитающей, чтобы алая краска играла на лицах, а не на расписных потолках.

III

— Сколько может стоить такая книга?

— Коней пятнадцать, — ответил мне Аляви Абдулла-хан.

В этом ответе выразилась не только оценка, но и социально-историческая характеристика книги, конкретизовалась ее феодальная душа. В самом деле, только для средневековых эмиров и беков могли выграниваться эти изумительные манускрипты, и только хищная наездническая установка могла бороться с любовью к их красоте. Пятнадцать коней. — этот образ не меньше говорил потомку Тимура, номаду, чем павлинья роспись книжных листов.

Представьте себе небольшого формата том, переплетенный в мутно-зеленую кожу с золотыми тисненными медальонами по углам и в середине крышки, с корешком из грубо-шероховатого бирюзового шагрены. На листках полупрозрачной желтоватой бумаги синью, золотом и киноварью вычерчены прямоугольные рамки, а поля разлинованы вкось, расчерчены на маленькие ромбы.

В прямоугольниках горизонтальными, а в ромбах наклонными строками тончайшей арабской вязи вписан текст. Начальные буквы иллюминированы той же киноварью и золотом. Внимательный глаз ясно различает, что почерк прямоугольного текста по самой фактуре букв не похож на почерк, выющийся в ромбах на полях, а знатоки расскажут вам, что восточная каллиграфия знает десятки почерков и так же монтирует их, как опытный метранпаж монтирует различные типографские шрифты. Если вы умеете читать арабский алфавит и хотя немного знаете язык, вы увидите, что основной текст представляет собою эпическую поэму, а ромбы на полях заполнены лирикой: лирика идет как бы орнаментом эпоса, подобно тому, как лирические переживания орнаментируют суровую героику жизни. На многих страницах расцветают миниатюры. Принцы с узкими загадочными глазами, чернородые полководцы в чалмах и с расширяющимися к концу, как хвост кометы, серебряными саблями, одалиски гаремов, льнущие к своим повелителям и играющие сложнейшими спектрами своих одежд. На квадратном дециметре помещается порою более десятка фигур, и каждая одета и расцветчена по-особому. Цветовое и графическое богатство иллюстраций огромно, а стойкость растительных красок пронесла всю нежность расцветки сквозь несколько веков. Книгу держишь в руках, как хрупкую драгоценность, и любишь ее, как тропическим цветком.

Сколько труда поглощала такая книга? Годы. И неудивительно, что «издание» того или другого поэта «выходило» в шести-семи экземплярах, что доступны эти книги были только эмирам и ханам, и что цена им — «пятнадцать коней»...

В библиотеку нашего исследовательского института привезены из книгохранилищ эмира бухарского и хивинского хана сотни роскошнейших и редчайших экземпляров. Работа поколений, труд целой армии отборных переплетчиков и художников, сливших свою жизнь с книгой так же, как свои имена с арабскими тисненными медальонами переплета.

Искусство книги было монополизировано двором, и эмиры и беки имели возможность создавать свои библиотеки-оранжереи за счет поголовной безграмотности масс. От этой мысли чудесная книга тускнеет в ваших руках, и дешевенькая брошюрка УзГиза, напечатанная таким обыкновенным латинским шрифтом, на такой обыкновенной бумаге, становится дороже несравненного тома, ценою в пятнадцать коней.

Мы не знаем, совсем не знаем узбекской литературы. Знатков ее у нас два-три, и они прочно сидят в своих академических кабинетах, подобно тому, как их труды величественно-неведомо покоятся в академических изданиях. А между тем поэты узбекского средневековья, слагатели народных былин, профессиональные остряки и бродячие сказочники несколько не уступают европейским мастерам.

Обширные поэмы об Александре Македонском, память о котором до сих пор свежа в Средней Азии, поэмы о Тимуре, сказания об Иосифе Прекрасном, рыцарские романы, утонченная лирика, любовная, философская и религиозная, — весь этот огромный агитпроп правящих классов, внушавших массам свои идеи о жизни, о любви, о чести, — все это реализовано в интенсивнейшей художественной форме, осуществлено с необыкновенным блеском словесного мастерства.

Мне, почти незнакомому с языком, читали вслух отрывки из рыцарских романов, и я безошибочно узнавал по ритму чуждого стиха, по раскатам и переливам аллитераций, о чем в данном отрывке идет речь: о выезде ли рыцарей в погоню за врагами, об отдыхе ли на берегу журчащего арыка, о любовной ли сцене в кустах неизбежных роз под трели неизбежного соловья. А знание языка позволяет оценить внутреннее словесное богатство узбекской лирики — ее остроумнейшую игру слов, изобретательность, с которой заверстываются в каждую строчку длинной газеллы одни и те же слова, применяемые все в новых и новых значениях.

Неудивительно, что столь напряженное искусство властно влияет на психику, наливая силою мускулы прокламируемых идей. А чуткость к художественному слову, присущая узбекам, еще увеличивает идеологический гипноз старой литературы. Я видел, как театральный зал, перед которым на подмостках невеста оплакивала убитого жениха, весь порхал носовыми платками, как пятьсот черно- и седобородых зрителей рыдали вместе с осиротелой невестой; я знаю, что когда один из ныне живущих поэтов, знаменитый от Малайских островов до Марокко, выпустил в 12-м году, во время балканской войны в Лагере книжку панисламистских стихов, то в Индии сформировался добровольческий мусульманский отряд, чтобы идти на помощь Турции.

И старая литература до сих пор держит под своим обаянием и читательские (слушательские) массы, и даже молодое литературное движение. Тимур из своего нефритового гроба, из своего сверкающего лазурной изморозью изразцового мавзолея до сих пор выкрикивает устами своих поэтов лозунги наезднической удали, заповеди рыцарской верности воле эмира, излагает зоркую и чувственную мудрость владыки и победителя.

Старая поэтическая техника зрела столетиями и отстоялась в законченные классические формулы. Сложился устойчивый поэтический язык, выгранился обязательный образный орнамент, нерушимый композиционный чертеж. Сам стих тяжелыми оковами лег на язык, навязывая ему арабские долготные схемы при отсутствии в слогах отчетливых долгот и краткостей. Этот художественный склероз тернит молодую кровь современной пролетарской поэзии, и поэты советского Узбекистана мучительно ищут новый язык и новые образы для воплощения своей революционной идеологии. Идут ощупью, идут часто неверными путями, берут за образец русских поэтов, кидаются изучать европейские теории литературы, изнемогают в спорах на заседаниях «Кзыл-Каляма», печатают целые статьи об одном лишь стихотворении, автору которого удался какой-либо новый прием. Талантливейшая молодежь, знающая своей смуглой кожей и работу под семидесятиградусным солнцем на хлопковых плантациях, и малярийную свежесть рисовых залитых водою полей, знающая своей рукой черствую неповоротливость омача (первобытного плуга) и паутинную нежность шелковой нити, знающая всем существом тяжесть байского гнета и ликующий грохот восстаний, — эта молодежь заполняет вузы и техникумы и, как каракумские пески — воду, впитывает в себя русскую советскую литературу и современные методологические установки.

До блеска средневековых классиков молодым поэтам еще далеко, но огненный темперамент революции ослепительно прорывается сквозь неровности и срывы стиля, — и чуткое ухо слышит в невымерянных по циркулю строках сплошные рифмы классовой солидарности, горячий ритм социалистического строительства.

Время неизмеримо ускорило свой ход. Календарный год равняется историческому десятилетию. Пятьсот лет караванными темпами двигалось развитие старой узбекской литературы. Темп роста молодой литературы — иной: темп взрыва.

М. П. Синягин

(Воспоминания о Мишеле Синягине)

МИХ. ЗОЩЕНКО

Предисловие

Эта книга есть воспоминание об одном человеке, об одном, что ли, малоизвестном небольшом поэте, с которым автор сталкивался в течение целого ряда лет.

Судьба этого человека автора чрезвычайно поразила, и в силу этого автор решил написать такие, что ли, о нем воспоминания, такую, что ли, биографическую повесть, не в назидание потомству, а просто так.

Не все же писать биографии и мемуары о замечательных и великих людях, об их поучительной жизни и об их гениальных мыслях и достижениях.

Кому-нибудь надо откликнуться и на переживания других, скажем, более средних людей, так сказать, не записанных в бархатную книгу жизни.

При чем жизнь таких людей, по мнению автора, тоже в достаточной мере бывает поучительна и любопытна. Все ошибки, промахи, страдания и радости ничуть не уменьшаются в своем размере оттого, что человек, ну, скажем, не нарисовал на полотне какой-нибудь прелестный шедевр—«Девушка с кувшином», или не научился быстро ударять по рояльным клавишам, или, скажем, не отыскал для блага и спокойствия человечества какую-нибудь лишнюю звезду или комету на небосводе.

Напротив, жизнь таких обыкновенных людей еще более непонятна, еще более достойна удивления, чем, скажем, какие-нибудь исключительные и необыкновенные поступки и чудачества гениального художника, пианиста или настройщика.

Жизнь таких простых людей еще более интересна и еще более доступна пониманию.

Автор не хочет этим сказать, что вот сейчас вы увидите чего-то такое исключительно интересное, поразительное по силе переживаний и страстям.

Нет, это будет скромно прожитая жизнь, описанная к тому же несколько торопливо, небрежно и со многими погрешностями. Конечно, сколько возможно, автор старался, но для полного блеска описания не было у него такого, что ли, нужного спокойствия духа, уверенности и любви к разным мелким предметам и переживаниям. Тут не будет спокойного дыхания человека, уверенного и развязного дыхания автора, судьба которого оберегается и лелеется золотым веком.

Тут не будет красоты фраз, смелости оборотов и восхищения перед величием природы.

Тут будет просто правдиво изложенная жизнь. К тому же несколько суетливый характер автора, его беспокойство и внимание к другим мелочам заставляют его иной раз пренебречь плавным повествованием для того, чтобы разрешить тот или иной злободневный вопрос или то или иное сомнение.

Что касается заглавия книги, то автор согласен признать, что заглавие, сухое и академическое, мало чего-нибудь дает уму и сердцу. Но автор оставляет это заглавие временно. Автор хотел назвать эту книгу иначе, как-нибудь, например: «У жизни в лапах» или «Жизнь начинается послезавтра». Но и для этого у него нехватило уверенности и нахальства. К тому же эти заглавия, вероятно, уже были в литературном обиходе, а для нового заглавия у автора не нашлось особого остроумия и изобретательности.

Необходимо еще отметить, что автор, вероятно, в дальнейшем издаст эти воспоминания отдельной книжкой, в которой будут напечатаны фотографии главных действующих лиц, а именно: М. П. Синягина, его жены, матери и тетки.

3 сентября 1930 г.

1

**Через сто лет. О нашем времени. О приспособляемости. О дуэлях.
О чулках. Пролог истории**

Вот в дальнейшем, лет этак, скажем, через сто или там немного меньше, когда все окончательно утрясется, установится, когда жизнь засияет несказанным блеском, какой-нибудь гражданин, какой-нибудь этакий гражданин с усиками, в этакое, что ли, замшевом песочном костюмчике, или там, скажем, в вечерней шелковой пижаме, возьмет, предположим, нашу скромную книжку и приляжет с ней на кушетку.

Он приляжет на сафьяновую кушетку или там, скажем, на какой-нибудь мягкий пуфик или козетку, обопрет свою душистую голову на чистые руки и, слегка задумавшись о прекрасных вещах, раскроет книгу.

— Интересно,—скажет он, кушая конфетки,—как это они там жили в свое время.

А его красивая, молодая супруга или там, скажем, подруга его жизни, тут же рядом сидит в своем каком-нибудь исключительном пенюаре.

— Андреус, или там Теодор,—скажет она, запахивая свой пенюар,—охота тебе, скажет, читать разную муру. Только, скажет, нервы себе треплешь на ночь глядя.

И сама, может, возьмет с полки какой-нибудь томик в пестром атласном переплете—стихи какого-нибудь там знаменитого поэта-- и начнет читать:

В моем окне качалась лилия.

Я весь в бреду...

Люфьвь, любовь! Моя, Идиллия,

Я к вам приду.

Вот как представит себе автор на минутку такую акварельную картину, так и перо у него валится из рук—неохота писать да и только.

Конечно, автор не утверждает, что именно такие сценки будут наблюдаться в будущей жизни. Нет, это как раз мало вероятно. Это только минутное предположение. На это только полпроцента можно

положить. А скорей всего, напротив того, будет очень такое, что ли, здоровое, сочное поколение. Этакie будут загорелые здоровяки, одевающиеся скромно, но просто, без особой претензии на роскошь и щегольство.

К тому же, может, такие паршивые лирические стишки они и читать-то вовсе не будут или будут их читать в исключительных случаях, предпочитая им наши прозаические книжки, которые будут брать в руки с полным душевным трепетом и с полным почтением к их авторам.

Однако, как подумает автор о таких настоящих читателях, так опять появляются затруднения, и снова перо вываливается из рук.

Ну, что автор может дать таким прекрасным читателям?

Сердечно признавая все величие нашего времени, автор, тем не менее, не в силах дать соответствующее произведение, полностью рисующее нашу эпоху. Может быть, автор растратил свои мозги на мелкие повседневные мещанские дела, на разные личные огорчения и заботы, но только ему не по силам такое обширное произведение, которое сколько-нибудь заинтересует будущих уважаемых читателей.

Нет, уж лучше закрыть глаза на будущее и не думать о новых грядущих поколениях. Лучше уж писать для наших испытанных читателей.

Но тут опять являются сомнения, и перо валится из рук. В настоящее время, когда самая острая, нужная и даже необходимая тема — это колхоз или там, скажем, отсутствие тары или устройство силосов, возможно, что просто нетактично писать как себе, вообще, о переживаниях людей, которые, в сущности говоря, даже и не играют роли в сложном механизме наших дней.

Читатель может просто обругать автора свиньей.

— Эва,—скажет,—глядите, чего еще один пишет. Описывает, холера, переживания. Глядите, скажет, сейчас начнет про цветки поэмы наворачивать.

Нет, про цветки автор писать не станет. Автор напишет повесть, по его мнению, даже весьма необходимую повесть, так сказать, подводящую итоги прошлой жизни, повесть про одного незначительного поэта, который жил в наше время.

Конечно, автор предвидит жесткую критику в этом смысле со стороны молодых и легкомысленных критиков, поверхностно глядящих на такие литературные факты.

Однако, совесть у автора чиста. Автор не забывает и другой фронт и не гнушается писать о прогулах, о силосовании и о ликвидации неграмотности. И даже, напротив, такая скромная работа как раз по его плечу.

Но на ряду с этим у автора имеется чрезвычайное стремление как ни можно скорей написать свои воспоминания об этом человеке, ибо в дальнейшем жизнь перешагнет его, все забудется, и травой зарастет та тропинка, по которой прошел наш скромный герой, наш знакомый и, прямо скажем, наш родственник М. П. Синягин.

И это последнее обстоятельство позволило автору видеть всю его жизнь, все мелочи его жизни и все события, развернувшиеся в последние годы.

Вся личная его жизнь прошла, как на сцене, перед глазами автора.

Вот тут который с усиками и в замшевом костюмчике, если, не дай бог, он проскользнет в будущее столетие, наверное, слегка удивится и заполощется на своей сафьяновой козетке.

— Милуша,—скажет он, поглаживая свои усишки,—интересно, скажет. У них, скажет, какая-то личная жизнь была.

— Андреус,—скажет она грудным голосом,—не мешай, скажет, за ради бога, я стихи читаю...

А в самом деле, читатель, какой-нибудь этакий с усиками в "его спокойное время прямо нипочем правильно не представит нашей жизни. Он, наверное, будет думать, что мы все время в землянках сидели, воробьев кушали и вели какую-нибудь немислимую дикуую жизнь, полную ежедневных катастроф и ужасов.

Правда, надо прямо сказать, что многие и не имели так называемой личной жизни—они отдавали все силы и всю волю для ради своих идей и для стремления к цели.

Ну, а которые помельче, те, безусловно, ловчились, приспособлялись и старались попасть в ногу со временем для того, чтобы прилично прожить и поплотнее покушать.

И жизнь шла своим чередом. Происходила любовь и ревность, и деторождение, и разные великие материнские чувства, и разные тому подобные прекрасные переживания. И мы ходили с девушками в кино. И катались на лодках. И пели под гитару. И кушали вафли с кремом. И носили модные носочки с прожилками. И танцевали фоксгрот под домашний рояль...

Нет, жизнь шла понемножку, как она и всегда и при всех любых обстоятельствах идет.

И любители такой жизни по мере своих сил приспособлялись и приисравлялись.

Так сказать, каждая эпоха имеет свою психику. И в каждую эпоху, пока что, было одинаково легко и одинаково трудно жить.

Для примера, на что уж был беспокойный век, ну, скажем, 16. Нам издали поглядеть, так прямо немислимым кажется. Чуть не каждый день в то время на дуэлях дрались. Гостей с башен сбрасывали почем зря. И ничего. Все в порядке вещей было.

Нам-то, с нашей психикой, прямо боязно представить себе подобную ихнюю жизнь. Для примера, какой-нибудь там ихний феодалный сукин сын, какой-нибудь там виконт или там бывший граф идет, для примера, погулять.

Бот идет он погулять и, значит, шпагу сбоку прищипливает. Мало ли кто-нибудь его сейчас, боже сохрани, плечом пихнет или обругает трехэтажно—сразу надо драться. И ничего.

Идет на прогулку и даже на морде никакой грусти или паники не написано. Напротив того, идет и даже, может быть, улыбается и посвистывает.

Ну, жену небрежно на прощанье поцелует. Ну, скажет, машер, я того... пошел прогуляться.

И та—хоть бы хны. Ладно, скажет, не опоздай, скажет, к обеду.

Да в наше время жена бы рыдала и за ноги бы цеплялась, умоляя не выходить на улицу или, в крайнем случае, просила бы обеспечить ей безбедное существование. А тут просто и безмятежно. Взял шпажонку, поточил ее, если она затупилась от прежней стучки, и пошел побродить до обеда, имея почти все шансы на дуэль или столкновение.

Надо сказать, если б автор жил в ту эпоху, его бы силой из дому не выкурили. Так бы всю жизнь и прожил бы взаперти вплоть до нашего времени.

Да, с нашей точки зрения неинтересная была жизнь! А там этого не замечали и жили поплеывая. И даже ездили в гости, к имеющим башни.

Так что в этом смысле человек очень великолепно устроен. Какая жизнь идет—в той он и прелестно живет. А которые не могут,

те, безусловно, отходят в сторону и не путаются под ногами. В этом смысле жизнь имеет очень строгие законы, и не всякий может поперек пути ложиться и иметь разногласия.

Так вот, сейчас перейдем к главному описанию, из-за чего, собственно, и началась эта книга. Автор извиняется, если он чего-нибудь лишнее сболтнул, не идущее к делу. Уж очень все такие нужные моменты и вопросы, требующие немедленного разрешения.

А что до психики, так это очень верно. Это вполне историей проверено.

Так вот, сейчас со спокойной совестью мы перейдем к воспоминаниям о человеке, который жил в начале двадцатого века.

По ходу повествования автор принужден будет касаться многих тяжелых вещей, грустных переживаний, лишений и нужды.

Но автор просит не выносить об этом поспешного заключения.

Некоторые нитки способны будут все невзгоды приписать только революции, которая происходила в то время.

Очень, знаете, странно, но тут дело не только в революции. Правда, революция сбила этого человека с позиции. Но тут, как бы сказать, во все времена возможна и вероятно такая жизнь.

Автор подозревает, что такие именно воспоминания могли быть написаны о каком-нибудь другом человеке, жившем в другую эпоху.

Автор просит отметить это обстоятельство.

Вот у автора был сосед по комнате. Бывший учитель рисования. Он спился. И влачил жалкую и неподобающую жизнь. Так этот учитель всегда любил говорить:

— Меня, говорит, не революция подпилила. Если б и не было революции, я бы все равно спился бы или бы проворовался, или бы меня на войне подстрелили, или бы в плену морду свернули на сторону. Я, говорит, заранее знал, на что иду и какая мне жизнь предстоит.

И это были золотые слова.

Автор не делает из этого мелодрамы. Нет. Автор уверен в победном шествии жизни, вполне годной для того, чтобы прожить припеваючи. Уж очень много людей об этом думает и ломает себе головы, стараясь потрогать человека в этом смысле.

Конечно, еще, так сказать, пролог истории. Еще жизнь не утряслась. Говорят люди, двести лет назад чулки-то впервые стали носить.

Так что все в порядке. Хорошая жизнь приближается.

2

Рождение героя. Молодость. Созерцательное настроение. Любовь к красоте. О нежных душах. Об Эрмитаже и о замечательной скифской вазе

Михаил Поликарпович Снягин родился в 1887 году в имении «Паньково», Смоленской губернии.

Мать его была дворянка, а отец почетный гражданин.

Но поскольку автор был моложе М. П. Снягина лет на 10, то ничего такого путного автор и не может сказать об его молодых годах вплоть до 1916 года.

Но, поскольку его всегда и даже в сорок лет называли Мишелем, было видно, что он имел нежное детство, внимание, любовь и душевную ласку.

Его называли Мишелем—и верно, его нельзя было назвать иначе. Все другие грубые наименования мало шли к его лицу, к его

тонкой фигуре и к его изящным движениям, исполненным грации, достоинства и чувства ритма.

Кажется, что он окончил гимназию и, кажется, два или три года он еще где-то такое проучился. Образование у него было во всяком случае самое незаурядное.

В 1916 году автор с высоты своих 18 лет, находясь с ним в одном и том же городе, невольно наблюдал его жизнь и был, так сказать, очевидцем многих важных и значительных перемен и событий.

М. П. Сиягин не был на фронте по случаю ущемления грыжи. И в конце европейской войны он слонялся по городу в своем штатском макинтоше, имея цветок в петлице и изящный, со слоновой ручкой, стек в руках.

Он ходил по улицам всегда несколько печальный и томный, в полном одиночестве, бормоча про себя стишки, которые он в изобилии сочинял, имея все же порядочное дарование, вкус и тонкое чутье ко всему красивому и изящному.

Его восхищали картины печальной и однообразной псковской природы, березки, речки и разные мошки, кружащиеся над цветочными клумбами.

Он уходил за город и, сняв шляпу, с тонкой и понимающей улыбкой следил за игрой птичек и комариков.

Или глядел на движущиеся тучные облака и, закинув голову, тут же сочинял на них соответствующие рифмы и стихи.

В те годы было еще порядочное количество людей высокообразованных и интеллигентных, с тонкой душевной организацией и нежной любовью к красоте и к разным изобразительным искусствам.

Надо прямо сказать, что в нашей стране всегда была исключительная интеллигентская прослойка, к которой охотно прислушивалась вся Европа и даже весь мир.

И верно, это были очень такие тонкие ценители искусства и балета и авторы многих замечательных произведений, и вдохновители многих отличных дел и великих учений.

Это не были спецы с точки зрения нашего понимания.

Это были просто интеллигентные возвышенные люди. Многие из них имели нежные души. А некоторые просто даже плакали при виде лишнего цветка на клумбе или прыгающего на навозной куче воробушка.

Дело прошлое, но, конечно, надо сказать, что в этом была даже некоторая какая-то такая ненормальность. И такой пышный расцвет безусловно был за счет чего-то такого другого.

Автор не владеет искусством диалектики и не знаком с разными научными теориями и течениями, так что не берется в этом смысле отыскивать причины и следствия. Но, грубо рассуждая, можно, конечно, кое до чего докопаться.

Если, предположим, в одной семье три сына. И если, предположим, одного сына обучать, кормить бутербродами с маслом, давать какао, мыть ежедневно в ванне и брилином голову причесывать, а другим братьям давать пустяки и урезывать их во всех ихних потребностях, то первый сын очень свободно может далеко шагнуть и в своем образовании, и в своих душевных качествах. Он и стишки начнет загибать, и перед воробушками умиляться, и говорить о разных возвышенных предметах.

Вот автор недавно был в Эрмитаже. Глядел скифский отдел. И там есть одна такая замечательная прочная ваза. И лет ей, говорят, этой вазе, чего-то такое, если не врут, больше как две тысячи. Такая

шикарная золотая ваза. Очень исключительной тонкой скифской работы. Неизвестно, собственно, для чего ее скифы изготовили. Может, там для молока или полевые цветы туда ставить, чтоб скифский король нюхал. Неизвестно, ученые не выяснили. А нашли эту вазу в кургане.

Так вот, на этой вазе автор вдруг увидел рисунки—сидят скифские мужики. Один мужичонко-средняк сидит, другой ему зуб пальцами выковыривает, третий лапешки себе поправляет.

Автор поглядел поближе—батюшки-светы. Ну, прямо наши до-революционные мужики. Ну, скажем, 1913 года. Даже костюмы те же—такие широкие рубахи, подпояски. Длинные спутанные бороды.

Автору даже как-то не по себе стало. Что за чорт. Смотрит в каталог—вазе 2000 лет. На рисунки поглядишь—лет на полторы тысячи поменьше. Либо, значит, сплошное жульничество со стороны научных работников Эрмитажа, либо такие костюмчики и лапти так и сохранились вплоть до нашей революции.

Всеми этими разговорами автор, конечно, нисколько не хочет унижить бывшую интеллигентскую прослойку, о которой шла речь. Нет, тут просто выяснить хочется, как и чего, и на чьей совести камень лежит.

А прослойка, надо сознаться, была просто хороша, ничего против не скажешь.

Что касается М. П. Синягина, то автор, конечно, и не хочет его равнять с теми, о ком говорилось. Но все-таки, это был человек тоже в достаточной степени интеллигентный и возвышенный. Он многое понимал, любил красивые безделушки и поминутно восторгался художественным словом. Он сильно любил таких прекрасных, отличных поэтов и прозаиков, как Фет, Блок, Надсон и Есенин.

И в своем собственном творчестве, не отличаясь исключительной оригинальностью, он был под сильным влиянием этих славных поэтов. И в особенности, конечно, под влиянием исключительно гениального поэта тех лет А. А. Блока.

3

Мать и тетка М. П. Синягина. Ихнее прошлое. Покупка имения. Жизнь в Пскове. Тучи собираются. Характер и наклонности тетки М. А. Ара—вой. Встреча с Л. Н. Толстым. Стихи поэта. Его душевное настроение. Увлечение.

Мишель Синягин жил со своей мамашей Анной Аркадьевной Синягиной и с ее сестрицей Марьей Аркадьевной, о которой в дальнейшем будет особая речь, особое описание и характеристика в силу того, что эта почтенная дама и вдова генерала Ар—ва играет немаловажную роль в нашем повествовании.

Итак, в 1917 году они втроем проживали в Пскове как случайные гости, застрявшие в этом небольшом славном городишке по причинам, не от себя зависящим.

Во время войны они приехали сюда для того, чтобы поселиться у своей сестры и тетки Марьи Аркадьевны, которая по случаю приобрела неподалеку от Пскова небольшое имение.

В этом имении обе старушки и хотели скоротать свой век вблизи с природой, в полной тишине и покое после довольно бурно и весело проведенной жизни.

Это злополучное имение и было названо соответствующим образом: «Затишье».

А Мишель, этот довольно грустноватый молодой человек, склонный к неопределенной меланхолии и несколько утомленный своей поэтической работой и шумом столичной жизни с ее ресторанами и певицами, и мордобоем, также хотел некоторое время спокойно пожить в тиши для того, чтоб набраться сил и снова пуститься во все тяжкие.

Все, однако, сложилось иначе, чем было задумано.

«Затишье» было куплено перед самой революцией, что-то месяца за два, так что семейство не успело даже туда перебраться со своими вещами и сундуками. И эти сундуки, перины, диваны и кровати временно и наспех были сложены на городской квартире у псковских знакомых. И именно в этой квартире в дальнейшем и пришлось прожить несколько лет Мишелю со своей престарелой мамашей и теткой.

Отличаясь свободомыслием и имея некоторую, что ли, тенденцию и любовь к революциям, обе старушки не очень обезумели по случаю революционного переворота и изъятия имений от помещиков. Однако, младшая сстрица, Марья Аркадьевна, всадившая в это дело около 60 тысяч капитала, все же иной раз охала и приседала, и говорила, что это чорт знает что такое, поскольку нельзя в'ехать в имение, купленное на собственные кровные деньги.

Анна Аркадьевна, мать Мишеля, была довольно незаметная дама. Она ничем таким особенным не проявила себя в своей жизни, исключая рождения поэта.

Это была довольно тихая, мало сварливая старушка, любящая сидеть у самовара и кушать кофе со сливками.

Что касается Марьи Аркадьевны, то эта дама была уже в другом роде.

Автор не имел удовольствия видеть ее в молодые годы, однако, было известно, что она была до чрезвычайности миленькая и симпатичная девица, полная жизни, огня и темперамента.

Но в те годы, о которых идет речь, это была уже бесформенная старушка, скорей безобразная, чем красивая, однако, еще очень подвижная и энергичная.

В этом смысле на ней сказалась ее бывшая профессия. В молодые годы она была балериной и работала в кордебалете Мариинского театра.

Она была в некотором роде даже знаменитостью, поскольку ею увлекался бывший великий князь Николай Николаевич. Правда, он вскоре ее оставил, подарив ей какой-то особый кротовый палантин, бусы и еще чего-то такое. Но начатая карьера ее была сделана.

Обе эти старушки в дальнейшем будут играть довольно видную роль в жизни Мишеля Синягина, так что пуцай читатель не принимает близко к сердцу и не сердится, что автор останавливается на описании таких, что ли, дряхловатых и отцветших героинь.

Поэтическая атмосфера в доме благодаря Мишелю несколько отозвалась и на наших дамах. И Марья Аркадьевна любила говорить, что она вскоре приступит к своим мемуарам.

Ее бурная жизнь и встреча со многими известными людьми строила того.

Она самолично будто бы два раза видела Л. Н. Толстого, Надсона, Кони, Переверзева и других знаменитых людей, о которых она и хотела поведать миру свои соображения.

Итак, перед началом революции семья приехала в Псков и там застряла на три года.

М. П. Синягин всякий день говорил, что он ни за что не намерен торчать здесь и что при первой возможности он уедет в Москву или Ленинград. Однако, последующие события и перемены жизни значительно отдалили этот отъезд.

И наш Мишель Синягин продолжал свою жизнь под псковским небом, занимаясь пока что своими стихами и своим временным увлечением одной местной девушкой, которой он в изобилии посвящал свои стихи.

Конечно, эти стихи не были отмечены гениальностью, они не были даже в достаточной мере оригинальны, но свежесть чувств и бесхитростный несложный стиль делали их заметными в общем котле стихов того времени.

Автор не помнит этих стихов. Жизнь, заботы и огорчения изгнали из памяти изящные строчки и поэтические рифмы, но какие-то отрывки и отдельные строфы запомнились в силу их неподдельного чувства.

Лепестки и незабудки
Осыпались за окном...

Автор не запомнил всего этого стихотворения «Осень», но помнится, что конец его был полон гражданской грусти:

Ах, скажите же зачем,
Отчего в природе
Так устроено? И тем
Счастья в жизни нет совсем...

Другое стихотворение Мишеля говорило о его любви к природе и ее бурным стихийным проявлениям:

Гроза
Гроза прошла
И ветки белых роз
В окно мне дышат
Дивным ароматом.
Еще трава полна
Прозрачных слез,
А гром гремит вдали
Раскатом...

Это стихотворение было разучено всей семьей, и старые дамы ежедневно нараспев повторяли его, чем доставляли живейшую радость автору.

А когда приходили гости, Анна Аркадьевна Синягина волокла их в комнату Мишеля и там, показывая на письменный стол карельской березы, вздыхала и с увлажненными глазами говорила:

— Вот за этим столом Мишель написал свои лучшие вещи— «Гроза», «Лепестки и незабудки» и «Дамы, дамы».

— Мамаша, — говорил, вспыхивая, Мишель, — бросьте.

Гости покачивали головами и, не то одобряя, не то огорчаясь, трогали пальцами стол и неопределенно говорили: «Н-да, ничего себе».

Некоторые же меркантильные души тут же спрашивали, за сколько куплен этот стол, и тем самым переводили разговор на другие рельсы, менее приятные для матери и Мишеля.

Поэт отдавал внимание и женщинам, однако, находясь под сильным влиянием знаменитых поэтов того времени, он не бросал свои чувства какой-нибудь отдельной женщине. Он любил нереально какую-то неизвестную женщину, блестящую в своей красоте и таинственности.

Одно прелестное стихотворение «Дамы, дамы, отчего мне на вас глядеть приятно» отлично раскрывало это отношение. Это стихотворение заканчивалось так:

Оттого-то' незнакомкой я люблюсь. А когда
Эта наша незнакомка познакомится со мной —
Неохота мне глядеть на знакомое лицо
И противно ей давать обручальное кольцо...

Тем не менее, поэт увлекся одной определенной девушкой и в этом смысле его поэтический гений шел несколько вразрез с его житейскими потребностями.

Однако, справедливость требует отметить, что Мишель тяготился своим земным увлечением, находя его несколько вульгарным и мелким. Его главным образом пугало, как бы его не окрутили и как бы его не заставили жениться и тем самым не снизили бы его до простых повседневных поступков.

Мишель рассчитывал на другую, более исключительную судьбу. И о своей будущей жене он мечтал как о какой-то удивительной даме, вовсе не похожей на псковских девушек.

Он не представлял в точности, какая у него будет жена, но, думая об этом, он мысленно видел каких-то собачек, какие-то меха, сбруи и экипажи. Она выходит из экипажа, и лакей, почтительно кланяясь, открывает дверцы.

Девушка же, которой он увлекался, была более простенькая девушка. Это была Симочка М., окончившая в тот год псковскую гимназию.

4

Увлечение. Короткое счастье. Страстная любовь к поэту. Вдова М. и ее характеристика. Неожиданный визит. Некрасивая сцена. Согласие на брак

Относясь несколько небрежно к Симочке, Мишель все же порядочно был увлечен ею, ни на минуту, впрочем, не допуская мысли, что он может жениться на ней.

Это было простое увлечение, это была несерьезная и, так сказать, черновая любовь, которой и не следовало бы забивать своего сердца.

Симочка была миленькая и даже славненькая девушка, личико которой, к сожалению, чрезмерно было осыпано веснушками.

Но поскольку она не входила глубоко в жизнь Мишеля, он и не протестовал против этого и даже находил это весьма милым и не лишним.

Они оба уходили в лес или в поле и там нараспев читали стихи или бегали взапуски, как дети, резвясь и восторгаясь солнцем и ароматом.

Тем не менее, в одно прекрасное время Симочка почувствовала себя матерью, о чем и сообщила своему другу. Она любила его первым девичьим чувством и даже могла подолгу глядеть на его лицо не отрываясь.

Она страстно и трогательно любила его, отлично понимая, что он ей, провинциальной девушке, не пара.

Известие, сообщенное Симочкой, глубоко ошеломило и даже напугало Мишеля. Он не столько боялся Симочки, сколько он боялся ее матери, известной в городе гр. М., очень энергичной, живой вдовы, отягченной большой семьей. У нее было что-то около шести

дочерей, которых она довольно успешно и энергично устраивала замуж, идя ради этого на всевозможные хитрости, угрозы и даже оскорбления действием.

Это была очень такая смуглая, несколько рябая дама. Несмотря на это, все девочки у нее были белокурые и даже скорей белобрысенькие, похожие, вероятно, на отца, умершего два года назад от сапа.

В то время не было еще алиментов и брачных льгот, и Мишель с ужасом думал о возможных последствиях.

Он решительно не мог жениться на ней. Он не о такой мечтал жизни и не на такую провинциальную жизнь он рассчитывал.

Ему казалось все это временным, случайным и проходящим. И что вскоре начнется другая жизнь, полная славных радостей, достижений, подвигов и начинаний.

И, глядя на свою подругу, он думал, что она ни в каком случае не должна быть его женой—эта белобрысенькая девушка с веснушками. Кроме того, он знал ее старших сестер—все они, выходя замуж, быстро увядали и старели, и это также было не по душе поэту.

Он уже хотел смотать удочки и выехать в Ленинград, но последующие события задержали его в Пскове.

Смуглая и рябая дама, вдова М., пришла к нему на квартиру и потребовала, чтоб он женился на ее дочери.

Она пришла в тот день и в тот час, когда в квартире никого не было, и Мишель волей-неволей должен был единолично принять на себя весь удар.

Она пришла к нему в комнату и сначала даже несколько сконфуженно и робко поведала о цели своего посещения.

Скромный, мечтательный и деликатный поэт сначала так же вежливо пытался возражать ей, но все слова его были малоубедительны и не доходили до сознания энергичной дамы.

Вскоре вежливый тон сменился на более энергичный. Последовали жесты и даже безобразные слова и крики. Оба кричали одновременно, стараясь заглушить друг друга и тем самым морально подавить волю и энергию.

Вдова М. сидела в кресле, но, разгорячившись, начала крупно шагать по комнате, двигая для большей убедительности стулья, этажерки и даже тяжелые сундуки. Мишель, как утопающий, старался выбраться из пучины и, не сдаваясь, орал и старался даже физически оттеснить вдову в другую комнату и в прихожую.

Но вдова и любящая энергичная мать неожиданно вдруг вскочила на подоконник и торжественным голосом сказала, что вот сейчас она выпрыгнет из окна на Соборную улицу и погибнет, как собака, если он не даст своего согласия на этот брак.

И, раскрыв окно, она моталась на подоконнике, рискуя каждую минуту свалиться вниз.

Мишель стоял ошеломленный и, не зная, что делать, то подбегал к ней, то к столу, то бросался, схватившись за голову, в коридор, чтоб позвать на помощь.

Уже внизу, на улице, стали собираться люди, показывая пальцами и высказывая самые смелые предположения по поводу кричащей и прыгающей на окне дамы.

Гнев, оскорбление, страх скандала и ужас сковали Мишеля, и он стоял теперь, подавленный столь энергическим характером этой дамы.

Он стоял у стола и с ужасом наблюдал за своей гостьей, которая пронзительно, как торговка, визжала и требовала положительного ответа.

Ее ноги скользили по подоконнику, и каждое неосторожное движение могло вызвать ее падение со второго этажа.

Была чудная августовская погода. Солнце блестело с синего неба. Зайчик на стене прыгал от раскрытого окна. Все было знакомо и прекрасно в своей милой повседневности, и только кричащая и визжащая дама нарушала обычный ход вещей.

И волнуясь, и умоляя прекратить выкрики, Мишель дал свое согласие на брак с Симочкой.

Мадам немедленно и охотно сошла тогда с окна и тихим голосом просила его извинить за ее несколько, может быть, шумное поведение, говоря при этом о своих материнских чувствах и ощущениях.

Она поцеловала Мишеля в щеку и, назвав его своим сыном, всхлипнула при этом от неподдельности своих чувств.

Мишель стоял, как в воду опущенный, не зная, что сказать и что сделать и как выпутаться из беды.

Он проводил вдову до дверей и, подавленный ее волей, поцеловал даже неожиданно для себя ее руку и, окончательно смешавшись, попрощался до скорого свидания, лепеча какие-то отдельные слова, мало идущие к делу.

Вдова молча, торжественно и сияя покинула дом, предварительно попудрившись и подрисовав сбитые на сторону брови.

5

Нервное потрясение. Литературное наследство. Свидание. Свадьба. Отъезд тетки Марьи. Кончина матери. Рождение ребенка. Отъезд Мишеля

В тот злосчастный день вечером после ухода незваной гостьи Мишель написал свое известное стихотворение, впоследствии переложенное на музыку: «Сосны, сосны, ответьте мне...»

Это его несколько успокоило, однако, потрясение было настолько значительное и серьезное, что ночью Мишель почувствовал сильное сердцебиение, безотчетный страх, тошноту и головокружение.

Думая, что помирает, с трясущимися руками, в одних подштанниках, поэт вскочил с кровати и, хватаясь за сердце, с тоской и страхом разбудил свою мамашу и тетку, которые не были еще посвящены в эту историю. И, ничего не объясняя, он начал лепетать о смерти и о том, что он хочет отдать свои последние распоряжения по поводу его рукописей.

Он, качаясь, подошел к столу и начал вытаскивать груды рукописей, перебирая их, сортируя и указывая, что, по его мнению, следовало бы издать и что следует отложить на будущие времена.

Обе немолодые дамы, отвыкшие от ночных походов, в нижних юбках и с распущенными волосами, с тоской метались по комнате и, заламывая руки, пытались уговорить и даже силой уложить Мишеля в постель, считая нужным поставить ему компресс на сердце или смазать иодом бок и тем самым оттянуть кровь, бросившуюся в голову.

Но Мишель, прося не тревожиться за его, в сущности, ничтожную жизнь, велел лучше запомнить то, что он говорит по поводу своего литературного наследства.

Разобрав рукописи, Мишель, бегая по комнате в своих подштанниках, начал диктовать тетке Марье Аркадьевне новый вариант

«Лепестков и незабудок», который он не успел еще переложить на бумагу.

Плача и захлебываясь слезами, тетка Марья при свете свечи марала бумагу, путая и перевирая строфы и рифмы.

Лихорадочная работа несколько отвлекла Мишеля от его заболевания. Сердцебиение продолжалось, но было более умеренно, и головокружение сменилось полной сонливостью и апатией. И Мишель, неожиданно для всех, тихо заснул, прикурнув в кресле.

Прикрыв его пледом и перекрестив, старые дамы удалились, страшась за столь нервный организм и неуравновешенную психику поэта.

На другой день Мишель встал, освеженный и бодрый. Но вчерашний страх не покидал его, и он поведал о своих потрясениях своим родственницам.

Драмы и слезы были в полном разгаре, когда пришла записка от Симочки, умолявшей его о свидании.

Он пошел на это свидание надменный и сдержанный, не думая, впрочем, в силу некоторой своей порядочности, ловчиться и отлынивать от обещаний.

Влюбленная женщина умоляла его простить недостойное поведение ее матери, говоря, что она лично хотя и мечтала связать свою жизнь с ним, но никогда не рискнула бы пойти на такие нахальные требования.

Мишель сдержанно сказал, что он сделает то, что обещано, но что на дальнейшую совместную жизнь он не дает гарантии. Может, он проживет в Пскове год или два, но в конце концов он, скорее всего, уедет в Москву или Ленинград, где он и намерен продолжать свою карьеру или, во всяком случае, будет там искать соответствующей жизни, удовлетворяющей его потребностям.

Не оскорбляя девушку словами, Мишель все же дал ей понять разницу в их, если и не положении, которое уравнилось революцией, то, во всяком случае, назначении в жизни.

Влюбленная молодая дама, соглашаясь во всем, восторженно глядела на его лицо и говорила, что она ничем не хочет связывать его жизни, что он волен поступать так, как ему заблагорассудится.

Несколько успокоенный в этом смысле, Мишель сам даже стал говорить, что брак этот решенное дело, но что когда он произойдет, он еще не может сказать.

Они расстались, как и прежде, скорее дружески, чем враждебно, и Мишель спокойным шагом побрел домой, несмотря на то, что рана в его душе не могла зажить так скоро.

Мишель женился на Симочке М. примерно через полгода, зимой, в январе.

Предстоящий брак чрезвычайно подействовал на здоровье матери Мишеля. Она начала жаловаться на скуку жизни и пустоту, и на глаза чахла и хирела, почти не вставая из-за самовара.

Понятие о браке было в то время несколько иное, чем теперь, и это был шаг, по мнению старых женщин, единственный, решительный и освященный таинством.

Тетка Марья также была потрясена. При чем она как-то даже оскорбилась подобным ходом дела и уже все более часто говорила, что ей здесь не место, что она в ближайшее время поедет в Ленинград, где и приступит к своим мемуарам и описаниям встреч.

Мишель, несколько сконфуженный всеми делами, угрюмый ходил по комнатам, говоря, что если б не данное слово, он наплевал бы на все и уехал бы, куда глаза глядят. Но, во всяком случае, пусть

все знают, что этот брак не связывает его, он хозяин своей жизни, он не отступает от своих планов и, вероятно, через полгода или год поедет вслед за теткой.

Свадьба была сыграна скромно и просто.

Они записались в комиссариате, после чего в церкви Преображения было устроено скромное венчание.

Все родственники с обеих сторон ходили сдержанные и как бы по-разному оскорбленные в своих чувствах. И только вдова М., напудренная и подкрашенная, колбасилась в своей вуали по церкви и по квартире Мишеля, в которой и был устроен свадебный ужин.

Вдова одна за всех говорила за столом, провозглашала тосты и спичи и осыпала старух комплиментами, всячески поддерживая этим веселое расположение духа и приличный тон свадьбы.

Молодая краснела за свою мать и за ее рябоватое лицо, и за ее пронзительный, не дававший никому спуску голос и, опустив голову, сидела за своим прибором.

Мишель за весь вечер не терял своей сдержанности, однако, его точила тоска и мысли о том, что его все же, чего бы там ни говорили, опутали, как сукинова сына. И что эта арапская женщина взяла его на испуг, тем более, что навряд ли она кинулась бы из окна.

И в конце ужина, криво усмехаясь, он после поздравлений и любезностей спросил вдову об этом, наклонившись к ее уху:

— А ведь вы бы не прыгнули из окна, Елена Борисовна, — сказал он.

Вдова успокаивала его, как могла, говоря и давая торжественные клятвы в том, что она, несомненно, и скорей всего прыгнула бы, если б он не дал своего согласия. Но под конец, разозленная его кривыми улыбочками, сердито сказала, что у ней шесть дочерей и если из-за каждой она начнет из окон прыгать, то и окон для этого нехватит в помещении.

Мишель пугливо смотрел на ее злое, оскорбленное лицо и, смешавшись, отошел в сторону.

— Все ложь, форменный эгоизм и обман, — бормотал Мишель с краской в лице, вспоминая подробности.

Вечер все же прошел прилично и не оскорбительно для гостей, и началась повседневная жизнь с разговорами об отъезде, о лучшей жизни и о том, что в этом городе невозможно сколько-нибудь прилично устроить свою судьбу, принимая во внимание революционную грозу, которая все более и более разгоралась.

В ту весну, наконец, собравшись, уехала в Ленинград тетка Марья Аркадьевна и вскоре оттуда прислала отчаянное письмо, в котором извещала, что в дороге ее обокрали, унеся ее саквояж с частью драгоценностей.

Письмо было несвязное и запутанное—видимо, это потрясение сильно подействовало на немолодую даму.

К этому времени тихо и неожиданно скончалась мать Мишеля, не успев даже ни с кем проститься и отдать свои последние распоряжения.

Все это сильно подействовало на Мишеля, который стал какой-то тихий, робкий и даже пугливый.

Были пролиты слезы, но это событие вскоре заслонилось другим. У Симочки родился щупленький, но милый ребенок, и новое, неиспытанное отцовское чувство несколько захватило Мишеля.

Однако, это не долго продолжалось, и он снова начал поговаривать об отъезде, уже более реально и решительно.

И осенью, получив от тетки Марьи новое письмо, которое он никому не показал, Мишель быстро стал собираться, говоря, что он обеспечивает свою жену и ребенка всем движимым имуществом, оставляя его в их полную собственность.

Молодая дама попрежнему, а может, даже и более влюбленная в своего супруга, с ужасом слушала его слова, но не смела его удерживать, говоря, что он волен поступать, как ему хочется.

Она его любит попрежнему и несмотря ни на что, и пусть он знает, что тут, в Ёскове, остается верный ему человек, готовый следовать за ним по пятам и в Ленинград, и в ссылку.

Пугаясь, как бы она не увязалась за ним в Ленинград, Мишель переводил разговор на другие темы, но молодая дама, рыдая, продолжала говорить о своей любви и самопожертвовании.

Да, она ему не пара, она всегда это знала, но если когда-нибудь он будет старый, безногий, если когда-нибудь он ослепнет или будет сослан в Сибирь,—тогда он может позвать ее, и она с радостью ответится на его приглашение.

Да, она даже хотела бы для него беды и несчастья—это их уравнило бы в жизни.

Мучаясь от жалости и проклиная себя за малодушие и такие разговоры, Мишель стал поторапливаться с отъездом.

В эту пору объяснений и слез Мишель написал новое стихотворение: «Нет, не удерживай меня, младая дева» и стал быстро и торопливо укладывать свои чемоданы.

Он недолго вкушал семейное счастье и в одно прекрасное утро, достав разрешение на выезд, отбыл в Ленинград с двумя небольшими чемоданами и корзинкой.

6

Новые планы. Несчастье тетки Марьи. Мишель поступает на службу. Новая комната. Новая любовь. Неожиданная катастрофа. Серьезная болезнь тетки

Мишель приехал в Ленинград и поселился на Фонтанке, угол Невского.

Он временно поселился в теткиной комнате за ширмой. Однако, ему твердо была обещана отдельная комната, как только кто-нибудь из жильцов помрет.

Но Мишель не очень торопился с этим. Другие идеи и планы теснились в его голове.

Он приехал в Ленинград примерно за год или за два до нэпа. Революция была в полном разгаре. Голод и разрухи, так сказать, сжимали город в своих цепких объятиях. И, казалось, было странным приезжать в эту пору и искать лучшей жизни и карьеры. Но на это были свои причины.

В присланном письме тетка Марья со своей беспечностью извещала Мишеля, что, вероятно, в ближайшие месяцы город Ленинград отойдет к Финляндии или к Англии и будет объявлен вольным городом. В ту пору такие слухи ходили среди населения, и Мишель, взволнованный этим извещением, поторопился приехать.

Тетка, кроме того, извещала, что она отнюдь не переменила своих либеральных убеждений и не идет против революции, но поскольку революция продолжается так долго, и вот уже третий год как ей не отдают именина, то это просто ни на что не похоже, и в таком случае им самим необходимо предпринять решительные шаги.

Итак, в силу этого Мишель прибыл в Ленинград и поселился на Фонтанке.

Он нашел тетку чрезвычайно изменившейся. Он просто не узнал ее.

Это была весьма похудевшая старуха с отвисшей челюстью и блуждающим взором.

Тетка поведала ему, что ее за это время дважды обчистили. Первый раз в поезде и второй раз здесь на квартире. К ней под видом обыска пришли просто какие-то мазурики и, предъявив фальшивый мандат, унесли почти все оставшиеся драгоценности.

Когда-то веселая и живая дама стала тихой, дрябловатой и не любопытной старухой. Она по большей части лежала теперь на своей кровати и неохотно вступала в разговор даже с Мишелем. А если и начинала говорить, то сводила разговор главным образом на свои кражи, волнуясь при этом и неся какую-то явную околесицу.

Однако, тетка не была в нужде. На ее шее была прекрасная массивная цепь с золотым лорнетом. На пальцах ее были нанизаны разные кольца и караты, и имущества в комнате было слишком достаточно.

Время от времени тетка Марья продавала на базаре ту или иную вещь и жила довольно прекрасно, помогая при этом Мишелю, который ничего не имел и не предполагал иметь.

Слухи о вольном городе оставались ни на чем необоснованными слухами. И в силу этого приходилось подумать о более оседлой жизни и о будущей судьбе.

И Мишель, записавшись на биржу труда, вскоре получил назначение на работу.

Он получил назначение во Дворец Труда. И в силу того, что он не имел никакой специальности и, в сущности, не умел ничего делать, ему дали мелкую бестолковую работу в справочном отделении.

Такая работа, конечно, не могла удовлетворить духовных и поэтических запросов Мишеля. Больше того, он был несколько даже сконфужен и даже обижен такой работой, более пригодной для молодой беспечной девицы. Давать справки и указания, где какая комната расположена и где какой работает товарищ,—это было просто смешно, несерьезно и даже форменным образом оскорбительно для его мужского достоинства.

Однако, в ту пору нельзя было быть слишком разборчивым, и Мишель нес свои обязанности, неясно надеясь на какие-то перемены и улучшения.

К этому времени Мишель получил в квартире комнату, которая неожиданно очистилась благодаря отъезду за границу одного известного поэта Х.

Это была прелестная небольшая комната, тоже с видом на Фонтанку и Невский.

Это обстоятельство окрылило Мишеля и вдохнуло в него угасавшее творчество.

Получая паек и небольшую помощь от тетки, он уже довольно прилично себя чувствовал и стал ходить по гостям, найдя в городе кое-каких бывших своих знакомых и товарищей.

В эту зиму было получено два письмаца от Симочки.

Эти письма взволновали Мишеля, но, мучась от жалости к ней, он все же решил не отвечать на них, более правильным, не морочить голову молодой женщине и не давать ей неопределенных надежд.

И он продолжал свою жизнь, отыскивая в ней новые радости.

В ту пору он сошелся с очень такой исключительной, красивой женщиной, несколько, правда, развязной в своих движениях и поступках.

Это была некая Изабелла Ефремовна Крюкова—очень красивая, даже элегантная женщина, совершенно неопределенной профессии и даже, кажется, не член профсоюза.

Эта связь доставила Мишелю много новых беспокойств и треволнений.

Не имея средств для приличной жизни, Мишель сколько возможно тянул со своей тетки, которая с каждым днем делалась все более угрюмой, нелюбезной и неохотно пускала в комнату Мишеля. И всякий раз беспокойно следила за его движениями во время визита, видимо, побаиваясь, как бы он чего не спер.

Она давала ему незначительные подачки, и Мишелю приходилось убеждать, кричать, даже ругать тетку, обзывая ее скупердьяйкой, держимордой и сволочью.

Около года продолжалась такая беспокойная жизнь.

Красивая возлюбленная приходила к Мишелю на своих французских каблучках и требовала все новых и новых расходов. Поэту приходилось изворачиваться и ломать себе голову в поисках доходов.

Мишель продолжал нести свою службу, к которой он относился все более небрежно и халатно. Он неохотно давал теперь справки, кричал на посетителей и даже в раздражении иной раз топал на них ногами, посылая более назойливых к чертям собачьим и дальше.

Он особенно не любил грязных и неуклюжих мужиков, которые приходили за справками, путая, перевирая и неточно излагая свои мысли.

Мишель грубо орал на них, называя их сиволапыми олухами, и морщился от запаха нищеты, некрасивых лиц и грубой одежды.

Конечно, так не могло долго продолжаться, и после целого ряда жалоб Мишель потерял службу, лишившись пайка и кое-каких доходов.

Это был, в сущности говоря, серьезный удар и форменная катастрофа, но влюбленный поэт не замечал, что тучи над его головой сгущаются.

Изабелла Ефремовна приходила к нему почти что всякий день и пела грудным низким голосом разные цыганские романсы, прихотывая при этом ногами и аккомпанируя себе на гитаре.

Это была прелестная молодая дама, рожденная для лучшей судьбы и беспечной жизни. Она презирала бедность и нищету и мечтала уехать за границу, подбивая на это и Мишеля, с которым она мечтала перейти персидскую границу.

И в силу этого Мишель не искал работы и жил, надеясь на какие-то неожиданные обстоятельства.

И эти обстоятельства вскоре последовали.

В одно ненастное утро, придя в комнату тетки для того, чтобы попросить у нее необходимых ему денег, и приготовившись к стычке, Мишель поражен был беспорядком и сдвинутыми с места вещами.

Тетка Марья сидела в кресле, перебирая в руках какие-то бутылки, пузырьки и коробочки.

Она взволновалась, когда Мишель вошел в комнату, и, пряча под платок свои склянки, начала визжать и бросать в Мишеля что попадет под руку.

Мишель стоял остолбеневший около двери, не смея шагнуть дальше и не понимая, чего, собственно, тут происходит.

Через несколько секунд тетка, позабыв о Мишеле, начала кружиться по комнате, напевая при этом шансонетки и вскидывая ногами.

Тогда Мишель понял, что тетка Марья свихнулась в своем уме.

И, пугаясь ее, взволнованный и потрясенный, он прикрыл дверь и в щелку начал следить за безумной старухой.

У нее появились совершенно необычайные молодые движения. Ее обычная за последний год неподвижность сменилась каким-то бурным весельем, движениями и суетой.

Тетка буквально порхала по комнате и, подбегая к зеркалу, гримасничала и кривлялась, посылая неизвестно кому воздушные поцелуи.

Мишель пораженный стоял за дверью, прикидывая в уме, как ему поступить и что делать и какие, собственно говоря, выгоды он может снять с этого дела.

Затем, прикрыв плотно дверь, Мишель кинулся к уполномоченному квартирой, чтоб сообщить о несчастье.

7

Тетку отправляют в лечебницу. Желтый дом. Веселая жизнь. Свидание с теткой. Окончательная распродажа имущества

Квартира, в которой проживал Мишель, была коммунальная. В ней было десять комнат с тридцатью слишком жильцами.

Мишель не имел отношения к этим людям, он даже чуждался их и не заводил знакомства.

Тут, между прочим, жил портной Елкин со своей супругой и ребенком, фабричная работница, бухгалтер Госцветмета Р. и почтовый служащий Н. С., который и являлся уполномоченным квартиры.

Было воскресенье, и все жильцы находились дома в своих комнатах.

Стараясь не шуметь и говоря взволнованным шопотом, Мишель предупредил уполномоченного о буйном сумасшествии своей тетки.

Было решено вызвать карету скорой помощи и поскорей сплавить старуху в сумасшедший дом, поскольку это представляло значительную опасность для жильцов.

Мишель, ахая, бросился в нижнюю квартиру и по телефону вызвал карету скорой помощи, которая и прибыла незамедлительно.

Два человека в белых балахонах в сопровождении Мишеля вошли в комнату старухи.

Тетка Марья, забившись в угол, не подпускала к себе никого, бросаясь вещами и ругаясь, как мужчина.

Позади раскрытых дверей теснились жильцы, помогая советами и планами захвата старухи.

Все говорили шопотом и с нескрываемым диким любопытством следили за движениями безумной старухи.

Братья милосердия в своих халатах, как более опытные, одновременно шагнули к больной и, схватив ее за руки, сжали ее в своих объятиях.

Старуха старалась укусить их за руки, но, как это и всегда бывает, бурная энергия сменилась спокойствием и даже безжизненной апатией.

Старуха позволила надеть на себя ватерпруф. Голову ей обвязали платком и, подталкиваемая сзади Мишелем, она была благо-

получно под руки спущена вниз и посажена в автомобиль, в который уместился и Мишель, со страхом поглядывая на свою обезумевшую родственницу.

Всю дорогу тетка почти не проявляла признаков жизни, и только когда автомобиль приехал на Пряжку и остановился у желтого дома, тетка Марья снова проявила буйство и, сопротивляясь, долго не хотела вылезать из автомобиля, снова ругаясь безобразными словами.

Однако, ее благополучно вывели и под руки через сад повели в под'езд.

Сторож у ворот, привыкший к таким делам, без любопытства наблюдал за этой сценой и, встав со своей скамейки, молча пальцем указал, куда двигаться.

Старуху провели через темный коридор и сдали в распределитель.

Мишель заполнил анкету и, получив на руки теткины драгоценности—ее золотую цепочку с лорнетом, кольца и брошь, вышел взволнованный из приемной комнаты.

Он прошел сад и, очутившись на улице, остановился в нерешительности. Потом долго ходил по улице и со страхом и даже с ужасом поглядывал на желтый дом, прислушиваясь к крикам и воплям, доносившимся из открытых окон.

Он пошел было домой, но, остановившись на деревянном мосту через Пряжку, обернулся назад.

Желтый дом с облезлой, грязной штукатуркой был теперь весь на виду. В окнах за решетками мелькали белые фигуры. Некоторые неподвижно стояли у окон и смотрели на улицу. Другие, ухватившись за решетки, старались сдвинуть их с места.

Внизу на улице, на берегу Пряжки, стояли нормальные люди и с нескрываемым любопытством глядели на сумасшедших, задрав кверху свои головы.

Мишель быстро и не оглядываясь пошел домой, неся в своих руках теткины драгоценности.

Первые дни потрясения прошли, все улеглось, и жизнь, как обычно, пошла дальше.

Не имея службы и не ища ее, Мишель продолжал беспечно существовать и, встречаясь со своей возлюбленной, жил на теткино имущество, которое так неожиданно досталось ему.

В то время был уже нэп во всем своем разгаре. Снова были открыты магазины, театры и кино. Появились извозчики и лихачи. И Мишель со своей дамой окунулся в водоворот жизни.

Они под руку появлялись во всех ресторанах и кабаках. Танцевали фокстрот и утомленные, почти счастливые, возвращались на лихаче домой с тем, чтобы заснуть крепким сном и утром снова начать веселое, беспечное существование.

Но иной раз, вспоминая про свою тетку и тратя ее имущество, Мишель чувствовал угрызение совести и тогда, всякий раз, давал себе слово навестить больную для того, чтоб снести ей кой-каких конфет и гостинцев и тем самым сделать ее участницей в расходах.

Но дни шли за днями, и Мишель откладывал свое посещение.

В эту зиму веселья и танцев Мишель получил извещение из Пскова от своего владельца дома и теперь арендатора о том, что его жена, потеряв ребенка и выйдя замуж, уехала из квартиры, задолжав ему значительную сумму. Она оставила ему кое-какую мебель, которую арендатор и сосчитает своей, если Мишель не пришлет ему денег в ближайший месяц.

Прочтя это письмо утром после попойки, Мишель сердито скомкал его и бросил под кровать с тем, чтобы не вспоминать о своей прошлой жизни.

Так проходила зима, и в один из февральских дней, после того, как были проданы последние драгоценности, Мишель отправился к тетке на свидание.

Он купил разной снеди и с тяжелым сердцем и неопределенным страхом отправился на Пряжку.

Тетку привели в приемную комнату и оставили ее вместе с Мишелем.

Буйное сумасшествие сменилось тихой меланхолией, и теперь тетка Марья в своей белой полотняной кофте стояла перед Мишелем и, странно и хитро поглядывая на него, не узнавала своего племянника.

Сказав несколько неопределенных слов и делая руками энергичные жесты, понятные сумасшедшим, Мишель молча поклонился и вышел из помещения с тем, чтобы сюда никогда не возвращаться.

С легким сердцем Мишель вернулся домой и уже со спокойной совестью стал распоряжаться своим наследством.

Изабелла Ефремовна ревностно помогала ему в этом, уговаривая его поменьше церемониться и стесняться в смысле окончательной распродажи всего имущества.

8

Неожиданная беда. Ужасный скандал. Нервная болезнь Мишеля. Ссора с возлюбленной. Падение

В апреле 1925 года стояла исключительно хорошая и ясная погода.

Мишель в легком своем пальто, под руку с Изабеллой Ефремовной, выходил из своей комнаты, желая пойти погулять на Набережной и посмотреть на ледоход.

И, закрывая дверь на ключ и напевая «Бананы, бананы», он поглядывал на свою даму.

Она тут же колбасилась в коридоре, делая своими стройными ножками разные па и танцуя чарльстон.

Она была чудно хороша в своем светлом весеннем костюме, со своим прелестным профилем и завитушками из-под шляпы.

Мишель любовно глядел на нее, восхищаясь ее красотой, молодостью и беспечностью.

Да, конечно, она не была слишком ученая девица, способная с легкостью поговорить о Канте или Бабеле или о теории вероятности и относительности. Безусловно, она этого ничего не знала и не имела склонности к умозрительным наукам, предпочитая им легкую, простую жизнь. Морщины раздумья не бороздили ее лба.

Мишель любил ее со всей страстью и, мысленно сравнивая ее со своей бывшей Симочкой, приходил в ужас,—как он мог так низко пасть, женившись на такой провинциальной курочке.

Итак, танцуя чарльстон и дурачась и взявшись за руки, они пошли по коридору и, выйдя в прихожую, остановились, чтоб пропустить вошедшую пару.

Это был рассыльный с книжкой и рядом с ним старая женщина, завернутая в зимний ватерпруф, с головой, повязанной шерстяным платком.

Это была не кто иная, как тетка Марья.

Грубым, шутовым тоном рассыльный спросил, здесь ли проживала выздоровевшая гражданка А. и если здесь, то вот, не угодно ли принять кого следует.

Все помутилось в глазах Мишеля. Ноги приросли к полу, и страх отнял у него дар речи.

Кое-как поставив небольшую каракулю в рассыльной книге, Мишель перевел глаза на тетку, которая, сконфуженно улыбаясь, ручкой приветствовала своего племянника.

Мишель начал лепетать непонятные слова и, пятась к двери, старался заслонить проход, не желая тем самым пропустить тетку дальше.

Тетка Марья шагнула к нему и начала довольно понятно изъясняться, говоря, что она сильно прихворнула, но теперь почти что оправилась и в дальнейшем нуждается только в полной тишине и спокойствии.

Понимая всю серьезность дела и не желая мешать объяснению родственников, Изабелла Ефремовна, сказав, что она зайдет завтра, как птичка, выпорхнула на лестницу и исчезла.

А тетка Марья в сопровождении Мишеля пошла по коридору, направляясь к своей двери.

Мишель, взяв тетку под руку и стараясь не допустить ее в комнату, в которой оставалась лишь какая-то жалкая дребедень, тянул ее к себе, говоря, что, ну вот, и отлично, и прекрасно, вот сейчас они присядут у Мишеля на диване и попьют чайку.

Однако, тетка, не пожелав чаю, настойчиво шла к своей комнате, твердо сохранив в своем непрочном уме расположение комнат.

Она вошла в комнату и остановилась, пораженная и полная гнева. Автор, щадя нервы читателей, не считает возможным продолжать свое описание скандала и драматических сцен, происшедших в первые полчаса.

Оголенная комната зияла своей пустотой. В углу стоял нетронутый мраморный умывальник и несколько стульев, не проданных в силу значительной изношенности.

По прошествии получаса тетка набросилась на Мишеля снова, по-мужски ругаясь и выкрикивая такие слова, от которых шарахались в сторону видавшие виды жильцы.

Нервный подъем сменился тихими слезами, чем воспользовался Мишель. Он проскользнул в свою комнату и, обессиленный, рухнул на кровать.

К вечеру стало известно, что тетка вновь свихнулась в своем уме и вновь делает по своей комнате какие-то прыжки и движения.

Еле волоча ноги, Мишель убедился в этом и, сделав соответствующие распоряжения, вернулся к себе.

К ночи тетку Марью вновь отвезли в психиатрическую лечебницу.

Жильцы судачили о всяких превратностях судьбы и говорили о необходимости показательного суда над Мишелем, который обратил тетку с ума, решив воспользоваться ее последними креслами.

Однако, Мишель на другой день слег в постель в нервной горячке и этим прекратил пересуды.

Три недели он пролежал, думая, что пришел ему конец и расплата, но молодость и цветущее здоровье сохранили ему жизнь.

Изабелла Ефремовна изредка посещала его. Ее веселость сменялась натянутостью, и она еле разговаривала с больным, пикирясь и капризная.

Болезнь значительно изменила Мишеля. Вся его беспечность ушла, и он снова был таким же, как в Пскове — меланхоличным и созерцательным субъектом.

Вновь приходилось подумать о существовании и о куске насущного хлеба.

М. П. Синягин принялся хлопотать и несколько раз ходил на биржу труда, регистрируясь и отмечаясь.

Не умея ничего делать и не зная никакой специальности, он имел, конечно, мало шансов получить приличную работу.

Правда, ему сразу предложили поехать на торфяные разработки, говоря, что, не имея специальности, он навряд ли получит сейчас что-либо другое.

Это предложение страшно поразило Мишеля и даже напугало. Как, он должен поехать куда-то там такое за 60 верст и там копать лопатой разную дрянь и глину! Это никак не укладывалось в его голове, и он, сердито обругав барышню свиньей, ушел домой.

Он стал продавать свои вещи, приобретенные за время своего благополучия, и полгода жил довольно прилично, не имея сильной нужды.

Но так, конечно, не могло вечно продолжаться, и надо было подумать о чем-то существенном.

И, понимая, что он катится под гору, Мишель старался все же не думать об этом и сколько возможно оттягивать решительный момент.

К этому времени он поругался с Изабеллой Ефремовной, которая все иногда заходила к нему и, хмуря носик, спрашивала, что он намерен делать.

Он поссорился с ней, назвав ее гадиной и корыстной канальей, и этот разрыв несколько даже облегчил его существование.

Изабелла Ефремовна охотно пошла на ссору и, хлопнув дверью, упорхнула, предварительно, конечно, поскандалив и поругавшись на разные темы.

Мишель понимал свое критическое положение, и ему временно казалось, что всюду жизнь, и, может, действительно стоит ему поехать на разработки. Однако, поругавшись на бирже и порвав свой листок, Мишель уже не имел мужества пойти туда вновь.

9

Приятная встреча. Новая работа. Мрачные мысли. Нищета. Душевное спокойствие. Благодетельная природа. Помощь автора. Кража пальто с обезьянковым воротником

Оставив себе серый пиджачок и осеннее пальто, Мишель без жалости расстался почти со всем своим имуществом.

Но оставленные вещи чрезвычайно быстро приходили в ветхость, и это обстоятельство только усиливало падение.

Понимая, что ему не выбраться из создавшегося положения, Мишель вдруг успокоился и поплыл по течению, мало заботясь о том, что будет.

Однажды, встретив одного знакомого нэпмана и владельца маленькой фабрички минеральных и фруктовых вод, Мишель шутливо попросил каким-нибудь образом помочь ему.

Тот обещал устроить его на свою фабричку, однако, предупредил, что работа будет не слишком подходящая для поэта и вряд ли Мишель на нее согласится. Надо было мыть бутылки, которые во

множестве с разных сторон, и даже из помоек, поступали на фабрику, где их и приводили в христианский вид, полоща и моя с песком и еще с какой-то дрянью.

Мишель взял эту работу и несколько месяцев ходил в Апраксин рынок на производство, пока не прогорел зарвавшийся нэпман.

Спокойствие и ровное душевное состояние не покидало Мишеля. Он как бы потерял старое представление о себе. И приходя домой, ложился спать, не думая ни о чем и ни о чем не вспоминая.

Когда нэпман прогорел и заработок был потерян, Мишель и тут не почувствовал большой беды.

Правда, временами, очень редко находило на него раздумье, и тогда Мишель, как волк, бегал по своей комнате, кусая и грызя свои ногти, к чему он получил привычку за последний год.

Но это, собственно, были последние волнения, после чего жизнь потекла попрежнему ровно, легко и бездумно.

Уже все жильцы в квартире видели и знали, как обстоят дела Мишеля и сторонились его, побаиваясь, как бы он не сел им на шею.

И, незаметно для себя, Мишель из владельца комнаты стал угловым жильцом, поскольку в его комнату вселился один безработный, который по временам ходил торговать семечками.

Так прошёл почти год, и жизнь увлекла Мишеля все глубже и глубже.

Уже портной Егор Елкин, заходя в комнату Мишеля, пьяным голосом иной раз просил его присмотреть за своим младенцем, так как надо было портному отлучиться, а супруга нивесть где бродит по случаю своей красоты и молодости.

И Мишель заходил в комнату к портному и без интереса глядел, как полуголый ребенок скользит по полу, шалая, забавляясь и поедая тараканов.

Дни шли за днями, и Мишель ничего не предпринимал.

Он стал иногда просить милостыню. И, выходя на улицу, иной раз останавливался на углу Невского и Фонтанки и стоял там, спокойно поджидая подавания.

И, глядя на его лицо и на бывший приличный костюм, прохожие довольно охотно подавали ему гривенники и даже двугривенные.

При этом Мишель низко кланялся, и приветливая улыбка растягивала его лицо. И, низко кланяясь, он следил глазами за монетой, стараясь поскорей угадать ее достоинство.

Он не замечал в себе перемены, его душа была попрежнему спокойна, и никакого горя он более не ощущал в себе.

Автору кажется, что это форменная брехня и вздор, когда многие и даже знаменитые писатели описывают разные трогательные мучения и переживания отдельных граждан, попавших в беду, или, скажем, не жалея никаких красок, сильными мазками описывают душевное состояние уличной женщины, накручивая на нее чорт знает чего, и сами удивляются тому, чего у них получается.

Автор думает, что ничего этого по большей части не бывает.

Жизнь устроена гораздо, как бы сказать, проще, лучше и приятней. И беллетристам от нее совершенно мало проку.

Нищий перестает беспокоиться, как только он становится нищим. Миллионер, привыкнув к своим миллионам, также не думает о том, что он миллионер. И крыса, по мнению автора, не слишком страдает от того, что она крыса.

Ну, насчет миллионера автор, возможно, что и прихватил

лишнее. Насчет миллионера автор не утверждает, тем более, что жизнь миллионеров проходил для автора как в тумане.

Но это дела не меняет, и величественная картина нашей жизни остается в силе.

Вот тут-то и приходит на ум то обстоятельство, о котором автор уже имел удовольствие сообщить в своем предисловии. Человек очень даже великолепно устроен и охотно живет такой жизнью, какой живется. Ну, а которые не согласны, те, безусловно, идут на борьбу, и ихнее мужество и смелость всегда вызывали у автора изумление и чувство неподдельного восторга.

Конечно, автор не хочет сказать, что человек, и в данном случае М. П. Синягин, стал деревянным и перестал иметь чувства, желания, любовь хорошо покушать и так далее.

Нет, это все у него было, но это было уже в другом виде, и так сказать, в другом масштабе, вровень с его возможностями.

Чувства автора перед величием природы не поддаются описанию!

Автор должен еще сказать, что он сам находился в те годы в сильной нужде, и помощь с его стороны своему родственнику была незначительная. Однако, автор много раз давал ему сколько было возможно.

Но однажды, в отсутствие автора, Мишель снял с вешалки чужое пальто с обезьянковым воротником и загнал его буквально за гроши. После чего он вовсе перестал ходить и даже перестал раскладываться с автором.

Конечно, автор понимал его грустное положение и даже ни одним словом не заикнулся о краже, но Мишель, чувствуя свою вину, попросту отворачивался от автора и не хотел вступать с ним ни в какие разговоры.

Об этом автору приходится говорить с чрезвычайно, так сказать, стесненным чувством и даже с сознанием какой-то своей вины, в то время как никакой вины, в сущности, не было.

10

Жизнь начинается завтра. Выручка за день. Ночлежный дом. Сорок лет. Неожиданные мысли. Новое решение.

Автор считает нужным предупредить читателя о том, что наше повествование окончится благополучно и в конце концов счастье вновь коснется крыльями нашего друга Мишеля Синягина.

Но пока что нам придется еще немного коснуться кое-каких неприятных переживаний.

Так проходили месяцы и годы. Мишель Синягин побирался и почти всякий день отправлялся на эту свою работу либо к Гостиному Двору, либо к Пассажу.

Он становился к стенке и стоял, прямой и неподвижный, не протягивая руки, но кланяясь по мере того, как проходили подходящие для него люди.

Он собирал около трех рублей за день, а иногда и больше, и вел сносную и даже сытную жизнь, кушая иной раз колбасу, студень и другие товары.

Однако, он задолжал за квартиру, не платя за нее почти два года, и этот долг висел теперь над ним, как Дамоклов меч.

Уже к нему в комнату заходили люди и откровенно спрашивали об его отъезде.

Мишель говорил какие-то неопределенные вещи и давал какие-то неясные обещания и сроки.

Но однажды вечером, не желая новых объяснений и новых натисков, он не вернулся домой, а пошел ночевать в ночлежку, или, как еще иначе говорят, на гопу, на Литейный проспект.

В ту пору на Литейном, недалеко от Кирочной, был ночлежный дом, где за 25 копеек давали отдельную койку, кружку чаю и мыло для умывания.

Мишель несколько раз оставался здесь ночевать и в конце концов вовсе сюда перебрался со своим небольшим скарбом.

И тогда началась совсем размеренная и спокойная жизнь, без ожидания каких-то чудес и возможностей.

Конечно, собирать деньги не было занятием слишком легким. Надо было стоять на улице и в любую погоду поминутно снимать шапку, застуживая этим свою голову и простужаясь.

Но другого ничего пока не было и другого выхода Мишель не искал.

Ночлежка с ее грубоватыми обитателями и резкими нравами, однако, значительно изменила скромный характер Мишеля.

Здесь тихий характер и робость не представляли никакой ценности и были даже, как бы сказать, ни к чему.

Грубые и крикливые голоса, ругань, кражи и мордобой выжидали тихих людей или заставляли их соответственным образом менять свое поведение.

И Мишель стал говорить грубоватые фразы своим сиплым голосом и, защищаясь от ругани и насмешек, нападал в свою очередь сам, безобразно ругаясь и даже участвуя в драках.

Утром Мишель убирал свою койку, пил чай и, часто не мывшись, торопливо шел на работу, иногда беря с собой замызганный парусиновый портфель, который, как бы сказать, придавал ему особенно четкий, интеллигентный вид и указывал на его бывшее происхождение и возможности.

Дурная привычка последних лет—грызть свои ногти—стала совершенно неотвязчивой, и Мишель обкусывал свои ногти до крови, не замечая этого и не стараясь от этого отвыкнуть.

Так прошел еще год, итого почти девять лет со дня приезда в Ленинград. Мишелю было 42 года, но длинные и седоватые волосы придавали ему еще более старый и опустившийся вид.

В мае 1929 года, сидя на скамейке Летнего сада и греясь на весеннем солнце, Мишель незаметно и неожиданно для себя с каким-то даже страхом и торопливостью стал думать о своей прошлой жизни, о Пскове, о жене Симочке и о тех прошлых днях, которые казались ему теперь удивительными и даже сказочными.

Он стал думать об этом в первый раз за несколько лет. И, думая об этом, почувствовал тот старый и нервный озноб и волнение, которое давно оставило его и которое бывало, когда он сочинял стихи или думал о возвышенных предметах.

И та жизнь, которая ему казалась унижительной для его достоинства, теперь сияла своей небесной чистотой. Та жизнь, от которой он ушел, казалась ему теперь наилучшей жизнью за все время его существования.

Страшно взволнованный, Мишель стал мотаться по саду, махая руками и бегая по дорожкам.

И вдруг ясная и понятная мысль заставила его задрожать всем телом.

Да, вот сейчас и сию минуту он поедет в Псков, там встретит свою бывшую жену, свою любящую Симочку, с ее миленькими веснушками. Он встретит свою жену и проведет с ней остаток своей жизни в полном согласии, любви и нежной дружбе.

И, думая об этом, он вдруг заплакал от всевозможных чувств и восторга, охватившего его.

И, вспоминая те жалкие и счастливые слова, которые она ему говорила 9 лет назад, Мишель поражался теперь, как он мог ею пренебречь и как он мог учинить такое явное сукин-сынство—бросить такую исключительную и достойную даму.

Он вспоминал теперь каждое слово, сказанное ею. Да, это она ему сказала и она молила судьбу, чтоб он был больной, старый и хромой, предполагая, что тогда он вернется к ней.

И еще более взволновавшись от этих мыслей, Мишель побежал, сам не зная куда.

Быстрая ходьба несколько утихомирила его волнение, и тогда, торопясь и не желая терять ни одной минуты, Мишель отправился на вокзал и там начал расспрашивать, когда и с какой платформы отправляется поезд.

Но, вспомнив, что у него было не больше одного рубля денег, Мишель снова задрожал и стал спрашивать о цене билета.

Проезд до Пскова стоил дороже, и Мишель, взяв билет до Луги, решил оттуда как-нибудь добраться до своего сказочного города.

Он приехал в Лугу ночью и крепко заснул на сложенных возле полотна шпалах.

А чуть свет, дрожа всем телом от утренней прохлады и волнения, Мишель вскочил на ноги и, покушав хлеба, пошел в сторону Пскова.

11

Возвращение. Родные места. Свидание с женой. Обед. Новые друзья. Служба. Новые мечты. Неожиданная болезнь

Мишель пошел по тропинке вдоль полотна железной дороги, шагая сначала в какой-то нерешительности и неуверенности.

Потом он прибавил шагу, и несколько часов под ряд шел, не останавливаясь и ни о чем не думая.

Вчерашнее его волнение и радость сменились тупым безразличием и даже апатией. И он шел теперь, двигаясь по инерции, не имея на это ни воли, ни особой охоты.

Было прелестное майское утро. Птички чирикали, с шумом вылетая из кустов, около которых проходил Мишель.

Солнце все больше и больше пекло ему плечи, и ноги, обутые в галоши, стерлись и устали от непривычной ходьбы.

В полдень Мишель, утомившись, присел на край канавы и, обняв свои колени, долго сидел не двигаясь и не меняя позы.

Белые неподвижные облака на горизонте, молодые листочки деревьев, первые желтые цветы одуванчика напомнили Мишелю его лучшие дни и снова заставили его на минуту взволноваться о тех возможностях, которым он шел навстречу.

Мишель растянулся на траве и, глядя в синеву неба, снова почувствовал какую-то радость успокоения.

Но эта радость была умеренная. Это не была та радость и тот восторг, которые охватывали Мишеля в дни его молодости.

Нет, он был другим человеком, с другим сердцем и с другими мыслями.

Неизвестно, правда ли это, но автору одна девушка, окончившая в прошлом году стенографические курсы, рассказала, что будто в Африке есть какие-то животные, в роде ящериц, которые при падении более крупного существа, выбрасывают часть своих внутренних органов и убегают с тем, чтобы в безопасном месте свалиться в бессознательном состоянии и лежать на солнце, покуда не нарастут новые органы. А нападающий зверек прекращает погоню, довольствуясь тем, что ему дали.

Если это так, то восхищение автора перед явлениями природы наполняет его новым трепетом и жаждой жить.

Мишель не был похож на такую ящерицу, он сам нападал и сам хватал своих врагов за загривок, но в схватке он, видимо, тоже растерял часть своего добра и сейчас лежал пустой и почти безразличный, не зная, собственно, зачем он пошел и хорошо ли это он сделал.

На другой день, отдыхая почти каждый час и ночуя в кустах, Мишель пришел в Псков, вид которого заставил забиться его сердце.

Мишель прошел по знакомым улицам и вдруг очутился у своего дома, с тоской заглядывая в его окна и до боли сжимая свои руки.

И, открыв плечом калитку ворот, он вошел в сад, в тот небольшой тенистый сад, в котором когда-то писались стихи и в котором когда-то сидела тетка Марья, мамаша и Симочка.

Все было так же, как и 9 лет назад, только дорожки сада были запущены и заросли травой.

Те же две высокие ели росли у заднего крыльца и та же собачья будка без собаки стояла возле сарайчика.

Несколько минут стоял Мишель неподвижно, как изваяние, созерцая эти старые и милые вещи. Но вдруг чей-то голос вернул его к действительности.

Старая, завернутая в белую косынку старуха, беспокойно глядя на него, спросила, зачем он сюда пришел и что ему нужно.

Путаясь в словах и со страхом называя фамилии, Мишель стал расспрашивать о бывших жильцах, об арендаторе дома и о Серафиме Павловне, его бывшей жене.

Старуха, приехавшая сюда недавно, не могла удовлетворить его любопытства, однако, указала адрес, где теперь проживала Симочка.

Через полчася Мишель, унимая сердцебиение, стоял у дома на Басманной улице.

Он постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь и шагнул на порог кухни.

Молодая женщина в переднике стояла у плиты, держа в одной руке тарелку, другой рукой, вооруженной вилкой, она доставала вареное мясо из кипящей кастрюльки.

Женщина сердито посмотрела и, нахмурившись, приготовилась закрывать на вошедшего, но вдруг слова замерли на ее губах.

Это была Серафима Павловна, это была Симочка, сильно изменившаяся и постаревшая.

Ах, она очень похудела! Когда-то полненький ее стан и круглое личико были неузнаваемые и чужие.

У нее было желтоватое увядшее лицо и короткие обстриженные волосы.

— Серафима Павловна,—тихо сказал Мишель и шагнул к ней.

Она страшно закричала, металлическая тарелка выпала из ее рук и со звоном и грохотом покатила по полу. И вареное мясо упало в кастрюлю, разбрызгивая кипящий суп.

— Боже мой,—сказала она, не зная, что сделать и что сказать. Она подняла тарелку и, пробормотав «сейчас», скрылась за дверь.

Через минуту она снова вернулась в кухню и, робко протянув руку, попросила Мишеля сесть.

Не смея к ней подойти и страшась своего вида, Мишель сел на табурет и сказал, что вот он, наконец, пришел и что вот у него какое печальное положение.

Он говорил тихим голосом и, разводя руками, вздыхал и конфузился.

— Боже мой, боже мой,—бормотала молодая женщина, с тоской ломая свои руки.

Она смотрела на его одутловатое лицо и на грязное тряпье его костюма и беззвучно плакала, не соображая, что делать.

Но вдруг из комнаты вышел муж Серафимы Павловны и, видимо, уже зная, в чем дело, молча пожал Мишелю руку и, отойдя в сторону, присел на другую табуретку, возле окна.

Это был гр. Н., заведывающий кооперативом, немолодой уже и скорей пожилой человек, толстоватый и бледный.

Сразу поняв в чем дело и сразу оценив положение и своего неожиданного соперника, он стал говорить веским и вразумительным тоном, советуя Серафиме Павловне позаботиться о Мишеле и принять в нем участие.

Он предложил Мишелю временно поселиться у них в доме, в верхней летней комнатке, поскольку уже в достаточной мере тепло.

Они обедали втроем за столом и, кушая вареное мясо с хреном, изредка перекидывались словами относительно дальнейших шагов.

Муж Серафимы Павловны сказал, что службу сейчас найти крайне легко и что безработных сейчас все меньше и меньше на бирже труда, так что в этом он не видит никакого затруднения. И это обстоятельство позволит, вероятно, Мишелю даже выбирать себе службу из нескольких предложений. Во всяком случае, об этом тревожиться не надо. Временно он будет проживать у них, а там, в дальнейшем, будет видно.

Мишель, не смея поднять глаз на Симочку, благодарил и жадно пожирал мясо и хлеб, запихивая в рот большие куски.

Симочка также не смела на него смотреть и только изредка бросала взгляды, по временам бормоча: «Боже мой, боже мой».

Мишелю устроили верхнюю комнату, поставив туда парусиновую кушетку и небольшой туалетный стол.

Мишель получил кое-какое белье и старый люстриновый диджак и, умывшись и побрив свои щеки, с какой-то радостью облачился во все свежее и с радостью долго разглядывал себя в зеркало, поминутно благодаря своего благодетеля.

Сильные треволнения и ходьба страшно его утомили, и он как камень заснул у себя наверху.

Ночью, часов в 11, ничего не понимая и не соображая, где он находится, Мишель проснулся и вскочил со своего ложа.

Потом, вспомнив о случившемся, он присел у окна и стал вспоминать о всех словах, сказанных за день.

И, просидев около часу, он вдруг почувствовал голод.

Вспоминая сытный питательный обед, который он жадно и без разбора проглотил, Мишель тихой и вороватой походкой спустился вниз, в кухню с тем, чтобы пошарить там и снова подкрепить свои силы.

Он осторожно по скрипучим половицам вошел в кухню и, не зажигая света, стал шарить рукой по плите, отыскивая какую-нибудь еду.

Серафима Павловна вышла на кухню, дрожа всем телом и думая, что Мишель пришел с ней поговорить, об'ясниться и сказать то, чего не было сказано, подошла к нему и, взяв его за руку, начала что-то лепетать взволнованным шопотом.

Сначала страшно испугавшись, Мишель понял, в чем дело, и, держа в руке кусок хлеба, безмолвно слушал слова своей бывшей возлюбленной.

Она говорила ему, что все изменилось и все прошло, что вспоминая о нем, она, правда, продолжала его любить, но что сейчас ей кажутся ненужными и лишними какие-либо новые шаги и перемены. Она нашла свою тихую пристань и больше ничего не ищет.

Мишель, по простоте душевной, тотчас ответил, что этих перемен он и не ожидает, но что он будет рад и счастлив, если она позволит ему временно проживать в ихнем доме.

И жуя хлеб, Мишель благодарно пожимал ее ручки, прося не очень за него беспокоиться и не очень волноваться.

Через несколько дней, от'евшись и приведя себя в порядок, Мишель получил работу в управлении кооперативов.

Угасавшая жизнь снова вернулась к Мишелю, и, сидя за обедом, он делился своими впечатлениями за день и строил разные планы о будущих возможностях, говоря, что теперь он начал новую жизнь и что теперь он понял все свои ошибки и все свои наивные фантазии и что он хочет работать, бороться и делать новую жизнь.

Серафима Павловна с мужем дружески беседовали с ним, сердечно радуясь его успехам и возрождению.

Так проходили дни и месяцы, и ничто не омрачало жизни Мишеля.

Но в феврале 1930 года Мишель, неожиданно заболев гриппом, который осложнился воспалением легких, умер, почти на руках у своих друзей и благодетелей.

Симочка страшно плакала и долго не находила себе места, проклиная себя за то, что она не сказала Мишелю всего, что хотела и что думала.

Мишель был похоронен на б. монастырском кладбище. Могила его и посейчас убирается живыми цветами.

Сентябрь 1930 года.

Разговор с пригородом

СЕРГЕЙ СПАСКИЙ

1. ТРАМВАИ

Свинцовый гул широко настилая,
Трамвай ползет.

Мне подойдет любой.

Я доверяюсь яростному лаю
Колес и рельс отливке голубой.
Скрипят перегородки. Колыханье
Виолончелями прогнутых дуг.
Движение под ногами, как дыханье,
Прерывисто.

И улицы вокруг.

Растреснутые надвое, вдогонку
Палят скупыми вспышками огней.
— И площади вдруг отшвырнуть картонку
Без крышки с грузом фетровых теней.

Мосты начнут разматывать пролеты,
Мигать решеткой. И блестя вдали,
Квартирных окон световые соты,
Как в стену, в ночь высоко залегли.

Нет, мне довольно города такого!
Я жизнью этажей и лестниц сыт,
Где мысль моя на уровне шестого
За волосы подтянута висит,
Где, взглядывая через край оконный,
Раз по-сту в день решаешь со смешком:
— Не проще ль путь исследовать наклонный
До плитняка отрывистым прыжком.
О унижение...

Этой подлой теме

Запрет.

Как полоз пущенный по льду,
Трамвай летит. Я свешиваюсь в темень
На поручнях. Мне время. Я сойду.

2. ОСТАНОВКА

Неизвестная
Остановка.
Рельсы. Пригород. И дождя
Шевелящаяся штриховка.

Ночь колышется, проходя.
 Капель звук, будто звук гитары.
 Что он жалко дрожит? О чем?
 Ноздреватые тротуары,
 Воздух выложен кирпичом.
 Воздух строится. И лесами
 Обнесен. И его чертеж
 Чем-то родственен с корпусами
 фабрик,

Чем-то со мною схож.
 По суровости ли, по тяге.
 К превращению в те века,
 Что лишь рифмами на бумаге,
 Лишь во сне различаешь пока.
 Ожиданием переезда
 Ночь, подобно мне, занята.
 Будто поезд товарный, с места
 Вдруг покатится темнота.
 Ночь приподнята на колесах
 (Тонко звякают буфера)
 Вся в нашептываньях, вопросах
 — Не пора ли?

— Давно пора.

Чтобы сумрак сгустился в город
 Нерожденных надежд и дел,
 Непечатых удач.

Что б скоро!

Чтобы город, как юность, пел,
 Чтоб дал он жизнь, как обновку,
 Встал в огнях, будто в рыжих кудрях...
 Неизвестную остановку,
 Остановку
 Ветер чутко держит в руках.

3. ТА ЖЕ ОКРЕСТНОСТЬ ДНЕМ

Тихо выходит из-под навеса
 Ночи, из-под прикрытья. Скроен
 Из остросребрых зданий, белесо
 Небом обтянут дальний район.
 Если он Выборгский, значит—направо
 В сахарных льдинах русло Невы

Впалым загибом, значит оправа
 Моста плетеньем сухой травы,
 Значит, резьбой многоугольной
 Кубов, заборов, просторов, труб
 На берег полюбоваться Смольный
 Выбег и замер вширь на ветру.
 Если ж низина в зарослях дыма,
 Дыма кустами машет дыша,
 Приобретая неуловимо
 Прочность железа, круглость ковша,
 И по ее утлону днищу,
 Выкатив сводчатые верха

Лютых и буйных огней жилища
— Черным обозом легли цеха—
 Это приметы нарвского быта.
 Это путиловца долгий гром.

Здесь он хозяйствует сановито,
Время шевелит, как медный лом,
Чтоб, пропустив в металло-прокатный,
Дней просверлив голубую сталь,
Выдать из сборочных нам обратно
Жизнь — паровозом, трубящим в даль.
Стоны котельной, инструментальной,
Шорох токарной, кузничный звон.
Свист мастерских.

 Пасмурный, дальний,
Как бы ни звался грозный район
— Нам обоим отдохнуть не пристало,
Гривами пламя полнит печь
И, соревнуясь, того же металла
Брус раскаленный я плющу в речь.

4

Я б говорил о кранах
С ползучими площадками
Угрюмы труб занозы.
Дым — шерстяной лоскут),
Я б говорил о странах,
Куда боками гладкими
Ворвутся паровозы,
Сколоченные тут.

Про вагонеток щебет,
Про стали восклицания,
Как выглядит закатом
Расплавленная медь
И как ее расщепят
(Я б подобрал названия)
И на-земь диском мятым
Швырнут ее темнеть.

О мышцах и суставах
Искусственной природы
Я б изобрел слова им
Резцам и рычагам,
Но мы не забываем,
Что это только роды
Событий величавых,
Глядящих в мысли нам.

Что это только проба
И труд да будет дверью,
Лишь пропуск, лишь условие
Проезда в те края,
Где вымирает злоба,
И место есть доверью

И стройною любовью
 Прямится жизнь твоя,
 Любовью легконогой
 И мужеством, и плавным
 Движением как в пляске
 Сменяющихся дней.

Я прохожу с тревогой,
 Я говорю о главном,
 Мой голос вправлен в лязги
 Машин и в блеск огней.

5. ГУДОК

И я возвращаюсь. И мне пред'являет окно
 Раздетую стену противостоящего дома
 И крыш наготу.

День ползет по лицу, как пятно.
 Расплывчат и зелен.

Ленива подводная дрёма.
 Ленивые замыслы. Сумерки судеб и лет.
 Хозяйство истории и персонажей жилища.
 Рылеева давят. Дантес щегольской пистолет
 Приподнял, прищурясь. Раскольников сжал топорнице.
 Тут проза кварталами. Зыбки каналы стихов.
 Дома, как страницы. И ветер листает их сухо.
 Темно в департаментах. Чинит перо Хлестаков.
 А Блок умирает. А к Герману входит старуха.
 И все одновременнѹ. Или вне времени. Я б
 Давно захлебнулся под мглистыми волнами были.
 До точки допился бы или в чахотке иззяб,
 По лиговским чайным меня бы с собакой ловили —
 Но вот каждый день удлинённого звука рука
 Стучится в окошко, вытягиваясь через крыши,
 И я подбираю сравненья к приходу гудка...
 Рука, я сказал? Или мачта, растущая выше?
 Крутая воронка, столб воздуха, впаянный в жесть,
 Парящая в комнате железноклювая птица.
 И я отвечаю пространству гремящему: — Есть!
 И я обещаю за прошлое враз расплатиться.
 Он мне говорит протяжного голоса лёт
 — Там в хляби Балтийские заново врубятся сваи,
 И новые площади тихо растут из болот.
 Я их именами желаний своих называю.

Люди и факты

1. Л. СЕЙФУЛЛИНА. Письма к родне. 2. А. ПЕРЕГУДОВ. Оренбургский платок.

1. ПИСЬМА К РОДНЕ

Л. Сейфуллина

1-ое

В одном письме невозможно изобразить всю жизнь столь важного для СССР и столь сложного организма, как ленинградский государственный завод «Красный Треугольник». О нем уже немало написано и напечатано, но жизнь его в целом не ообразжена. Несколько раз я осматривала этот завод во время работы. Осматривала так же, как все сторонние посетители. Проходила со знающим человеком по мастерским. Потом нерегулярно работала вечерами в заводском литературном кружке. И только 1 апреля текущего года я пришла на завод с трудным заданием увидеть его, узнать, если не так, как знаю свою квартиру, то, по крайней мере, как дом, в котором живу. «Писатель, брошенный на производство», звучит энергично только в сопроводительной бумаге. А в собственном ощущении прежде всего воспринимаешь горький смысл слова «брошенный». Бесприютный, непризорный. Что может делать на заводе писатель в часы, когда члены литературного заводского кружка стоят у станков, возят нагруженные вагонетки, промывают резину, кроят, режут и т. д.? Ходить с записной книжкой по цехам и пристаывать с расспросами к людям, занятым нелегким трудом. Два дня посидела в культкомиссии в завкоме, в парткоме, у книжных госиздатских киосков, поговорила со своей записной книжкой по разным мастерским и почувствовала себя худо. «Инеродное тело», как пишет М. Шкальская. Инеродным телом неприятно себя сознавать.

Я отправилась за сочувствием в рабочую. Один из товарищей рабкоров, пожав плечами, спросил: «А что, если бы вам встать на работу?» Предложение это пленило меня, в завкоме согласилась. Но заводского труда, даже легкого, неквалифицированного, при

благоприятных условиях, когда с меня артель не требовала нормы выработки, я не выдержала. И непривычка человека, никогда не занимавшегося физическим трудом, и мой немолодой возраст, и неправильная деятельность сердца при неправильном «писательском» образе жизни уже через две недели работы сказались тяжело. Тем не менее для меня короткий период пребывания работницей на заводе ценен. Заводу он пользы не принес, но меня обогатил. В моем представлении заводской жизни наших дней теперь есть большая житейская выразительность. Она еще не отложилась в действительное воспроизведение. Я не могу выразить ее ни в повести, ни в рассказе, ни в каком беллетристическом произведении. Я не могу назвать очерками написанные свои впечатления. Но закрепить их в памяти необходимо. О времени, в которое мы живем, «прочитают в учебниках дети». А из памяти очевидца они могут исчезнуть. Я систематизирую их бесхитро, как в письме к родне. В повседневной жизни «Красного Треугольника» отражается в уменьшенном масштабе текущий день всего СССР, чреватый противоречиями. На пашнях Советской России в соседстве плуга единоличника и трактора колхоза. В домах больших городов в одной комнате — бытовое потребление электричества, а в общей кухне той же квартиры дымят примусы. На «Красном Треугольнике» — новейшие американские установки, сокращающие время и увеличивающие производство в 2—3 раза. А в галашном отделе — стародавняя мазильня. Некоторые галошницы не один десяток лет собственным пальцем смазывают части галоша для склеивания. Конвейер, рядом — индивидуальщицы. Одна галошница выделяет галошу от начала до конца. Медленный, одинокий труд. Чернорабочие, вообще сезонники, ра-

ботающие во дворах, старые работницы во множестве неграмотны. И здесь же на заводе в пневматическом, в буферном, среди возчиков по рельсовым путям, во всех многочисленных отделах завода — рабочие изобретатели, писатели, произведения которых выходят и в периодической печати и в отдельных книгах, драматурги, произведения которых идут и на больших сценах. Семнадцать тысяч рабочих по-сменно заполняют два длинных красных здания, соединенных общим коридором. Завод № 1 и завод № 2. Только снаружи разделяет их проход под аркой. Внутри они — одно целое. И разноликие, различно одетые мужчины и женщины, юноши и девушки, старые и молодые, только на улице у ворот разделиены каждый своей заботой, отдельными интересами или переговорами. В мастерских они тоже слитное целое. В разных отделах работа и кончается и начинается не в одно время. У одних обеденный перерыв полчаса, у других час. Иные работали в почную смену, другие в раннюю, утреннюю. Наша 7 артель технической мастерской во 2 этаже начинает работу в 7½ утра. В семь с четвертью на узких крутых лестницах с железными перилами, камень которых отглажен и протерт тысячами ног, тесно. На лестницах всегда два встречных людских течения. Одно вверх, другое вниз. Конторские помещения еще тихи и безлюдны. Служащие начинают работу в 9 часов. Длинный коридор с рельсовыми путями идет изгибами, коленами, как река. Идущие в мастерскую седьмой артели по входу с Обводного канала должны пройти колено, где нет рельсовых путей. Здесь сравнительная тишина, будто в затоне. По бокам — кабинеты специалистов. Посредине его, с потолка свисают круглые, как недреманное око, часы. Каждый рабочий или работница обязательно взглядывают вверх, на часы, и ускоряют шаг. Наша раздевалка мала. Запоздавший бывает наказан и тем, что ему некуда повесить свою верхнюю одежду. Минут за десять до звонка большинство уже на своих местах. Норма выработки велика, а с 1 апреля еще начался месячник борьбы с потерями на производстве, с прогулами, с простоями, с бесполезным времяпрепровождением. Наша бедность сказывается здесь в недостатке необходимых вещей для работы. Нехватает тары. Каждый спешит пораньше захватить себе ящик, корзину. Иначе некуда будет складывать готовые изделия, ссыпать брак. Иные, опоздав захватить тару в своей мастерской, бегут в чужую, «воруют» ее у зазевавшихся. И после звонка, когда зашумят, загудят машины, зашаркают приводные ремни, растерянный человек, стесненно прижавший

к бокам праздные руки, ходит, уныло ругаясь меж столами, ищет свою корзину. По лицам узнать похитителя невозможно. Все одинаково сосредоточены на своем деле и равнодушны к зеваке. Крепко сбитый, худощавый, невысокий и румяный пожилой рабочий Илья как-то сообщил с радостным изумлением:

— Ну вот они — мои ножницы! А ты меня, Женя, уверяла, что вот эти мои. Я-то знаю свои, не надуешь! Я говорил, утащили, а ты: нет, вот твои. Вот — мои!

Женя с другого стола сочувственно спросила:

— Нафлились?

— Да вот, видишь, на место и положили.

Я сказала:

— Видно, совесть зазрела.

Илья ответил без усмешки:

— Ну, какая совесть. Просто ошибся, не к себе, а на старое место положил. Вот и нашлись.

Седьмая артель работает сдельно. Она получает заказы, которые обязана сдать в установленный договоренный срок. Плату получает в общий котел, но распределяет их по тарифной оплате, в зависимости от квалификации и сложности работы. Иные поделки оплачиваются поштучно. Зарабатывают хорошо. Когда я сообщила одному ответственному партийцу, что Илья зарабатывает 280—300 руб. в месяц, он мне не поверил. В царское время работал он в основной кассе «Красного Треугольника» и помнит мизерную оплату.

— Не думаю, чтоб теперь рабочий зарабатывал больше ста рублей, триста рублей — это очень было бы хорошо.

Поспорили, спросили по телефону одного инженера с «Красного Треугольника» о максимуме. Тот ответил: «Никак не больше полтораста рублей». Оказывается, инженер, очень на заводе чтимый, не знает, сколько может заработать на сдельщине хороший рабочий завода. Я спросила Илью, он мне сам назвал сумму. Девушка Соня заработала в тот месяц 180 рублей. Но если и подгоняет в работе личная материальная заинтересованность, не только она заставляет артель увеличивать продукцию. Сроки сдачи заказов требуют большой нормы выработки. Артель делает водолазные костюмы, трамвайные тормоза, железнодорожные тормоза «Казанцева», резиновые части по моделям к целому, которого не мог мне назвать даже Илья (потому что принимала артель заказ только на эти части), примусные шайбы и т. д. Длинное помещение, в которое вклинивается небольшое отделение конторы с застекленной до половины перегородкой, кипятильники, моторы, разогрева-

тели, заставлено длинными столами для работы. У одной стены в ряд токарные станки, на которых работают и мужчины и женщины. Между столами длинноногие круглые скамейки на одного с перекладной для ног. Их называют стульями, но у них нет спинки, они чуть ниже уровня стола. После долгого сиденья на них занывает спина, грузноет руки и оттягивают плечи книзу. Непрерывное гуденье мотора, порой взвывающего точно взвизгивающего, шуршащее постукивание токарных станков, запах разогретой резины, очень похожий на запах протухшего мяса, пары бензина вызывают томительное какоето нытье в голове, усиленное биение жилки в висках. Мастерская не числится во вредном производстве, потому что бензин нужен для частичных работ, не все время и вообще потому, что менее вредное производство на заводе резиновых изделий едва ли найдется в сравнении с работой над изделиями без шва в отделе, где презервативы макают в состав, или в меловой, где только один рабочий на-двно проработал семь лет, а вообще, как правило, больше трех лет люди не выдерживают, — техническая наша мастерская разумеется, не может быть почтена вредной. В меловой теперь работают только 3½ часа каждая смена, в мастерской обмакивания в состав презервативов — 5 час. Во всех вредных цехах выдают ежедневно рабочим по бутылке молока, и работа производится не больше шести часов в день. За нашими столами бывает работа, когда руки заняты, а разговаривать можно: при отборе брака, при обрезке частей тормозов после вулканизации. Но через стол слова уже плохо слышны, да и сидя рядом особенно не разговоришься. Ускоренный темп работы требует сосредоточенного внимания. Мне было особенно трудно разговаривать. Когда я обрезала кривыми ножницами бахрому и неровности от круглых частей тормоза Казанцева, то в первый день обработала 120 штук. Опытная работница приготавливает их за рабочий день — шестьсот. А я ни разу не выходила из мастерской, не отрывалась от работы. Мастерница Таня утешила меня:

— Ну, и руки тоже разные бывают. Другая опытная, а медленно делает. Уж так, по человеку и выработка.

Как-то раз она мне сказала:

— Вам не обязательно догонять нас. Пойдите пройдите по мастерской, поглядите кругом. Вам это нужно.

Это был единственный знак внимания к моей профессии. Когда мне разрешили работать, то некоторые товарищи из завкома опасались, что я буду привлекать внимание, отвлекать от работы. Этого ни разу не случилось в рабочие часы. В обеденный перерыв

наши иногда показывали писательницу рабочим из других артелей в красном уголке. Но за работой — некогда. Не такое время сейчас, чтобы отвлекаться. Большинство артели объявило себя ударниками. Одна работница с пятнадцатилетним стажем войти в ударную бригаду не пожелала. Она объявила:

— И без похвалы выработаю больше вас. Не в названии дело.

Действительно, она зачастую перегоняла в количестве. Качество ее работы — всегда отменное. Молодые поспеивались:

— А ну, а ну. Нам хоть лодырем навзавись, только работай по-ударному.

Но ударничество не монашеский обет. Иногда молодость возьмет свое, прорвется весельем в неурочный час. После полудня на следующий день многие рабочие сильно пахнут одеколоном и сторонятся от членов кружка по борьбе с алкоголизмом. Одеколон, очевидно, должен уничтожить запах перегара изо рта. И весь этот день «одеколонщики» то-и-дело бегают к баку с водой, заливают похмельную жажду. Один раз даже комсомолки, наблюдая за товарищем, в третий раз надбежавшим к кипяильнику, к его нижнему крану с холодной водой, расхохотались. Одна насмешливо сказала:

— А ну-ка, дыхни! Одеколоном пахнешь?

Он сконфуженно засмеялся и плел в нее водой из кружки. Она бросила ему в лицо меловую тряпку. Он отряхнулся и умчался па место, а девушка вспыхнула до корня волос. Она поймала злой, осуждающий взгляд старой работницы. Низко наклонясь над работой, прятая покрасневшее лицо, девушка проворчала:

— У, синий чулок! Что уж хитрее из нас, стальной машину, что ли?

Ударники работают почти неотрывно и очень сосредоточенно. Мимо проходят экскурсии, часто иностранные. Никто не оглядывается, привыкли. Бывает, что заходят товарищи-выдвиженцы, работающие теперь как служащие, а не рабочие. Перекидываются с ними словом, не оставляя работы. Помехи от этих посещений не чувствуют. Но представителей из отдела нормирования труда не любят и ударники.

— Стоят над душой, как же тут работать?

Нормировщики следят не только за тем, чтобы время не утекало напрасно. Они борются и с непомерной нагрузкой при сдельщине. Ватг отделы, где такая нагрузка граничит с преступлением. Например, изготовление сапог для работающих на электрических станциях, для монтеров. Брак узнается только тогда, когда убьет человека. Большая возможность, если четверо рабочих изготовят девять пар Мастера хотели догнать до 11. Потребовалось

нежелательство и наблюдение представителей нормирования труда. Месячник по борьбе с потерями на производстве вызвал живой отклик среди рабочих. Одна старая работница, тетя Нюра, партийка, из-за неряшливо брошенного материала пришла в такую ярость, что сорвала собрание. В обедный перерыв в одной из мастерских назначено было собрание для приобретения и обработки коллективно: огорода. Председательствовала и делала доклад комсомолка. Во время этого доклада тетя Нюра нашла брошенный материал и криком сблиз все высказывания по поводу предложения.

— Все пай да коллективы, а дела не видать. У вас душа, а у меня-то что ж, воник? Расспросы да опросы, надо вам овощи, али не надо? Я сама седьмая, а всего пая у меня один колун. Его, что ли, возьмем да будем глотать, ребятишки с ручки, а я с лезвия. Доклады да культуры, фу, нечистый дух! Культуры разводите, а материал брошенный валяется.

Работницы окружили ее кольцом, принялись уговаривать:

— Тетя Нюра! Тетя Нюра...

Она ничего не хотела слушать, продолжала кричать:

— Материал чего теперь стоит? На собрание! А материал брошенный валяется!

Обеденный перерыв кончился. Собрание закончить не удалось.

Завод велик. Его рельсовые пути занимают сорок шесть километров. Рабочих и служащих на «Красном Треугольнике» больше двадцати двух тысяч. Эти сведения не раз сообщались в печати: и в газетных статьях и в книгах известных очеркистов. Но за последние годы территорию деятельности рабочих завода надо считать большей, чем пространство, занятое его корпусами и дворами. Это важное отличие нынешнего большого завода от крупных заводов прошлых дней.

Наши заводы, фабрики перестраивают, организуют жизнь и во вне. Они, как чрезвычайный Красный Крест, посылают своих санитаров во все участки СССР, чтобы перетряхнуть былую широкую, но неблагоприятную «рапейскую» жизнь. Эти санитары закладывают фундамент нового быта СССР.

Работа, не имеющая прецедента в прошлом, ответственная, порою жесткая. Посланные с заводов — пионеры ее. С одной такой пионеркой я встретилась в первый же день, когда явилась на «Красный Треугольник» с прикрепительной своей бумажкой.

Основной завод не работал. Он перешел на пятидневку. 1 апреля оказался выходным днем. На непрерывке оставались только пневматика, мехстрой и частично работала техника, связанная с пневматикой. Из культур

комиссии, в которую мне надлежало явиться не было на заводе никого. В первой комнате завкома, как и в коридорах, было необычно просторно и тихо. За столом с телефоном сидел дежурный член комитета. Около него девушка и трое рабочих в «штатском», не в спецодежде, а в своей, обывательской. Разговор у них шел тоже какой-то партикулярный, о личном, о домашнем.

Я уже собиралась уйти, как вошла невысокая, немолодая женщина. Из восклицаний и вопросов узнала я, что женщина только что вернулась из колхоза и пришла в завком рассказать свой «месяц в деревне». Мне объяснили, что в деревню ездили кузнецы, слесаря и женская бытовая комиссия. Эта женщина вернулась из Новгородской губ. Она работала в селе за 30 верст от станции Опочка в Обоском округе. Женщину действительно, как говорится, засыпали вопросами.

— О, колхозница! Как тебя там, не колотили?

— Ну, как там берегут?

— Ну-ка, ну-ка, расскажи, с кем спорила?

— Не убили, не прпбили?

Женщина на-лету схватила все восклицания. Пожимая протянутые руки, ответила всем, не спеша.

— Нет, не поколотили. Берегут, если деньги за береженье есть. С кем я не спорила? Со всеми. Я вам сейчас расскажу по порядку. Доклад после сам собой.

— Доклад после, давай прямо, рассказывай.

— Слухов здесь было много.

Женщина махнула рукой.

— Что слухи-то собирать, и без них трудно. Вот прежде всего: ячейка есть, но надо менять все руководство. Отсекара полторы недели не могла поимать. Наш председатель тоже слабо работает. На собрании на одном подали четыре заявления о выходе, он скамейку швырнул. Это что же, ясно, панику разводил. Я ему после сказала: «признайся чистосердечно, что ты слаб». Во многом сдает. Там инвалид, безногий, а они его раскулачили. И еще у одной семьи корову неправильно отобрали, а в правлении колхоза состоит кулак.

Стриженная девушка хлопнула по столу рукой, подскочила и села на край его.

— Ведь такой политикой они всех отгонят.

Женщина кивнула головой.

— Я и говорю: не горячись, скамейки не швырай. А почему швыряет? Потому что его снять надо. Свинину возит в Ленинград. Два раза при мне с'ездил. Деньги на поездку получил, счет представил, а крестьянам гово-

рит, никаких денег не получал. Свиному конфисковали мы у него, три пуда свинины, собрали партийное собрание, постановили снять его. В колхоз мы вошли сами. Крестьяне смотрели наши расчетные книжки, определили пай.

Девушка опасливо спросила:

— А не разваливается колхоз-то?

— Развалится, так соберется. Мы не станем чем ни попало швырять и не убежим, сами увидят, вернуться. Скот еще не ставлен в общие дворы, но постановление есть.

Один из мужчин спросил ее с сомнением в голосе:

— А ты разве еще поедешь?

Женщина пожалала плечами:

— Пошлете, так поеду, хоть и неохота. И грязиза там! Женщинам говоришь, как в стену горох. Поглядишь, да давай сама скрести, убирать. Они и не видят грязь-то, привыкли. Сейчас в баню пойду. В настоящую баню хоть раз сходить. Ясли мы там организовали. Ну, и побились же с бабами! Они говорят: в яслях легко, этак мы все пойдем в ясли, а кто же будет лен таскать? Ну, все-таки соединили три деревни, открыли ясли. Семьдесят ребят в яслях. Скучно там. Ох, скучно живут. За восемь верст расстояния есть кино, спектакли ставят. Я ходила, как же не сходить? Смеялись надо мной, а потом девчата, ребята, да и бабы, которые поразвитей, со мной тоже ходили. Говорят: и ходьба нипочем, все-таки повидали. А дома-то им у чего отдыхать и развлекаться.

В дверь заглянула старуха в синем халате и красном платке. Увидев говорившую, она тоже воскликнула не то с радостью, не то с изумлением:

— Вернулась? Ну, как там? Поправилась на вольном-то воздухе.

— Разве что воздухом. Купилки мало, а даром брать — некрасиво. Все больше сеledки пробавлялась. В кооперативе сеledки нам давали. И то ругаются бабы: «приехали тут, жрете сеledку, всю сожрали, нам не дадут». А мужики свое: «почему не привезли в кооператив махорки?» Нет махорки. Кооператив тоже чистить пришлось. Два парня там такие... стаканчики грапные. Один в правлении парень горловой. На собрании выступает громко, а на работе — никуда! Придет, спросит: «Ну, как у вас тут?» Все напутает и уйдет. И там чуть что не так, в кооперативе или где, бабы сейчас за меня: «ну, ты, женская, бытовая, иди-ко, погляди!»

Старуха в красном платочке качнула головой.

— А не поколотили они тебя ни разу?

— Как приехала, сразу чуть что не стряслось, а провожали как родную. Обязательно, говорят, вернись. Требо-

вание на тебя пошлем. Ну, только соскучилась я по заводу. Дали бы вы мне, товарищи, на завод вернуться.

Завкомовец неопределенно ответил:

— Поглядим. Вот доклад сделаешь, отчитаешься, там посмотрим.

Старуха покосилась на меня, спросила, понизив голос:

— А не стреляют?

— Нет, не было. Но пугали нас, что будут. Был там такой Гавридов, кулак. Организовал лжеколхоз. Его приговорили, он развил агитацию. Старушонки-шептухи и молодые бабы кулацкие пустили слух, что приедет из Москвы комиссия, весь скот отберет и у правильного колхоза. А мы, дескать, присланы в роде как на разведку. Ну, конечно, пришлось нам трудновато, все-таки не отстудили. Тут же вскоре пошли мы раскулачивать одного кулачка. Дали мне испорченный револьвер. Если нападать будут, так все-таки, мол, при оружии.

Завкомовец усмехнулся.

— Револьвер системы «не стреляй».

— Ыгы, такой. Пришли в избу, предъявили мандат, баба повалилась на пол, завывала. Очень тяжело смотреть. Ну, а что же делать? Семья восемь человек, все трудоспособные. У них одна-надцать лошадей, семь коров, птицы этой и не считали мы сколько. Повезли их на рассвете, вся деревня сбегалась смотреть. Далеко за околицу провожали. Ну, и мне не провожать чельзя. Бабы после заедят: ага, боишься! И я ходила.

Старуха охнула.

— Как же ты шла-то? А что тебе кругом-то говорили?

— Кто что говорил. Бедняки говорят: хорошо, правильно. Середняки сомневаются. Бабы побогаче насканивают. А я иду, руками от них обороняюсь и раз'ясняю. Ну, конечно, мирно, не как на собрании. Отстанут маленько бабенки злые, отбегут к подводе, повоюют, попричитают и опять ко мне.

Старуха с сомнением покачала головой.

— Ну, уж не знаю, как они тебя не сгрэбли.

Женщина усмехнулась.

— Да что ж ты думаешь, вся деревня враги нам? Есть ведь такие, за кого боремся. Я тебе говорю, теперь такая крепкая у нас там связь, они за нас постоят лучше, чем кровная родня! Мы там ведь не языками убеждали, а делом. Я тебе рассказываю; сколько злоупотреблений исправили. А проверить меня, милая, легко. Я ведь не сказки рассказываю: в некотором царстве, в некотором государстве. Адрес есть куда посылали. Ну, так давай, не тяните с докладом, скорей назначайте. У нас предложения есть, надо в жизнь проводить.

Завкомовец развел руками.

— Постараемся. Сейчас месячник борьбы с потерями на производстве.

Женщина твердо ответила:

— В деревне тоже надо следить, чтобы не было потерь на производстве.

Она простилась и ушла.

Мне стало ясно, что рельсовые пути «Красного Треугольника» занимают не сорок шесть километров, а много больше. Теперь они сливаются и с железнодорожными путями и с проселочными дорогами Советской России.

2. ОРЕНБУРГСКИЙ ПЛАТОК

А. Перегудов

Степи и козы

На сотни, на тысячи верст раскинулись степи. На востоке они сливаются с Барабинскими, Кулупдинскими на западе — с южно-русскими; они — одно из звеньев великого пояса степей, охватывающего все северное полушарие в виде стений южно-русских, венгерских и дунайских пушт, испанских десьertosов и прерий Северной Америки. В них почти нет лесов, только кое-где по берегам Ори, Илека, Темира и других небольших речек, текущих с северных склонов Мугоджарских гор, встречаются редкие рощицы берез, осин, серебристого тополя. А около Урала, в поемных местах, непроходимыми джунглями растут тал, кручина, шиповник. Где вода — там жизнь. У воды серыми кучами беспорядочно разбросанных хат темнеют киргизские аулы. По берегам рек выросли города и станицы, — маленькие островки культуры в сухом и диком море степей.

Необъятные эти пространства на первый взгляд кажутся мертвыми, но на самом деле в них бурно кипит жизнь. Тысячи уток различных пород таятся в пресных озерах, вереницы гусей тянутся с одного озера к другому, нередко можно встретить выводки лебедей. На сухих местах бродят стаи дроф и стрепетов. В небе парят кобчики, соколы, кречеты и огромные степные орлы-беркуты. На пологих скатах холмов посвистывают суслики, их множество. Старики помнят, как в 1888 году суслики истребили все носовы по берегам Урала. Партиями в 1.500—2.000 они переплывали реку и нападали на пашни левого берега. Казаки одной станицы убили их около двадцати тысяч.

В степных балках водятся зайцы, лисы, волки. Волки приносят неисчислимый вред крестьянским и киргизским стадам. Зимой по глубокому снегу киргизы на быстрых своих лошадях гоняются за волками и убивают их сойлами (длинными палками).

Своя особая жизнь в степях — глухая, дремотная. Здесь тысячи людей

не видали железных дорог, здесь киргизы знают: есть города Ташкент, Оренбург, Орск, Москва, но многие из них не слышали о Берлине, Лондоне, Париже. Но Берлин, Лондон, Париж знают об этих степях, знают, что откуда идут к ним прекрасные платки из шевкивистого козьего пуху. С каждым годом увеличивается на них спрос, с каждым годом растет их экспорт.

Весной и летом бродят в степях стада коз, солнце нечет их зноем, зимой козы живут в холодных, полураскрытых хлевах, — и, должно быть, в защиту от зноя и сорокаградусных морозов растет на козах подшерсток, мягкий пух.

Киргизские козы — это выродившиеся, огрубевшие потомки кашемирских коз, пришедших в степи через Бухару с Тибета. Когда-то под владычеством Великого Могола в Кашемире существовало 40.000 ткацких заведений, изготовлявших шали и тонкие ткани. Шали и ткани попадали на Запад, и на Западе долгое время не знали, откуда берется шерсть для изумительных этих изделий. В 1664 году французский врач Бернье, посетивший Тибет, узнал, что это сырье доставляют две породы коз: одна — домашняя, другая — дикая. Явилась мысль водворить этих животных в Европе, но удалось это спустя более полутора столетия. Терно, введший во Франции изготовление шалей, решил во что бы то ни стало завести себе кашемирских коз, а известный востоковед Жюбер предложил для этого свои услуги. В 1818 году Жюбер отплыл в Одессу и там узнал, что племена, живущие между Астраханью и Оренбургом, держат кашемирских коз. В степях он убедился точным исследованием пуха в подлинности кашемирок и купил их 1.300 штук. Он пригнал это стадо в Кафу, в Крым и оттуда на корабле привез в Марсель. Однако, длинный и тяжелый переезд выдержали только 400 коз, да и те были настолько изнурены, что мало было надежды получить от них потомство. Особенно пострадали козлы. Случайно, почти в то же время, французские естество-

испытатели Диар и Дювансель при-
слали в парижский зоологический сад
сильного кашемирского козла, полу-
ченного ими в подарок от одного из
индийских радж. Этот козел и сде-
лался родоначальником всех кашемир-
ских коз, живущих во Франции и при-
носящих стране миллионные прибыли.

Во Франции за козами ухаживают,
их берегут как драгоценность, а в кир-
гизских степях козы бродят без при-
зора. Весной — с марта и до конца
апреля — они линяют, чешутся о плет-
ни, и на плетнях оставляют клочки
шерсти, похожие на мягкий войлок.
Это — «джебага» или джебажный пух —
сырье для будущих оренбургских
платков. Оно идет из Ташкента, Аулет-
ты, Алма-Аты, Казалинска, Килеса.
«Джебага» — худший сорт сырья.
Несравненно лучше пух чесаный. Во
время линьки коз чешут особыми греб-
нями, сначала старых, которые могут
выдержать еще непрощедшие морозы,
потом — с апреля по май включи-
тельно — молодых. Кашемирская коза
дает 0,3—0,4 килограмма пуха, кир-
гизская в среднем — 200 грамм.

Раньше киргизы разводили коз толь-
ко для мяса и шкуры. Они не знали,
что главная ценность в козе — пух.
Они очень удивились, когда много лет
назад весной пришли к ним казаки и
сказали:

— Ваши козы грязны, шерсть висит
на них. Хотите мы ваших коз поче-
шем?

Киргизы, недоумевая, посмотрели на
казаков. Согласились:

— Жаксы. (Хорошо.)

Казаки почесали коз, унесли с собой
очески. На следующую весну опять
пришли.

— Хотите мы ваших коз почешем?
Ваши козы грязны.

Киргизы смекнули, что казаки не
спроста приходят к ним, сказали:

— Давай чаю, давай табаку, давай
ситцу, а мы дадим коз чесать.

И выработался своеобразный распе-
нок: одну козу почесать стоит вось-
мушка чаю или столько-то табаку, или
такое-то количество ситцу. А потом
казаки сами стали разводить коз, а
киргизы, собирая «джебагу», продают
ее в городах и станицах.

Город Орск и пуховые платки

В старину этот степной город слу-
жил сторожевым пунктом против на-
бегов диких ордынцев. Расположенный
на высоком холме, он царит над сте-
пями, и не даром киргизы называли
его «Джеман-Кала» — скверная, злая
крепость. На месте Орска в 1735 году
начали строить город Оренбург, но,
найдя место невыгодным, перенесли
город на 260 километров западнее, на

место Красногорской станицы, а нача-
тые постройки были обращены в ли-
нейную крепость. С упразднением кре-
пости (1859 г.) Орск превратился в
станцию, а в 1865 г., с учреждением
Оренбургской губернии, был возведен
в степень уездного города.

Орск торговал и воевал со степями.
В шестидесятых годах прошлого сто-
летия город отпускал степям на
200.000 товаров, а покупал на сумму
до 2.000.000 рублей. Караваны верблю-
дов, гурты скота шли в Орск из глу-
бины степей. С проведением же Орен-
бургской ж. д. и открытием движения
по Закаспийской размеры орской ка-
раванной торговли сократились.

С ордынцами торговали осторожно,
в одной руке держа рубль, а в дру-
гой — винтовку. Нередко киргизы угон-
яли казачий скот и лошадей, нередко
умыкали женщин.

В 1847 году в Орскую крепость был
сослан Т. Г. Шевченко. До сих пор со-
хранилась камешная тюрьма, обнесен-
ная частоколом из толстых высоких
бревен, в которой сидел поэт. Впослед-
ствии, вспоминая свое пребывание в
этой ссылке, Шевченко с горечью
писал:

И довелось зное мени
На старостье виршами ховаться,
Мирезжит книжечны свиваты
И плакаты у бурьяни
И тяжко плакать.

В прошлом году мимо Орска, из
Оренбурга на Пермь, прошла железная
дорога. Несомненно, она поднимет эконо-
мическое значение города, но пока
Орск тих и пустынен, напоминает дре-
мотный Восток. По истрескавшейся от
зноя базарной площади, мягко ступая,
проходят верблюды. Между их горбов
сидят в теплых халатах и меховых
шапках киргизы. Медленно тащится
повозка, запряженная паром волов. У
городского садика надрывно кричит
ишак. И площадь, и улицы почти пу-
сты. Чаше, чем люди, бегут по улицам
столбы пыли, патыкаются на плетни и
стены; рассыпаются, чтобы снова при
порыве ветра взметнуться и бежать.
Ветер горяч и сух, ветер дует из сте-
пей. А над степями и над городом, не-
затемненный облаками, яркий купол
неба, и кажется, что небо, как и земля,
как и ветер, горячо и сухо.

На прямых, точно по линейке наме-
ченных, улицах ослепительно сверкают
белые стены домиков; их окна от жары
и мух закрыты ставнями, — будто все
домики заколочены, будто солнце вы-
жгло у города жизнь.

Под вечер, когда спадет жар, из до-
мов вылезают женщины и на завален-
ках сидят часами. В их пальцах сухо
постукивают длинные и топкие сталь-
ные спицы, — женщины вяжут пухо-
вые платки.

В кустарной промышленности пуховязальный промысел занимает здесь первое место. Из 72 кооперированных кустарных артелей (15.167 чел.), валовая продукция которых в прошлом году выражалась в сумме 3.500.000 рублей, — 42 артели (12.037 чел.) пуховязальщиц, давших изделий на 1.514.046 руб. По пятилетнему плану намечено: в 1930—31 промышленном году пуховязальщиц кооперировать на 100 проц., а к концу пятилетки поднять производство пуховых платков до 7.310.000 рублей.

Пока же в городе Орске, и в Орском районе огромное большинство кустарок-частниц, кустарок, не вошедших в артели.

Начало местного пуховязального промысла относится к сороковым годам восемнадцатого века. В штате Неплюева — основателя Оренбурга — был петербургский чиновник и сенатор Рычков, высланный из столицы за какие-то вины. (Этот Рычков первый написал историю Оренбургского края.) Жена Рычкова, немка, впервые научила казачих жен вязать пуховые платки. Сначала в станице Рычковой (бывшем имени Рычкова), в станицах, соседних с Оренбургом, — Нежинке, Павловской, Бердянской, — потом дальше и дальше распространился этот промысел. Из степей платки заходили в Сибирь, в Москву, в Питер, — там удивлялись их мягкости, теплоте, легкости, но все же широкого распространения эти изделия не получали. В 1902 году войсковое управление оренбургских казачьих войск послало платки и экспонаты сырья на петербургскую выставку, где платки были премированы большой серебряной медалью. После выставки стал расти спрос. Войсковое управление поощряло быстро развивающийся промысел, так, напр., в 1910 году им были организованы месячные курсы для подготовки учительниц по пуховязальному делу. В 1915 году в одном только селе Сухомлиновке насчитывалось 1.093 вязальщицы, которые в течение года дали 6.830 платков.

В настоящее время в Оренбургском и Орском районах в каждом селе, в каждой станице, почти в каждом доме вяжут теплые пуховые платки, вяжут тонкие, как паутинки, ажурные платки. О платках и о вязальщицах здесь ходят легенды. Были и есть такие мастерицы, у которых тонко связанный ажурный платок свободно проходил сквозь обручальное кольцо. Рассказывают: когда этими степями проезжал какой-то из русских царей, одна казачка подарила ему большой платок, спрятанный в скорлупу грецкого ореха. В Оренбурге эту легенду мне подтвердили, но с некоторой поправкой: платок был спрятан не в орехе, а в скорлупе куриного яйца.

Производство платка. Заработок кустарки

Производство платка можно разделить на три стадии: 1—выборка и проческа пуха, 2—прядение и сучение, 3—вязка. По размерам пуховые платки вяжутся трех сортов: четырехсот-, пятисот- и шестисотпетельные. На большие шестисотпетельные платки (1-й сорт) идет килограмм «джебаги». Из свалывшегося, засоренного грязью и волосом джебажного пуха нужно выбрать волос, потом прочесать и перемешать пух — чтобы он был однороден по цвету — на особом гребне, состоящем из двух рядов острых стальных ил. Это — самая утомительная и трудная работа, на нее уходит от 7 до 10 дней при 8, 10- и даже 12-часовом ежедневном труде. Из килограмма «джебаги» получается 300 грам чистого пуху. Затем на «пряхе» или веретенах пух прядут и ссучивают с тонкой бумажной нитью. Прядение и сучение 300 грамм пуху отнимает не менее 8 дней, и восемь дней требуется для вязки середины платка. Вяжут двумя тонкими и длинными нитями. Узорчатые каймы вяжутся отдельно и после прикрепляются к серединам. На вязку четырех кайм кустарка тратит в среднем 14—16 дней. Узоры кайм незамысловато-просты и просты их названия: «кошачьи лапки», «паутинка», «косой рядок», «елочка», «гнашеяки», «тройная ягода», «узорчатая ягода», «крупная малинка», «глухотинка», «выворотный узор».

Эти узоры не сняты с рисунков рукодельных журналов, они возникли здесь, в степях, станицах. Кака-нибудь казачка долгими зимними вечерами вплела в эти узоры свою фантазию. Получилось у ней что-то похожее на следы кошки, — назвала «кошачьи лапки», получилось похожее на ягоды, — назвала «крупная малинка» или «узорчатая ягода». Понравился узор соседкам, — пересняли его, и пошли гулять по степям «кошачьи лапки» и «косые рядки».

Я заходил сегодня в один белянский домик утром и после обеда и видел все то же.

Два окна снаружи плотно захлопнуты ставнями, в третьем ставни приоткрыты, и в широкую голубую щель заглядывает солнце. В комнате прохладный полусумрак. На пороге в сени сидит девочка лет восьми, ее брови сдвинуты, она не по-детски сосредоточена. Рядом с ней на полу расстелены две белые тряпицы: в одной «джебага», в другой — шелковистые пряди пуха. Девочка отрывает от «джебаги» небольшие кусочки и, держа их перед лицом, выбирает из серого свалывшегося комка темные волосы. У окна, в которое падает золотой луч солнца,

мать прочесывает на гребне выбранный пух. Над гребнем в солнечном свете дымится пыль и летают позолоченные мухи. Мать работает быстро, изредка отдыхает, выпрямляя согнутую спину и шевеля в воздухе онемевшими пальцами.

Посредине комнаты за «пряхой» сидит старуха, похожая на сказочную бабу-Ягу: у ней крючковатый нос, острый подбородок, под лохматыми бровями зоркие темные глаза. Однообразно, большой мухой, попавшей в паутину, жужжит «пряха». Должно быть, десятки лет работает на ней баба-Яга, и мне кажется: помимо старухиной воли вертится колесо и течет из пуховой кудели серая нить.

Скучно за работой, и кустарки рады, что к ним зашел новый человек, внес разноеобразие в их обыденную жизнь. Они расспрашивают о никогда не виданном чудесном городе Москве, они рассказывают о степях, о своем труде, о пуховых оренбургских платках. Больше говорит мать:

— Особенный спрос на наши платки пошел после 1921 года, и год от году все растет. Теперь в Орске в каждом доме работают платки.

— Что ж, выгодно это?

— Ну, какая там выгода, — делать больше нечего. Вы сами посудите: чтобы связать один шестисотпетельный платок кустарка должна затратить на него полтора месяца. Пуховязальный союз определяет срок в 37 дней. Может быть, оно так и вышло бы, если бы работали в общей мастерской, а то ведь на дому работают. А дома: то обед приготовить, то постирать, да мало ли дел наберется...

— Сколько же вы зарабатываете?

— Мало зарабатываем. Пуховязальный союз заработок кустарки рассчитывает по 50 коп. на день, но и этого не получается. На большой платок нам выдают кило «джебаги» по 3 рубля 95 коп. и 14 мотков бумаги за 79 копеек, а сдаем мы готовый платок по 26 р. 77 к., если он в первый сорт пройдет. А получатся на платке полосы от плохо промышленного пуху или кое-где нетли распушены — во второй сорт за 21 р. 09 к., а то и в третий — 20 р. 09 к. Вот и сосчитайте, что нам получается. Потом и то не забудьте, что с каждого платка удерживается 2-3 рубля в уплату паевого взноса, в паевой капитал. Вот и выходит, что больше 8-10 рублей в месяц не заработаешь, а некоторые так и семи не выголяют. Мы-то вон втроем работаем, у нас дело быстрее идет.

Внезапно пряха замолкает, останавливается колесо. Старуха недовольно бурчит:

— Говорила ей: уходи из артели... Что она там получает? Вон одиночки не по-нашему зарабатывают: наме-

длись на базаре запрядные платки по 80 рублей штука продавали.

Мать хмурит брови:

— Опять свое... С частницами бороться надо, они-то нам все дело и портят... Вот подожди — откроют общую мастерскую, лучше будет.

— Дождидайся... Пока не уйдешь — лучше не будет.

Я знаю: мать — активная работница в артели, член ревизионной комиссии. Она одна из тех, кто на новых кооперативных началах хотят организовать пуховязальный промысел. Она борется за это новое, она уверена в лучшем будущем, и вот сейчас ее взгляд непоколебимо упрям и суров.

— Не уйду из артели... И говорить об этом нечего...

Баба-Яга шевелит дряблыми губами. Потом, обращаясь ко мне, говорит о другом:

— Летом да весной ленно работается. Зимой лучше, зимой день короток да нитка длинная, — так у нас говорят... Ну, видал, как прядут? Теперь смотри: сучить буду.

Опять жужжит «пряха». Теперь две нити — одна пуховая, другая тонкая бумажная — текут, ссучиваются вместе.

— Вот, смотри, — старуха обрывает нитку и подает мне обрывок, — вот из этого самые лучшие, крученые платки вяжутся. Надень ты такой платок и, не снимая, пятнадцать лет пронесишь. А то есть еще запрядные, это когда щелнку (бумажную нить старуха называет шленкой) запрядают пухом и с другой шленкой ссучивают. Такой платок много хуже, в нем от носки пух вытериса. А есть и еще хуже: две шленки пухом запрядут, да так и вяжут. По виду платок хорош, а толку в нем мало.

— Зачем же так делают?

— Пух дорог, выгадывают... В прошлый базар за фунт чесаного пуху тридцать рублей просили... В артели этого не допускают, а кто самосильно работает, тот хитрит.

Что-то вспомнив, оживляется:

— Лет восемь назад Москва на платки кинчилась, не успевали вязать, из рук хватали. Требовали, чтобы платок был пушистый и темный. Ну и навязали им... Запрядут кое-как две шленки пухом и вяжут. А чтобы темный был — сажай красили... Сажай в трубе много.

Недоуменно разводит руками:

— И куда это козы подевались? Раньше киргизы много коз разводили, а теперь мало. Раньше наш орский пух самый лучший считался. Из Ташкента который идет, тот грязный, потом пахнет...

Действительно, недостаток сырья сильно тормозит промысел. В орском отделении Пуховязального союза мне

говорили, что благодаря недостатку сырья, а также из-за неимения общей мастерской местная артель распадается. Нужно что-то сделать, чтобы предотвратить развал артели. Нужно как-то по-новому организовать труд пуховязальщиц. Такой опыт, давший хорошие результаты, сделан в г. Оренбурге на пуховязальной фабрике имени 1 Мая.

Фабрика «Имени 1 Мая»

В тихом Кожевенном переулке, на окраине Оренбурга, работает единственная в СССР фабрика пуховых платков, принадлежащая промышленной артели Пуховязального союза. Это — фабрика кустарок: из 350 человек, занятых в цехах, только восемь мужчин, исполняющих подсобные работы. Председатель правления артели (директор фабрики) нацменка, тов. Кирдяшева. Партия вывинула ее на эту работу, партия поручила ей упорядочить производство, построить его на новых началах.

— Я никогда не работала платки, я незнакома с этим делом, — говорит Кирдяшева, — и на первых порах мне самой приходилось учиться. Я старалась вникнуть в каждую мелочь, изучала сырье и думала-думала: что же нужно сделать? По пуховязальному делу нет книг, руководств, — мы используем только опыт кустарок. Прежде чем перестроить их работу, мы сами у них учимся... И нет специалистов по пуховязанию. Дали нам как-то в руководители ткацкого мастера с одной текстильной фабрики, но он оказался неподходящим, — очевидно, большая разница между нашим и текстильным производствами. И вот я долго присматривалась к работе каждой кустарки, я заметила, что каждая по-разному расчесывает пух, прядет и сучит. У одной нитка тоньше получается, у другой — толще. Одна лучше расчесывает и перемешивает пух, другая — хуже. От этого и платки получаются различные, нет стандарта. И вот мне и некоторым товарищам пришла мысль разделить производство на цехи, а кустарок разбить на коллективы. Пусть один коллектив только расчесывает и перемешивает пух, другой — прядет и ссучивает, третий — вяжет, четвертый — отделяет. Мы так и сделали. Работницы сначала противились, потом сами увидели, что по-новому дело идет успешнее. Да вот вам лучший показатель: до коллективов из 30 платков только три проходили в первый сорт, остальные — во второй, третий и даже в брак; разный цвет, полосатость от плохо перемешанного пуху, неравная толщина платка. После разбивки работниц на коллективы из 36 платков 14 было первого сорта, остальные

второй и третий, браку совсем нет... Пройдемте по цехам, увидите, как работают.

На втором этаже большого кирпичного корпуса — чесальный цех.

За длинными столами сидят девушки и женщины, среди них много нацменок, темноволосых, со смуглыми лицами, с глазами, как маслины. В широкие окна летит много света. Стены увешаны плакатами, на одном — самом большом — крупные буквы кричат:

«Превратим очаги дурмана в очаги культуры!»

Работают сосредоточенно и молча, только одна татарка тихо мурлычит свою восточную песенку, буйную и жаркую, как степи в июле. Руки привычно и быстро расчесывают пух. Татарка увлеклась и работой и песней, не заметила, как мы подошли к ней. Соседка толкает ее локтем. Песня замолкает. Девушка темными глазами смотрит на нас, смущенно улыбается, и в улыбке сверкают ее белые зубы.

Кирдяшева берет со стола комок пуху.

— Вот это после первого прочеса. Выборка волоса из пуха и его прочес производится вручную. Пухоборочных машин в СССР нет. За границей такие машины появились. Промкредсоюз хочет такую машину для нас приобрести. Это было бы очень хорошо! Машинизировать наше производство необходимо, без этого далеко не уйдем... Сырье у нас — «джебага». Сырье мы выбираем и прочесываем тщательнее, чем кустарки на дому. У нас в цехе два раза прочесывают пух и в третьем прочесе перемешивают его. С первого прочеса из килограмма «джебаги» получается 260 грамм чистого пуху, во втором прочесе из 100 грамм пуху бывает 30 грамм охлопьев, а во время смеси на гребнях от 1.000 грамм охлопьев остается только 20 грамм. Для однородности пуха по цвету мы подкрашиваем его: на 800 грамм сырца прибавляем 150 крашепого. Потом свертываем в куфты и отправляем в прядильный.

— А куда вы деваете охлопья?

— Сдаем в утильсырье. Из наших охлопьев работают хороший фетр.

В пухочесальном коллективе по 10—15, а в прядильном по 5—10 человек. В прядильном цехе большинство работниц в красных платках, — на сером фоне стен и столов их головы похожи на маки. На коленях женщин и девушек лежат чайные блюдечки, доньшки от стаканов, на них пляшут и тихо поют однообразную свою песенку веретена. Ловкими, почти незаметными движениями пальцев правой руки кустарка крутит веретено, а из куфты в левой руке набегают на него пуховая нитка.

У окон на «воробах» тростят нитки, потом ссучивают их на «пряхе».

И здесь тов. Кирдяшева мечтает о механизации:

— Прядильные машины в СССР есть, рано или поздно они и у нас появятся, а пока вручную работаем. В этом цехе готовится нитка для вязания. Пуховую нитку ссучивают с хлопчатобумажной, а для любительских платков подбавляем еще шелковую. Платок с шелком прочнее, мягче, красивее, «серебрится на ходу», как говорят кустарки. Твердая цена, по которой фабрика отпускает на склад Пухсоюза платки, для стандартного — 29 руб. 40 коп., для любительского — 39 руб. 32 коп.

В углу стоит пухотрикоотажная машина, на ней в три смены работают девушки-выдвиженки. Машина вяжет середину платка, норма ее выработки: 8 платков в восьмичасовой рабочий день.

— Машина у нас недавно. Работают на ней ученицы и пока дают только 12 платков в сутки. Это в два раза меньше, чем могла бы дать машина. И все же остальные цехи не успевают за машиной, не успевают прочесывать пух и готовить нитки. Каймы вяжутся отдельно вручную и после привязываются к серединам. Их работают и в общей мастерской и на дому.

Я спросил о заработке кустарок.

— Средний заработок на нашей фабрике 20 рублей в месяц. Выдвиженки, работающие на машине, получают 15 рублей и, кроме того, за каждый сработанный стандартный платок — 30 копеек, а любительский — 45. Заработок невелик, но поднять его нужно не увеличением расценков, а механизацией производства. Сейчас ежемесячно мы даем 288 платков, из них 80 любительских, а с машинами мы дали бы значительно больше, и значительно поднялся бы заработок каждой работницы.

Готовые платки поступают в «аполитурочный» — отделочный цех. Здесь

женщины «набирают платок на нитку», т. е. в каждый зубец каймы продергивают тонкий шпигат, сбрызгивают платок водой, встряхивают и натягивают на деревянную раму, где он выдерживается два дня. Это — последняя стадия фабричного производства платка. После этого платки отбираются по сортам, складываются по сотням и отправляются на склад.

«Аполитурочный» цех помещается в недавно отстроенном каменном корпусе, здесь же находится и красильная, окрашивающая пух для всего Оренбургского района. В новом корпусе просторно, светло, чисто, в нем — паровое отопление.

Фабрика «Имени 1 Мая» — новый этап в пуховязальном промысле. Кое-где в районах это поняли, так, напр., в Петровской артели, насчитывающей 1.100 членов в день кооперации кустарки на общем собрании постановили организовать общую мастерскую. И это единственный правильный путь: только укрупнением производства, его механизацией, разделением труда в общих мастерских можно расширить и поднять на должную высоту пуховязальное дело, а вместе с тем и улучшить материальное положение кустарки.

В заключение несколько слов о козах.

Из степей — Туркестана, Казалинска, Аолеты, Кыласа — все меньше и меньше идет пуху. Там развивается свое пуховязальное дело. Нужно подумать о разведении и культивировании пухоносных коз на местах. Во Франции об этом позаботились более ста лет назад.

Оренбургский пуховязальный союз прорабатывает этот вопрос. Подсчитано: чтобы снабдить пухом Оренбургский и Орский районы нужно стадо в 500.000 коз. Дело большое, огромной важности и нужно и пора уже постепенно проводить его в жизнь.

З а р у б е ж о м

БЕЛЫЙ Т. РРОР В КИТАЕ

(Письмо из Китая)

Вл. Лосьев

1

Сложилось мнение, что белый террор, заливающий рабочей и крестьянской кровью города и деревни Китая, пронесся сокрушительным ураганом после переворота Чан Кай-ши весной 1927 года и прекратился, что после этой черной измены «законному» наказанию подвергались лишь отдельные единицы, наиболее опасные, вредные и неисправимые бунтари и революционеры. Иностранная печать, издающаяся в открытых портах, и буржуазная гоминдановская пресса именно так представляют дело. Был переворот—были жертвы. Но какой же переворот возможен без жертв? Жертвы, даже невинные, излишества, даже когда эти излишества принимают колоссальные размеры и переходят в разряд каждодневных явлений, — все это неизбежно. О чем же тут говорить? Лучше поговорим о варварстве коммунистов, о насилиях партизанских отрядов, о злодействах красноармейских корпусов. Ведь они — истинные виновники бедствий китайского крестьянства, добро и благосостояние которого забирают в безрассудных грабежах, имущество которого предают огню, а самих вместе с женами, сыновьями и дочерьми или забирают в свои отряды, или ставят к стенке для ликвидации. Так создаются в редакциях шанхайских, пекинских и гонконгских листовок и отсюда перебрасываются в мировую печать легенды о «красных злодеях», о «советских бандитах», о «коммунистических насильниках», с которыми власть должна бороться во имя мира, спокойствия, благосостояния.

На самом деле, даже при поверхностном ознакомлении с сегодняшней китайской действительностью становится ясной грандиозная картина узаконенного, правительством проводимого, печатью поощряемого, обществом терпимого, ничем не приостанавливаемого, разнuzданного, кровавейшего, свирепейшего, жесточайшего классового

террора, приправленного значительной долей азиатского злодейства, напоминающего самые варварские, отдаленные, дикие времена человеческой истории. Быть может, это будет звучать банально, возможно, это явится стереотипной фразой, но нельзя не сказать, что ни на один день не утихающий террор затмил и в количественном и в «качественном» отношении и времена пероноовских гонений, и времена испанской инквизиции, и всякие варфоломевские ночи, и кишиневские погромы.

Что это не одни слова, показывает недавно имевший место в Ханьжоу случай. Среди группы арестованных коммунистов был некий юноша, сын зажиточного купца, порвавший с родителями, перешедший на нелегальное существование и ведший подпольную работу. Отец, узнав об аресте сына и грозящей ему казни, хлопотал где следует и ценою больших денег добился освобождения сына. Юношу призвали в суд объявить радостную весть, и здесь, на пороге свободы и жизни, он заявил судье: «Знайте, — вы освобождаете будущего агитатора на одной из ханькоуских фабрик». На совет судьи прекратить эту деятельность, возвратиться в семью, юноша ответил: «Это — работа моей жизни». Его, конечно, не освободили и не помиловали. Через час после сцены в суде его казнили.

Основательно продуманное и «идейно» оправдаваемое физическое истребление сегодняшних и завтрашних борцов проводится систематически по всем провинциям Китая. Иногда в той или иной местности наступает затишье. Палачи откладывают в сторону свои мечи. Мастера пыток отбрасывают свои изощренные орудия производства. Тюремщики послабляют режим застенков и казематов. Гоминдан объявляет свои сомнительные милости и обещает за раскаяние, за донос на товарищей, за клевету на организацию, за обещание верной службы «трем принципам» прощение, свободу, службу, деньги. Но эти времена «китайской весны» бывают

редки и непродолжительны. Не успевает милостивая политика гоминдана докатиться до отдаленнейших тюрем «сунговской династии», как вдогонку ей летит новая директива: в виду повторившихся выступлений коммунистов, в виду захватов ими новых территорий, в виду новых стачек и крестьянских волнений усилить надзор за красными, увеличить бдительность, проникнуть к коммунистические ячейки, арестовывать, засаживать, казнить без счета и снисхождения.

Такой период переживает Китай именно сейчас, после двух геройских походов красной армии на столицу хунаньской провинции — Чаншу. Падение столицы, занятие ее корпусами красной армии, образование в ней советской власти, угроза дальнейшего ироникновения коммунистического влияния на всю долину Янцзыцзяна — все это создало сильнейшую панику во всей стране. Хунаньское провинциальное правительство и генерал Хо Чиен, долженствовавший защищать Чаншу, обвинялся купеческими, финансовыми и землевладельческими кругами в неспособности бороться с коммунистами, в ограблении своей армии, отчего последние не проявляла достаточной ретивости в борьбе с красными войсками, в преследовании интересов личной наживы и обогащения. Этих упреков не избегло и нанкинское правительство, против которого выдвигалось главное обвинение в ведении никому ненужной войны с северными генералами, в оголении всех южных провинций от войск, вследствие чего красная армия смогла занять Чаншу без боя и уйти из города без серьезных потерь. Под напором паники, под давлением открытых угроз лишения кредитов со стороны хунаньского и шанхайского денежных рынков, под шопот намеков и замаскированных угроз империалистических держав «о необходимости ввести порядок на Янцзы» Нанкин ввел и провозгласил новый период белого террора, продолжающийся и поныне и конца которому еще не видать.

2

Началось с Чанши.

Сейчас же по возвращении войск Хо Чиена начались поиски «припрятанных» коммунистов и всех лиц, участвовавших или сочувствовавших разным профсоюзам, женским и юношеским организациям, коммунистическим и комсомольским ячейкам, органам и комитетам советской власти, основанным в городе во время пребывания в нем красной армии. Полицейские и воинские отряды рыскали по всему городу, всюду высматривая и вылавливая «подозрительных лиц», особенно среди городской бедноты, ремесленников, батраков, лодочников, кули, рабочих, которых

власти, естественно, рассматривали как сочувствовавших революционной борьбе. Эти поиски дали достаточную работу палачам и тюремщикам, но Хо Чиену, желавшему «спасти свое лицо» и ответи возведенные на него обвинения, все было мало. По его предписанию, все дома и лачуги во всех дворах города, насчитывающего свыше полумиллиона жителей, были обысканы. Каждый обрывок лоскуток, наломанный флажки и знамена, развевавшиеся на домах во время советской власти, каждый обрывок прокламаций и листовок, выпущенных политотделом армии или революционными организациями, — все служило достаточным поводом для задержания всех жителей дома, в котором была найдена крамольная бумажка, для предъявления обвинения в сочувствии красным, для предания казни.

Было объявлено, что военные власти ждут, что «патриотически настроенные, уважаемые граждане города» сообщат властям имена известных им лиц, сочувствующих коммунистам. К штабу потянулись доносчики, желавшие воспользоваться случаем и отомстить своим старинным врагам, неисправным должникам, обидчикам, оскорбителям. Всякий, на кого поступал донос, — доказательств не требовалось, — схватывался, арестовывался, подвергался пыткам и допросам и предавался казни. Для облегчения работы доносчиков и «патриотов» власти установили в разных частях города особые ящики, куда каждый приглашался бросать секретные донесения. Были даже выработаны и опубликованы особые правила пользования ящиками:

«1) Секретные осведомители должны дать подробное описание известных им фактов, указать местопребывание коммунистов и их участие в захвате города красной армией.

2) Донесения должны быть подписаны с указанием адреса сообщавшего, но власти торжественно обязуются держать это в строжайшем секрете.

3) За ценные сведения, ведущие к поимке опасных коммунистов или конфискации оружия, будет дано щедрое денежное вознаграждение» («Тай Тунг Дейли Ньюс», Дайрен).

Вообще, коммунистов в эти дни в Чанше ловили по упрощенному, чисто арифметическому способу. Власть издала приказ с указанием, что после ухода красных войск в городе осталось не менее 3000 коммунистов и большое количество коммунисток. Так как, говорилось далее в этом приказе, изловлено всего 500 коммунистов, то, следовательно, необходимо усилить бдительность и изловить и казнить остальных. Приказ предлагает обратить особое внимание

на красивых девушек города, среди которых якобы очень много коммунистов. Намек для солдат и офицеров национальной армии Китая — более чем достаточный.

Сколько было казнено в Чанше — неизвестно. Вероятно, даже Хо Чиев не знает, ценою скольких жизней вернул он пошатнувшееся к нему доверие нанкинских сатрапов. Несомненно одно: количество жертв превысило несколько тысяч и, если верить империалистическим источникам информации (агентство «Рейтер»), — достигло пяти тысяч человек. Несомненно также и то, что при подобной массовой работе были отброшены всякие церемонии с законами, всякие демократические новшества, сторонником которых является ортодоксальный гоминдановец Хо Чиев, всякие расследования и выяснения истинной виновности того или иного лица. Законный погром, учиненный Хо Чиевом с благословения Нанкина и при поощрительных аплодисментах всего империалистического мира, залил улицы Чанши, превращая их в реки и озера, кровью, человеческими костями и мясам.

Это было, вероятно, столь омерзительное зрелище, что глухой ропот пробежал даже в рядах хунаньских солдат — этих невольных исполнителей палаческих замыслов Хо Чиева. винтовкой подгонявшего их на выполнение правительственного задания. Даже хунаньская буржуазия, прославленная в истории Китая своей жестокостью и лютостью («нет зверя злее хунаньского помещика» — говорят здесь), обратилась в Нанкин с просьбой приостановить злодеяния Хо Чиева. Хунаньское землевладение (купечество) в Шанхае телеграфировало нанкинскому правительству («Минго Жи-бао», Шанхай), что Хо Чиев,

«проявив себя трусом в борьбе с коммунистическими войсками, держит себя настоящим героем в деле убийства человеческих существ. Он не может успокоить Чаншу, потому что вся его работа по восстановлению порядка и мира, заключается в убийствах. Согласно полученным нами донесениям из Чанши, он убил несколько тысяч граждан, но один бог знает, сколько из них коммунистов. Во имя защиты невинных людей, приостановите его».

Другая газета, «Тай Тунг Дейли Ньюс» (Дайрен), сообщает:

Немедленно по прибытии в город Хо Чиев наложил на коммерческую палату контрибуцию в 40.000 долларов и предал казни тысячу человек с целью доказать Нанкину свою пригодность в борьбе с коммунистами, которых он-де истребляет тыся-

чами. Однако, большинство казненных не были коммунистами».

Эти сведения, чудовищные сами по себе, были немедленно опровергнуты американским агентством «Юнайтед Пресс», сообщившим, что

«со дня вступления в город правительственных войск более 2.000 лиц, заподозренных в сочувствии коммунизму, были преданы казни. Кули, лодочники, бедняки были взяты под подозрение, как таковые. Вообще, Хо Чиев, очевидно, желает истребить как можно больше коммунистов в целях смягчить свою вину за неудачную защиту города, который он обложил контрибуцией в 400.000 долларов».

Не довольствуясь этим, Хо Чиев предоставил свободу действия всем своим солдатам. Они грабили, убивали сопротивлявшихся, насилывали женщин, которых предварительно обвиняли в принадлежности к красным, рубили и пытали. Такое же право получили и зажиточные элементы, благонадежность которых была вне всякого сомнения. Они или самостоятельно, или с помощью наемных бандитов расправлялись со своими непокорными служащими и прислугой, с неисправными плательщиками арендной и квартирной платы, с поставщиками съестных продуктов, с салонниками, портными, прачками и всеми неугодными лицами. Это были судные дни для столичной бедноты. Судьями были домовладельцы, видные граждане, именитые кунцы, ростовщики, застрявшие в городе землевладельцы, столичное чиновничество, офицеры штаба, солдаты. Приговор был до умопомрачения однотипен: «расстрелять».

По мере продвижения «победоносного» войска за пределы города, в деревенские и сельские районы, в этих последних провозглашались «очистительные дни» или недели и повторялась чаншійская история. Действующими лицами были все те же герои, с той лишь разницей, что деревенская знать заменяла городскую, привлекала к себе кулаков, помещиков и наемные вооруженные силы. На другой стороне было все крестьянство, в каждом из которых очистители видели своих непримиримых врагов.

Но деревня — не город. Гористый район в окрестностях Чанши и других мест, где боролось красное крестьянство (Лилинг, Чучоу, Пинцзян, Лоянг и др.), таил в себе тысячи опасностей и припрятавшихся красноармейцев и партизан. То, что обещало быть славным военным походом, превратилось в жесточайшее побоище, нанесшее палачам серьезные и тяжелые раны, заставившие Хо Чиева слать, в Нанкин такие примерно донесения:

«Прибыв на фронт десятого, одиннадцатого занял Лоянг. Однако, крестьяне, живущие в окрестностях, все без исключения являются коммунистами, даже женщины. Их здесь насчитывается более 30 000. Две тысячи женщин-коммунисток образовали отряд «хей са» (отряд для ночных выступлений) и дерутся весьма храбро. Здесь же, вблизи города, имеется красная военная школа, дающая военное обучение 800 слушателям. Весьма тяжело искоренить красное движение, так как все крестьяне — коммунисты или становятся ими» («Синь Вень-бао», Шанхай).

Да, деревня — не город. На карательные экспедиции крестьяне ответили террором. Они стерегут появление солдат и офицеров и истребляют их всеми доступными средствами, как щенят. Они укрывают красноармейцев и партизан, снабжают их провизией, выковывают для них мечи, сооружают домашнее примитивное оружие, шьют им обмундирование, служат вернейшими и надежнейшими пугачами и разведчиками. В деревне нельзя показаться солдатам и офицерам Хо Чина, и карательные экспедиции, а также воинские подкрепления на чаншайский фронт продвигались исключительно по линии железной дороги, боясь отойти от нее на один китайский ли. Это дало возможность снасти революционные базы, сохранить в значительной доле живую силу красной армии и отступить в полном порядке.

Но в городах хозяевами положения были хо-чяновцы. Они искореняют крамолу и борются с красной опасностью. В этих целях организован специальный провинциальный комитет «подавления и истребления коммунизма», организаторами и инициаторами которого являются высшие правительственные и гоминдановские чиновники. Была проведена неделя пропаганды против коммунизма (попытка бороться с коммунизмом «идеологически»), открывшаяся большим митингом. Каждое правительственное учреждение, все клубы, все общественные организации, школы и гильдии должны были прислать на собрание по тридцати представителей и выделить особую группу пропаганды. Не доверяя организациям, комитет предупредил, что заслушание организации будут считаться коммунистическими, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Комитет обязал все организации и школы, всех торговцев и промышленников, всех менял и домовладельцев снабжать письма и все деловые бумаги, все денежные знаки и обертки, изготовляемое печенье и сласти, рубашки, надеваемые кули, первые страницы газет, — всюду и везде ста-

вить штамп: «искореняйте коммунистов». Нарушители также приравнялись к коммунистам и расстреливались («Шень-бао», Шанхай).

3

Террор в городах. Солдатня на линии железной дороги. Карательные экспедиции в деревнях. Всюду аресты виновных и певниных, коротки, молниеносные допросы, иногда заключающиеся в установлении имени и возраста, и быстрая казнь во всех ее китайских видах.

Но центральные власти, дающие торжественные заверения консулам, в глубине своих душ не столь уверены в одержанных победах. Они боятся наступившего спокойствия и тишины, они боятся присмиривших, молчаливых и угрюмых крестьян. Они знают, что тишина — не спроста, что молчат только тогда, когда вблизи находятся ненадежные уши или слишком острые глаза, что за угрюмостью скрывается живо бегущая мысль. Властям чудится, что что-то готовится. Следовательно, надо углубить террор, надо продолжать наступление на крестьянский хижин, надо усилить количество карательных отрядов, надо проучить, чтоб помнили потомки.

Так возникает мысль созыва в Ханькоу конференции трех провинций: Хупань, Хубей и Цзянси, находящихся в отношении «красной опасности» в одинаковом положении. Эта правительственная конференция по определению мер террористических актов по отношению к своему народу интересна во многих отношениях. На ней была ярко продемонстрирована полная оторванность гоминдановских властей от олеказмого ими народа, полное бессилие всемогущих господ. Захлебываясь в крови, тежаясь среди гор искалеченных, изрубленных и иссеченных тел, преледя и душа все живое и молодое, развиг необычайную систему слежки и шпионажа, собравшиеся в Ханькоу властелины должны Инчзыцзяна крикнули на весь Китай: «Спасите, мы погибаем. Красная опасность сильнее нас. Подчиненные: усильте террор, возведите его в культ, теилоризируйте его, — иначе коммунисты нас свергнут».

Таков был смысл почти всех выступлений. Топ задавал военный министр панкинского правительства Хо Ин-чин. Объявив о принятии им поста главнокомандующего, всеми силами борющегося с коммунизмом, генерал Хо заявил:

«Во всех местах трех провинций имеются красные. До сих пор борьба с ними велась в недостаточной мере. Провинции охвачены местническим духом. Изгнав коммунистов за преде-

лы своего уезда, уездные власти на этом успокаиваются, а коммунисты развивают свое дело в соседнем уезде, куда их загнали. То же самое происходит и в провинциальном масштабе. Провинциальные власти всегда прекращали преследование коммунистов у границ своей провинции. Этой нашей слабостью искусно пользовались коммунисты, держа свои главные силы на границе двух провинций и переходя из одной в другую по мере приближения войск. Поэтому нам не только не удалось разбить красные силы, но мы сами способствовали их усилению».

Провинциальные делегаты дружно поддержали нового главкома и от себя добавляли интересные подробности. Они рассказывали, как коммунисты рассылаются по деревням среди крестьян, охотно принимающих и укрывающих их (речь Ван Ин-шу из Цзянси), как, организовав в деревнях отряды молодежи, красной гвардии, красной армии, коммунисты терпеливо выжидают своего часа и неожиданно, к величайшему удивлению властей, совершают «свои убийственные и опустошительные налеты» (речь представителя штаба армии), как коммунисты, пользуясь отсылкой войск на фронт генеральской войны, завоевывают деревни, села и уезды и совершенно обессиливают местные войска и минтуаней, которые не в состоянии больше поддерживать порядок и закон (речь представителя Хубея).

За этой слезницей, частично предназначенной для устрашения купеческих и землевладельческих кругов, дабы они охотнее давали деньги «на борьбу с коммунизмом», шли закулисные, тайные переговоры о более существенном. Из принятых резолюций двенадцать «столь важны в политическом и военном отношениях, что не подлежат опубликованию» («Ухань Дейли Ньюс»). Опубликованы лишь шесть: 1) о поисках «реакционных» элементов в школах и на фабриках и ознакомлении с их работой¹⁾, 2) об аресте всех «работников реакционных организаций», начальников и командиров красных войск, 3) о воспрепятствовании приобретению коммунистами орудия, 4) о вооружении недавно организованных четырех полков провинциальных войск, 5) о посылке гоминдановских пропагандистов и агитаторов в те же места, куда посылаются карательные экспеди-

¹⁾ Необходимо иметь в виду, что гоминдан и нанкинское правительство продолжают считать себя революционной партией и правительством. Все остальные недовольные элементы — или «бунтари» (относится к восстающим генералам), или «реакционеры» (относится к коммунистам и рабочим), или «бандиты» (относится к крестьянам и партизанам). Такова фразеология гоминдана, перенятая китайской и империалистической печатью. — В. Л.

ции и 6) о необходимости составлять карательные отряды из солдат, знающих местность своих будущих операций и хорошо дисциплинированных.

Особенное внимание обращено было на расширение «партийной работы» в крестьянских районах. Хо Ин-чин обучал:

«Политическая и партийная (гоминдановская) работа должна вестись одновременно с военной, потому что крестьянские массы темны и легко поддаются коммунистической агитации. Правительственную и гоминдановскую пропаганду необходимо поставить на должную высоту. Мы должны обучить состоятельных крестьян, как организовывать отряды самообороны. Короче говоря, фундаментальным способом истребления коммунистов и коммунизма является объединение политических, партийных и военных сил, координация их действий. направленных в одну цель и сторону: на красные районы». («Индустриаль энд Комершиаль Пресс», Нанчанг).

Не меньшее внимание обращено на сохранение в целостности солдатских рядов от проникновения «коммунистической бациллы». Конечно, войска должны беспрекословно подчиняться и повиноваться своим командирам, даже если придется выступать против своих деревень и своих родичей. За каждое неподчинение приказу, за промедление в выполнении его — строжайшее наказание, вплоть до расстрела. Награды, поощрения, денежное вознаграждение, приличные похороны, компенсация семье — за усердие, за ранение или смерть в бою.

4

Разъехались участники конференции по своим провинциям. И вскоре на всей территории Хунани, Хубея и Цзянси стали проводиться в жизнь опубликованные и тайные резолюции конференции террористов и всюду стали повторяться кошмарные чаншйские истории.

Из столиц в провинциальные центры отправились воинские эшелоны. Быстро разместились свежие войска в большинстве уездных городов Цзянси, имеющих военно-политическое, торговое или стратегическое значение:

18-я и 13-я дивизии были расквартированы в городах Чжаншу, Жуйчжоу, Шангае, Чунцзяне.

34-я бригада 20-й дивизии разместились в городе Гань и его окрестностях.

19-я и 30-я дивизии были посланы в Лупин и Цзиндэчжень.

Несколько полков остановилось в Сецзяне.

Эти цзянсийские войска не сумели, однако, справиться с возложенной на

них задач. Были битвы, но красные силы не были разбиты. Лучшей иллюстрацией могут служить события, разыгравшиеся у города Гань на реке того же названия. Здесь советское влияние весьма сильно. Красная армия прочно обосновалась в этом районе. В течение трех лет шла организационная и агитационная работа коммунистов. Здесь существуют: советский аппарат, советские военные школы, военные госпитали, дома отдыха для больных и раненых красноармейцев. Многочисленные попытки правительственных войск отбить район от красных всегда заканчивались плачевно. И теперь, после конференции трех провинций, войска сделали новую попытку. Но XX-й корпус красной армии, объединившись с крестьянами уездов Анфу и Инсин, в количестве 10.000 бойцов при 1.600 орудий перешел в атаку, продолжавшуюся восемь часов. Разбив три полка, красные части отошли.

Такое же соприкосновение оказала красная армия и крестьянство во всех других местах, занятых войсками. Провинциальному правительству пришлось звать помощь извне. На основании постановлений ханькоуской конференции эта помощь была оказана:

Чан Кай-ши послал с фронта две дивизии.

Цзюцзянское провинциальное правительство послало два полка.

С хэнаньского фронта были перебросены два аэроплана для службы разведки. «Утверждают, что эти аэропланы окрещены именем «Казакси» и недавно прибыли из Германии. Они снабжены всеми последними военными и техническими достижениями».

(«Инд. энд. Ком. Пресс», Нанчанг).

Но все же уезды Цзянси продолжали «оставаться под влиянием коммунистов, за исключением столицы и ближайших к нему районов». Не помогли провинциальные войска, не помогли одолженные у соседних провинций и взятые с фронта, не помогли и германские аэропланы, со столь убедительными и подходящими именами. Отчаявшиеся помещики и землевладельцы, купцы и чиновники решили сами взяться за спасение своей шкуры:

«Представители буржуазии двадцати одного уезда востока провинции собрались в Напчанге для организации местной обороны и защиты. После продолжительной дискуссии все сошлись на необходимости немедленного объединения всех местных сил для борьбы с коммунистами. Для сохранения закона и порядка решено было создать сильные боевые отряды, объединенные в три корпуса. Собрание обложило уезды на 200.000

долларов для закупки в Шанхае винтовок и аммуниции» («Инд энд Ком. Пресс», Нанчанг).

Так, по инициативе кругов, которые китайская газета называет буржуазными, вся провинция была разделена на 12 округов, каждый из которых состоит из нескольких уездов. Каждому округу позволено организовать свое собственное войско, которое, однако, должно сотрудничать с провинциальными войсками, где они имеются. Вообще, местам была предоставлена полная свобода действий и возможность широко применять свою находчивость и инициативу, чем места не преминули воспользоваться, вплоть до того, что начальник цзюцзянского гарнизона предписал всем гражданам обоего пола старше одиннадцати лет от роду зарегистрироваться в полицейском участке. От зарегистрировавшихся требовалось предъявление фотографических снимков, заверенных свидетелями, и гарантии в политической благонадежности «уважаемого лица».

Но уездные деятели, несмотря на антиместническую речь Хо Ин-чипа, все же в первую очередь заботились о своих уездах. Губернатор провинции, главным, Нанкин все внимание уделяли Нанчангу — столице. Немецкие военные советники, империалистические друзья Нанкина, потратили немало времени и энергии на выработку плана защиты столицы.

В городе начались повальные обыски, аресты и казни. Ретивые власти обшарили все дома, «чистили» все организации, включая гоминдановские отделы и все правительственные учреждения. Этим делом занимались: нанчангский гарнизон, штаб провинциальных войск, бюро общественной безопасности, гоминдан. Спасения не было никому. Пропущенные одной чисткой, ловились при следующей. Ошибки, допущенные одним очистительным аппаратом, исправлялись выше стоящим. Не удивительно, что среди двадцати пяти лиц, казненных в эти дни в Напчанге, жизнью своей заплатили четыре члена гоминдана, чиновники муниципального правительства, а также глава общественного городского бюро. Все они были обвинены в распространении коммунистической пропаганды и пребывании в рядах киткомпартии. Казнь руководителя общественного бюро Шунг Го-хуа наделала много шума в провинции, вызвала целую сенсацию и породила много толков, несмотря на то, что население привыкло к казням. Власти вынуждены были опубликовать официальный бюллетень, дабы пресечь слухи. В нем говорится:

«Штаб гарнизона призвал Шунг Го-хуа для беседы с военным судьей.

Августа 1	8 коммунистов расстреляно	Из них шестеро были членами районного комитета партии и вели по поручению ЦК ККП военную работу в долине Янцзы. Двое вели организационную работу.
» 2	2 расстреляно	Не известно.
» 3	2 расстреляно и 2 обезглавлены.	Агитировали среди рабочих. Собрав сто рабочих, ворвались в школу в Ханьяне и провели массовый митинг, на котором один председательствовал, а другой секретарствовал.
» 6	7 обезглавлены	Трое держали связь с видным коммунистом советского района и пытались захватить винтовки от местной полиции. Двое находились в заключении в тюрьме и пытались бежать. Двое, очевидно крестьян, пойманы в окрестностях города и обвинены в снабжении красной армии продовольствием.
» 8	5 расстреляны	Не известно.
» 9	16 обезглавлены	Находились в тюрьме, будучи приговорены к различным срокам заключения. При создавшейся панике схвачены властями из тюрьмы и казнены, благо в Китае не приходится лицемерно объяснять, как в некоторых других «цивилизованных» странах, что убиты «при попытке к бегству».
» 10	9 расстреляны	Тоже
» 12	неизвестно	Было арестовано 60 рабочих. Из них «многие» расстреляны без всякого следствия.
» 16	16 расстреляно	Не известно.
» 17	1 убит	Прибыл в Ханькоу из советского района для связи.
» 17	2 казнены	Не известно.
» 20	5 расстрелено	Один был членом районного комитета ККП. Одна (Ванг Чин) работала в женских организациях. Один член провинциального комитета партии, подготовлял всеобщую стачку. Один член МОПРА.
» 22	18 расстреляно	Приговорены за участие в коммунистическом движении.
» 25	18 расстреляно	Обвинялись в принадлежности к ККП.
Сентяб. 6	4 казнены	Не известно.
» 7	1 казнен	Видный коммунист Чу Ю.
» 9	5 казнены	Руководители союза текстильщиков.
» 10	5 казнены	Включая известных работников ханькоуской организации Чан Тен-син, Лю Кин-шун, Ван Пин-шан.
» 11	18 казнены	Двое девушек, моложе двадцати лет.
» 26	44 расстреляны	Обвинены в заговоре против существующего строя, распространении коммунистической пропаганды. Многие были разведчиками красной армии.

ежедневные казни (кто в «цивилизованных странах» интересуется казненными кули, текстильщиками, работниками или студентами? Ведь они не миссионеры), — они ограничивались сообщениями:

«Отсечение голов — вот что на очереди дня. Истекшая неделя в Учане была неделей казней, темных слухов, опасений и военного положения». (Ханькоуский корреспондент американского агентства «Юнайтед Пресс»).

Мы привели этот список лишь потому, что он раскрывает картину грандиозного движения, дает понять, за что казнят, кого казнят и как казнят...

Согласно изданной властями прокламации, смертной казни подвергался всякий, кто призывал к свержению гоминдана и национальному правительству, кто распространял коммунистические листовки и прокламации, кто вел агитацию среди солдат и полицейских, кто призывал к забастовкам и демонстрациям, кто участвовал в подпольных организациях. Предварительно полученный тюремный приговор не спасал, как мы видели, находившихся в тюрьме Узников, — явление, пожалуй, невозможное нигде в мире, кроме гоминдановского Китая.

Казни обставлялись публично и проводились с явным желанием внушить страх, запугать, терроризировать, проучить. Большие толпы сгонялись на место казни, наблюдая за всеми деталями процедуры. Но так как уроки проходили зря, так как брожение продолжалось, коммунистические листовки появлялись, а красная армия наступала, то власти приближали казни к району, где больше всего находится будущих жертв палачей, — к фабрикам и заводам, к городским воротам и торговым площадям, к университетским и лекционным залам. Большинство казненных — молодежь: многие не дожили до двадцатой весны. Отомечены случаи казни четырнадцати- и семнадцатилетних школьников. Но имеются и пожилые (особенно крестьяне), на исходе четвертого или пятого десятка.

Почти вся печать отмечает удивительное хладнокровие и мужество казненных. Они поют революционные гимны, они произносят антигоминдановские речи, они выкрикивают лозунги и зовут к борьбе и мести.

Мы ничего не сказали об арестованных.

Что можно о них сказать? Их число неизвестно, но, вероятно, в одном Ханькоу превышает несколько сот, а может быть, и несколько тысяч. Ведь были случаи, когда сразу, одним налетом полиция арестовывала по 80 человек (студенты учанской средней школы), по 60 (рабочие ткацкой фабрики), по 30 (в оплывшем притоне, якобы слу-

жившем местом для тайных собраний коммунистов). Говоря об арестованных и их положении, мы приведем лишь следующую выдержку из «Ханькоу Геральд»:

«Когда его переводили под охраной военного патруля из Ханькоу в Учан, коммунист по имени Ган Гуанцай, арестованный несколько дней тому назад, вырвался от стражников, бросился в реку и утонул». Самоубийство — лучше участи арестованного, лучше перспектив пыток и избиений¹⁾.

6

До сих пор мы говорили исключительно о крупных событиях, о местах, где белый террор принимал характер массового обыкновенного явления, где падкое до зрелищ население, привыкшее к каждодневному пролитию рабочей и крестьянской крови, заранее собиралось в определенных местах и терпеливо ждало привода осужденных и момента казни. Послушная китайская подцензурная печать была даже вынуждена констатировать, что в Ханькоу нравственность граждан, под влиянием публичных казней, значительно падает, что мораль населения ухудшается, что имеются все основания опасаться за будущность нынешней молодежи, воспитывающейся на картинах расстрелов, удушений, обезглавливания.

Да не подумает читатель, что кровь лилась и льется лишь в указанных местах, местах, где происходили великое движение, восстания, бунты, где создавалась тревожная и паническая атмосфера, где ружья стреляли сами по себе. Телами лучших сынов современного Китая усеяны все поля всех провинций страны.

Но, к сожалению, подобные данные не могут быть собраны, по крайней мере, пока — до победы социалистической революции в Китае. В прессу едва ли попадает тысячная доля того, что происходит.

Опасения и страхи заметны во всех действиях властей, городских, уездных, провинциальных и центральных. Зная степень ненависти, питаемой к ним населением, зная, какие «любовообильные» чувства вызывают власти в рабочих и крестьянских душах, зная, какими мыслями наполнены молодые буйные головы студентов, власти боятся своего народа и в особенности рабочих и кре-

¹⁾ Все приведенные в этом разделе факты, за исключением уже указанных источников, взяты из следующих китайских и английских периодических изданий: «Джанен Эдвертайзер» (Токио), «Ухань Дейли Ньюс» (Ханькоу), «Шень-бао» (Шанхай), «Манчжурин Пресс» (Дайрен), «Тай Тунг Дейли Ньюс» (Дайрен), «Ши-бао» (Шанхай), «Синь-вен-бао» (Шанхай).

стьян. Они не доверяют существующим и разрешенным организациям п общества и постоянно, непрерывно их реорганизовывают, закрывают, проводят перерегистрации, учет членов, чистку и т. д.

И, конечно, всякая такая чистка, всякая подобная реорганизация знаменуется новыми жертвами, новыми арестами, новыми могилами.

Особенно боится и неавидит власть подпольную коммунистическую печать и ее работников. Взяв в свои руки монополию на печать и па общественную мысль, гоминдан с помощью иностранных властей с особым рвением пытается задуть подпольный печатный станок. Месяцами идет охота па распространителей коммунистических листов «Шанхай-бао», «Хупи Ши-бао» и др. Сотни разосочиков арестовались за продажу и бесплатную раздачу этих газет на улицах города. Жестоко пытаят каждого арестованного полиция, в надежде, что под действием иглоков, всаживаемых под ногти, пли под влиянием подогревания пяток па огне газетчики скажут, кто и где дает им для раздачи крамольные издания.

К своему величайшему удивлению, полиция должна была расписаться в своем полном бессилии: на каждой демонстрации появлялись хорошо отпечатанные листовки и прокламации, и каждый день с величайшей аккуратностью выходили коммунистические газеты. Судьи изощрялись в издевательствах над арестованными распространителями красной печати, приговаривая к тюремному заключению из расчета один день тюрьмы за каждую найденную при арестованном прокламацию (отчего один газетчик получил 15.000 дней заключения) или к заключению на год тюрьмы за найденную в кармане брошюру. Но все эти пытки и издевательства не давали властям возможности найти подпольную типографию, виновнику регулярного появления в пролетарских кварталах коммунистической литературы.

Лишь случайно, делая обычный ночной обход района и внимательно следя за подозрительными домами, в поисках разыскивавшегося вора, полиция нашла на след крупной типографии, которая и оказалась коммунистической. Сотни полицейских появились в районе, окружили дом и с необыкновенной торжественностью и радостью совершили свою облаву. Была захвачена хорошо оборудованная типография, с наборными и печатными машинами, со всевозможными шрифтами, с набором очередного номера «Красного Флага», за выпуском которого работали семнадцать наборщиков и печатников. Типография конфискована, рабочие арестованы, печать прославляет бдительность полиции, последняя радуется такому

крупному и важному улову. Но в разгар этого торжества выходит, после двухдневного перерыва, очередной номер «Красного Флага», сразу нарушив все веселье шпиков, полиции, империалистов и гоминдановцев.

С такой же лютостью преследуется вся новейшая китайская литература, резко повернувшая влево и мечтающая о работе совместно с компартией над усталовлением в Китае советской власти. Журналы из месяца в месяц меняют свои названия, литераторы и журналисты живут на полулегальном положении, собрания литературных кружков и групп происходят в глубокой тайне и с соблюдением всех правил конспирации. Такова же судьба и театральных работников, среди которых быстро развиваются левые настроения и тепденцип. Их постановки срываются, публикация пьес запрещается, авторы и артисты преследуются, делается серьезный нажим на театровладельцев, которые отказывают в предоставлении помещения.

7

Вероятно, нигде в другой стране, никогда раньше в истории революционной борьбы трудящихся не было отмечено такого громадного количества случаев совершеннейшего безразличия перед дулом направленных на сердце винтовок. Смертная казнь перестала пугать китайского рабочего и крестьянина. Она не является уже более мерой воздействия на других, как об этом мечтают нанкинские сатрапы. Казнь является скорее актом мести запуганных и чувствующих приближение конца властей, актом удовлетворения своих садических и иных чувств, актом сознательного физического уничтожения своих кровных классовых врагов.

Сотни корреспонденций появились за последние годы в китайской и английской печати Шанхая с описанием всех подробностей казни: обязательный провод обреченного по улицам и площадям города со связанными сзади руками и воткнутым куда-нибудь флажком с иероглифами имени и преступления; расстановка на площади или у стены, последние церемонии по удостоверению личности, смехотворный, неизбежный вопрос о последней просьбе или желании; наведение курка и выстрел. Десятки миссионеров и случайных иностранных свидетелей описывали эти мрачные и жуткие моменты. И ни в одной корреспонденции, ни в одном описании не приходилось читать про слезы, раскаянные просьбы и мольбы казнимых к палачам, то-есть того, чего с такой надеждой ожидают руководящие рукой палача лица. Наоборот, каждое описание подчеркивает полное бесстрашие перед лицом смерти,

бодрость умирающих, распевających революционные песни или выкрикивающих революционные лозунги, посылающих проклятия палачам и призывающих к борьбе и отмщению. Даже заклятые враги китайского трудового народа, даже наимпродажнейшие империалистические писаки, миссионеры, священники и иностранные торговцы с нескрываемой злобой признают, что коммунисты, умирая под мечом палача, проявляют небывалое мужество, доказывают глубочайшую преданность своему делу, этим потрясая основы режима до самых его оснований. Каждая казнь превращается в новый могучий обличительный акт. Каждый казненный является новым знаменем, собирающим под свое лоно новые верные и преданные кадры.

«...Два господина пришли ко мне на прошлой неделе. Один из них только-что видел сцену, описание которой живо напоминает возмутительные истории средневековых зверств. Два «бандита» были пойманы. Один был немедленно обезглавлен, и упавшая, как орех, голова его была привязана к шее другого, отведенного с этой ношей на площадь, где его также казнили. Позже обе головы были выставлены на городских воротах...»

«...Сидя на веранде, я неожиданно услышал резкие выстрелы. Оглянувшись, я увидел взвод солдат, стоявших на траве внизу, вблизи храма. Рядом с ними лежал небольшой темно-синий узелок. Через бинокль я увидел безжизненное тело крестьянина, одетого в обыкновенный дешевый крестьянский костюм. Вскоре к храму стали стекаться толпы. Приходили хорошо одетые женщины. Отцы вели за руки раздетых в нарядные платья шести- и семилетних дочерей. Всем хотелось подойти поближе и рассмотреть рану на теле казненного...»

«...В поле собралась громадная толпа любопытствовавших наблюдать за казнью двух вновь пойманных «бандитов». Солдат вытащил из ножен широкий, длинный меч, поднял его над склоненной головой несчастного и, скомандовав сам себе: раз... два... три... изо всей силы опустил меч и продолжал командовать: четыре... пять... шесть, после чего высоко поднял над своей головой руку, в которой крепко держал только-что отсеченную голову. Осторожно положив голову на траву, он начисто вычистил травой свой меч, столь же осторожно взял голову и удалился выставлять ее напоказ...»

«...В Венчжоу (Чжецзянской провинции) за одиннадцать дней казненно семьдесят обвиненных в коммунизме. Среди них была старая жен-

щина-пропагандистка и ее девятнадцатилетний сын. Казни обставлялись весьма жестоко, и солдаты после расстрела добивали свои жертвы прикладами...»

Нашу мрачную повесть можно было бы продолжать, но всего материала о белом терроре не исчерпать. Всех случаев зверских убийств не рассказать.

Можно было бы рассказать, как полиция французской концессии в Тяньцзине совершила налет на книжный магазин и, арестовав сорок коммунистов, предала их в распоряжение китайских властей. Больше о них никто ничего не слышал.

Можно было бы сказать, как в вотчине Фын Юй-сяна схватили двадцать студентов, юношей и девушек, из обществ университета Чуншан. Где они? Что с ними? Какова их судьба? Быть может, когда-нибудь об этом расскажет идеолог Фын Юй-сян, медоворечивый Ван Тип-вей, яростно ныне нападающий на диктаторский режим Чан Кай-ши.

А что относительно сотен арестованных в Пекине? Где руководитель коммунистической организации Ченду? Где студенты и учителя, арестованные в столице Сычуаня? Куда деть тридцать рабочих, арестованных в Чункине за возмущение, вызванное насильственной смертью председателя городского комитета компартии? Или двадцать кантонских железнодорожников, арестованных за хранение «красной» литературы, — куда исчезли они?

Каким пыткам подвергся перед казнью арестованный на английской жел.-дор. линии Кантон—Каудун командир красной армии Ю Цо-и, переданный англичанами кантонским властям, казнившим его за организацию советской власти в Босэ и Лунчжоу (провинция Гуанси), разгромленной в начале текущего года французскими империалистами? Или Ванг Хо-лонг, член сватоуского комитета партии, командир красной армии, обвиненный, между прочим, в антибританской агитации среди индусов? Куда делись двести тринадцать рабочих, арестованных в Сучоу, Вуси, Кианине, Чанчоу, Жучоу, Путуне, Сунчине, Чинцзяне, Вушине и других городах Цзянсу? Четверо из них расстреляны, пятнадцать приговорены к каторжным работам, т.-е. столь же неизбежной, но медленной смерти. А остальные? О судьбе их ничего неизвестно, словно канули в воду, испарились в воздухе. Вероятно, так же испарились в воздухе и триста двадцать студентов Центрального и Нанкинского университетов, арестованные в один день, дело которых пытались связать с делом другой сотни арестованных, по обвинению в организации заговора против правительства,

заговора, в котором фигурировали столь знакомые полицейские изобретения, как подкуп под здание правительства, якобы сооруженный заговорщиками, бомбы, коими они думали забросать нанкинских государственных мужей¹⁾.

Многое можно еще рассказать...

Но разве можно перечислить все отдельные случаи, как бы трагичны, как бы жестоки они ни были, когда явление приобретает характер обыденного и

превращается в каждодневное событие в жизни великого народа?

Можно лишь привести итоговые цифры этого послужного списка китайской коммунистической партии, этого кровавого итога гоминдановского режима. К сожалению достоверных цифр не имеется. В нашем распоряжении имеются две таблицы, — одна, составленная китайским отделом МОПР'а, другая, опубликованная журналом «Ши Жай Мин Фа». Приводим обе:

ПРОВИНЦИЯ	ДАННЫЕ МОПР'а за январь — июнь 1930 г.		ДАННЫЕ „ШИ ЖАЙ МИН ФА“ с 1 мая 1929 года по 30 мая 1930 г.		
	В городах	В деревнях	Находятся в тюрьме, осужденные	Разнeno	Под арестом и следствием
Цзянсу	600	2.530	2.745	1.854	153
Чженцзян	500	1.500	946	248	67
Анхвей	20	1.600	1.511	651	16
Чжили	100	1.500	1.496	215	35
Шаньси	20	—	151	64	2
Шенси	10	—	416	152	45
Шандунь	20	500	474	26	15
Ганьсу	—	1.000	—	—	—
Мудей	20	2.000	—	—	—
Гирин	10	1.500	Манчжурия } 1.754	} 123	} 12
Хейлудзян	20	—			
Гуандун	500	3.700	3.581	2.158	178
Луанси	—	200	432	312	9
Юнань	100	1.200	396	147	38
Хубей	500	5.400	2.454	2.014	246
Сычуань	100	1.500	624	336	24
Хунань	3.000	15.000	3.843	224	197
Цзянси	200	13.500	3.784	1.968	132
Фуцзянь	200	1.500	1.649	74	15
Хэнань	100	1.000	578	22	27
Гвечжоу	—	—	145	43	—

Несомненно, в таблицу журнала «Ши Жай Мин Фа» не вошли революционные борцы, павшие во время восстаний, в походах, наступлениях и отступлениях героической красной армии. К списку же МОПР'а следует прибавить 12.590 лиц, арестованных за это же время в больших городах (Шанхай, Ханькоу, Тяньцзин, Пекин, Гонконг, Нанкин, Нанчанг, Цзюцзян, Чанша, Кайфын, Циндао, Амой, Кантон и др.). Сюда, однако, не входят сведения об арестах, произведенных в маленьких городках и деревнях. Несомненно, что оба списка не точны. Но безусловно, мопровский список ближе к истине.

Большая печать Китая, находящаяся под неослабной цензурой местных и центральных гражданских, военных и гоминдановских властей, не затрагивает этого позора сегодняшнего Китая, не касаются озер пролитой крови, не освещает гор искалеченных трупов. Опасная, скользкая тема, могущая по-

полнить гору трупов костями автора. Но иногда даже эта рабская подневольная печать робко заикается на тему о том, что «лучшая наша молодежь бесщадно истребляется», что, «конечно, закон и порядок должны быть поддержаны, спокойствие должно быть сохранено, но весьма угнетающе действует вид молодых людей, предаваемых казни».

И еще одну истину уяснила себе некоторая часть китайского общества: «Молодой Китай перешел на сторону красных три года после национальной революции. Это весьма печально, но — это факт. Молодой Китай жаждал, стремился к новому. Гоминдан ввел новое, весьма напоминавшее старое, ненавистное. Чиновничество клялось: «Мы являемся новыми людьми», но их манифесты и декларации стали монотонными и неуверительными. И молодой Китай, пожимая плечами, говорил: «Мы вам не верим». Да, молодой Китай глубоко возмущен положением вещей и жаждет перемены. Этого нельзя запугать или устранить пулями и тюремными камерами...»¹⁾.

Шанхай, октябрь 1930 г.

¹⁾ Из статьи видного гоминдановского журналиста Лин Ю-дана в «Чайна Критик».

1) «Ши-бао», «Шень-бао», «Синь Вень-бао», «Ши Ши Ши-бао», «Норт Чайна Дейли Ньюс» — Шанхай; «Сентрал Дейли Ньюс» — Нанкин; «Мин-бао» — Кайфын; «Коммерциэль Дейли Ньюс» — Чунсин; агентство «Го-минь»

Из прошлого

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СУДЕБНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗАЩИТНИКА

М. Мандельштам

Автору этой статьи приходилось наблюдать события и героев революции 1905 г. не только в самом революционном процессе, но и в том отражении, которое они давали в зеркале судебных процессов. Мы имеем в виду процессы саратовской и ростовской демонстраций и так называемой златоустовской бойни рабочих.

Саратовский процесс открывал собой новую страницу в истории борьбы самодержавия с революцией. Призванный по старой памяти для сокрушения революционной гидры министр внутренних дел Плеве нашел недостаточными те меры, которые обрушивало правительство на головы революционных деятелей в административном порядке с максимальной ссылкой на пять лет в отдаленнейшие места Сибири. Ему понадобилась каторга, пожизненная ссылка с лишением всех прав состояния, продолжительное тюремное заключение. Плеве решил передавать политические дела суду, не отказываясь, однако, и от мер административного воздействия в том случае, если для судебного процесса не было достаточного материала.

С одной стороны, и революционное движение к этому времени значительно усилилось. К 1902 г. в обществе и подполье чувствовалось уже заметное оживление. Уличные манифестации, всякого рода забастовки, столкновения рабочих с фабричной администрацией учащались. В мае 1891 года была организована первая русская маевка. Но правительство по этому поводу не возбудило судебного процесса. Иначе оно отнеслось к демонстрациям нижегородской и саратовской, последняя из которых имела место в мае 1902 года.

I

Я жил тогда в Казани и только собирался переехать в Москву. Получив предложение от саратовского адвоката С. Е. Кальмановича принять участие в процессе саратовской манифестации, я с радостью откликнулся на него. Меня

интересовал состав демонстрантов, степень их сознательности и напряженность революционной борьбы.

Социальный состав

Я должен был с грустью констатировать, что сравнительно с 1886 годом, когда мне пришлось участвовать в организации так называемой добродюбовской манифестации, вместе с А. И. Ульяновым, Лукашевичем и Шевыревым, основные кадры манифестантов изменились очень мало.

Здесь и там громадный процент манифестантов составляла интеллигенция, в частности учащаяся молодежь.

Я не мог решить, составляет ли это явление отличительную особенность Саратова или народные массы в России вообще еще недостаточно организованы и распропагандированы. Но не пройдет и года, как ростовская демонстрация даст исчерпывающий ответ на поставленный мною вопрос. Очевидно, народные массы предреволюционной России представляли собой вообще чрезвычайно пеструю, далеко не однородную картину. Пролетариат Саратова тогда не представлял собой внушительной силы. Руководящая роль в Саратовской губернии принадлежала, очевидно, мелкой буржуазии.

Но если с большим трудом можно было подметить разницу социального состава двух демонстраций, 1886 и 1902 годов, то легко бросалась в глаза разница их революционного настроения.

Во-первых, организовал саратовскую демонстрацию не студенческий кружок, а объединенные комитеты социал-демократов и социалистов-революционеров. Во главе организации стояли лица, несмотря на свою молодость, уже привлекавшиеся по политическим делам. На знаменах манифестантов красовались не только ярко революционные, но и чисто партийные лозунги: «пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «в борьбе обретешь ты право свое» и пр. Было даже черное знамя **анархи-**

стов. Были знамена, выражающие не только программные лозунги революционных партий, но и лозунги, объединяющие симпатии самых широких слоев населения. Среди последних самым популярным для того времени был лозунг: «долой самодержавие!» (произносившийся, правда, «эзоповским» языком).

По поводу знамени с надписью: «долой самодержавие» на процессе произошло интересная сцена, облетевшая потом Россию в качестве анекдота. А между тем анекдот имел место в действительной жизни и произошел на моих глазах.

С. Е. Кальманович допрашивает свидетеля демонстрации, черносотенца, до самой глубины своей патристической души оскорбленного «дерзостным неуважением к верховной власти». Свидетель показывает, что сам читал на знамени возмутительную революционную надпись.

— Какая же это надпись? — допрашивает защитник.

Свидетель молчит. Ему, видимо, больно и страшно повторить то, что он прочел. Но Кальманович неутомим и настаивает на своем вопросе. Приходится волей-неволей отвечать.

— Ну, известная русская поговорка...

И затем, на повторный вопрос неутомимого защитника:

— Известная русская поговорка: «долой самодержавие».

— Ну, положим, таковой русской поговорки нет, — к изумлению свидетеля говорит Кальманович.

Этот анекдотический факт показывает, что лозунг «долой самодержавие» уже в 1902 году занял в сознании русского народа место пословицы, наряду с «тише едешь, дальше будешь», «не в свои сапоги не садись» и другими популярными поговорками.

В. Г. Короленко при нашем свидании в Полтаве в 1908 году среди видимых успехов реакции сказал мне:

— Вы помните, как мы с вами еще в 1887 году спорили о близости революции и я вам доказывал, что революция дело отдаленного будущего? Ну, а теперь по настроению народа я вам говорю, что монархия не просуществует и пятнадцать лет.

Она не просуществовала и десяти!

Любопытно отметить, что саратовская демонстрация в зародыше уже носила в себе все те отличительные особенности, которыми сопровождалась впоследствии почти все демонстрации предреволюционного и революционного периода и прежде всего столкновение с черносотенными бандами, организованными полицией. Уже тогда правительство выработало известный трафарет своих сообщений о манифестациях, полиция — своих показаний, а прокуратура — обвинительных актов.

В начале демонстрации манифестирующая толпа была малочисленна, но по мере продвижения толпа росла. Полиция объясняет рост «любопытством». Но на коварные вопросы защитников должна была признать, что время от времени «любопытная толпа», вооружившись палками, протирала свою любознательность вплоть до желаний исследовать вопрос: что крепче — палки или головы полицейских?

Росла толпа манифестантов, но параллельно с пей росла и другая толпа, организованная администрацией из подопков общества, а отчасти и уголовного элемента. По словам свидетелей, эта вторая, черносотенная толпа преградила путь манифестантам. Началась свадка, во время которой были пущены в ход доски, камни, палки. По полицейской версии, полиция бросилась спасать революционеров от патриотов, но, неблагодарные, они стали бить своих защитников.

Та же самая версия впоследствии сделалась штампом для всех погромов, начиная с кишиневского, кончая погромной волной, прокатившейся по всей России после объявления «свобод» и «действительной неприкосновенности личности».

Самый судебный процесс представлял особый интерес, как первый после долгого перерыва. Было интересно наблюдать, как справятся судебные учреждения с возложенной на них непривычной задачей борьбы с революцией.

Прежде всего возникал вопрос, как отнестись к показаниям филеров и сыщиков. Защита утверждала, что сыщики являются обвинителями и что их показаниям нельзя придавать значения, поскольку они не подтверждаются другими обстоятельствами дела. Палата в этом первом процессе стыдливо обошла вопрос. Через несколько лет, по мере приспособления судебных учреждений к политическим задачам под умелой рукой Акимова, Щегловцова и Столыпина, самая постановка вопроса покажется наивной: провокаторы, агенты охранных отделений, шпионы сделаются самыми достоверными и излюбленными свидетелями в глазах суда. Если бы не они, то больше половины политических дел пришлось бы прекратить.

Но в первом же процессе палата выявила готовность насильствовать в угоду политике закон и право. Наши уголовные законы писались во время деспотического правления Николая I, раздавившего восстание декабристов. Страпа, изнемогая, лежала под пятой деспота в солдатских ботфортах. Никому не приходило в голову, что в царстве Сквозника - Дмухановского может произойти политическая демонстрация и что все эти Тяпкины-Ляп-

кины, Чичиковы, Плюшкины и Маниловы выйдут на улицу с революционными знаменами с целью «дерзостного порицания установленной формы правления». Поэтому и закона, карающего немислимо по тому времени преступление, создано не было.

Палата не смутилась, однако, такой безделицей, как отсутствие закона, и, следуя примеру сената по отношению к знаменитой демонстрации у Казанского собора, приговорила подсудимых к пожизненной ссылке на поселение с лишением всех прав состояния, т. е. прав семейственных, собственности и пр.

Подсудимые стойко выслушали приговор. Во все время процесса они держались как истые революционеры. На суде они продолжали, в сущности, ту же манифестацию, ради которой вышли на улицы Саратова. Многие из них шли впереди обвинения. Так, Фролов признал свою принадлежность к партии социал-демократов, хотя в этом он не обвинялся и никто не возбуждал подобного вопроса.

Судебным процессом заинтересовались по преимуществу интеллигентские сферы. Улица, народ по своему провиденциальному назначению «безмолвствовал». Но скоро, очень скоро он заговорит.

II

В ростовской демонстрации, имевшей место в 1903 году, т. е. через год, народ заговорил.

Едва осенью 1903 года я переехал из Казани в Москву, как получил телеграмму от Логачевой с просьбой принять участие в защите ростовской (на Дону) демонстрации.

Процесс, однако, должен был слушаться не в Ростове, а в Таганроге. Правительство, очевидно, боялось провести его в портовом и промышленном городе, где состоялась демонстрация. Это было повостью.

Делу придавалось, очевидно, особое значение, и потому оно было передано в военный суд на основании закона, узаконявшего произвол. Администрация имела право процесс изъять из ведения обычной юстиции и передать военному суду. Вопрос был только в ранге должностного лица, уполномоченного это делать. Так как во время демонстрации полицейскому приставу Антонову была нанесена смертельная рана, то военный суд мог приговорить одного или всех подсудимых к смертной казни. Здесь была зарыта собака. Надо было видом эшафота запугать революцию.

При первом же знакомстве с делом обнаружилась умелая организация демонстрации. Сборным пунктом была назначена окраина «Камышанка», где в этот день должны были происходить

кулачные бои. Таким образом, манифестанты до назначенного часа могли быть незамеченными полицией. Маневр удался в полной мере. В четыре часа из толпы выделилась группа. Были выкинута знамена с обычными в таких случаях надписями: требованием восьмичасового рабочего дня, «известной русской поговоркой» и другими лозунгами того времени. К манифестирующей группе во время шествия примыкали огромные толпы народа, и манифестация вышла чрезвычайно внушительной.

Правда, полиция и здесь создала свою версию, по которой народ протестовал, говоря: «Мы здесь собрались для гулянья, а не для бунта: отдать флаги полиции!» Но, очевидно, эти возгласы были только «в мечтах», жандармов, потому что за демонстрацией последовала огромная масса публики. Если бы десяти тысячная толпа была против «бунта», то, очевидно, она смяла бы незначительную группу. Вместо того из толпы в ответ на требование полиции раздался возглас: «Долой полицию!»

В тот же момент толпа демонстрантов подняла на руки какого-то еще совсем юного человека. Юноша этот сыгравший потом в демонстрации и в процессе превалпующую роль, человек, обладавший недюжинными способностями, был только-что вышедший из седьмого класса местной гимназии сын купца — Александр Браиловский.

В своей речи Браиловский прежде всего заявил, что он социал-демократ и обращается к толпе от имени социал-демократической партии.

Далее он охарактеризовал положение рабочего класса у нас и на Западе и призывал пролетариат к борьбе за улучшение своего положения и за свержение самодержавия, ставящего преграды этой борьбе.

Браиловский, несмотря на свою молодость (ему не было еще 20 лет), уже тогда был подающим громадные надежды оратором. Одаренный нервным, живым умом, сильным темпераментом, яркой, образной речью, Браиловский самой природой был предназначен к роли первоклассного трибуна. Его речь и на этот раз произвела на рабочую массу огромное впечатление, наэлектризовала ее. Его слушатели прижнулись к манифестации.

Между прочим, когда по адресу полиции раздался угрожающий возглас, Браиловский, стараясь успокоить манифестантов, сказал:

— Наша демонстрация мирная, а потому, пока вас полиция не трогает, держите себя спокойно.

Цель и смысл этой фразы ясны, как день: успокоение толпы. Мы увидим потом, как обвинение и суд умудрились

из этой фразы свить веревку для эшафота Браиловскому.

Толпа манифестантов теперь состояла уже не из учащейся молодежи и вообще не из интеллигенции, а главным образом из рабочих, и справиться с ней полиции было не так-то легко. На всякий случай многие рабочие были вооружены камнями, дубинами, поленями, даже железными ломами. Очевидно, манифестанты намерены были в случае чего постоять за себя.

Полиция чувствовала, что в случае нападения дело не кончится составлением резолюции протеста, и сочла за благо ступесть до прибытия военной силы в лице казаков. При появлении казаков был дан сигнал расходиться. Но полиция, обозленная за свое унижительное бегство, решила теперь, под защитой войск и при их помощи, перейти в наступление. Начались аресты и избиения. Манифестанты мужественно защищались всеми доступными им способами. Произошло формальное и форменное сражение. Рабочие применили остроумное орудие борьбы: под ноги лошадей они бросали проволочные круги, в которых те запутывались и падали вместе со своими седоками. С обеих сторон были раненные. На стороне полиции был, между прочим, ранен один пристав и один околоточный. Другой пристав (Антонов) бросился за флагоносцами, бывшими под охраной вооруженных рабочих. Кто-то из них нанес палкой удар в висок приставу Антонову, от которого тот умер.

Между демонстрациями саратовской и ростовской прошло меньше года, но, казалось, их разделяет целое столетие. Там, в Саратове, демонстрация состояла в большинстве из интеллигенции, часто выходцев привилегированных классов, здесь, в Ростове, — из представителей пролетариата. Обвинение, еще видящее главных виновников смуты в интеллигенции, старалось выловить все, что было интеллигентного в демонстрации, и все-таки скамья подсудимых в большинстве была заполнена выходцами из рабочего класса и крестьян.

Все подсудимые были преданы военному суду. Демонстрация, как таковая, влекла в качестве высшей меры каторгу, но она осложнялось нанесением смертельной раны приставу, а это уже эшафот! Лицо, нанесшее рану, осталось не обнаруженным — обстоятельство, мало смущающее обвинительную власть. Все подсудимые были преданы суду как соучастники убийства, т. е. как лица, действовавшие по предварительному между собой соглашению. Правительство перенесло процесс в Таганрог, но и это не могло его успокоить. Были приняты совершенно исключительные меры. По

улицам постоянно курсировали пешие и конные патрули; путь, по которому доставлялись обвиняемые в суд, охранялся войсками, помимо сильного эскорта.

Одним словом, на непосвященного путешественника тихий и сонный, глубоко провинциальный Таганрог должен был производить впечатление города, в котором революция или только что подавлена, или вот-вот готова вспыхнуть.

На этот раз правительство не ошибалось в настроении масс. В Саратове процессом интересовались кружки интеллигенции; в Таганроге — улица. Целые толпы народа ожидали кортежа подсудимых как около здания суда, так и около тюрьмы и на всем протяжении пути. Но не один рабочий Таганрог жил повышенной жизнью: в день слушания дела в Ростове была организована и дружно проведена забастовка протеста.

Придавая процессу исключительное значение, Плева требовал особенно сурового приговора. Ему нужны были смертные казни, «чтобы и другим неповадно было». Суды, в особенности военные, были тогда еще не приспособлены к политическим делам, и «правосудие» могло дать осечку, а знаменитому шефу жандармов надо было действовать наверняка. Плева прибегнул к очень плохому замаскированному подкупу председательствовавшего на процессе генерала Мордвинова.

Мордвинов собирался выходить в отставку и хлопотал об усиленной пенсии. Плева, как нас предупреждали, перед процессом вызвал Мордвинова и обещал ему усиленную пенсию, если он проведет процесс согласно видам и целям правительства. Торг был заключен, и Мордвинов поехал в Таганрог на заработок.

К неудовольствию Мордвинова на процесс съехалось со всех сторон России много талантливых и мужественных защитников. Но генерал храбро бросился в бой за свою пенсию. С самого открытия судебного заседания он начал усиленно стеснять защиту. Строго-настрого запрещалось задавать вопросы, избобляющие полицию, шпионов и жандармов в лжесвидетельстве. Их показания для председателя, зарабатывающего «детिशкам на молочихо», были евангелием.

Надо было во что бы то ни стало следствием подкрепить обвинительный акт. И с этой благородной целью Мордвинов делал все возможное и старался сделать невозможное. Лишнее говорить, что защите зажимался рот. А потому, собравшись вечером, мы решили, что дальше так продолжаться не может. Или мы уйдем, или председатель должен вести себя более лояльно.

На меня была возложена тяжелая обязанность объяснения с председателем.

На другой день рано утром я отправился к Мордвинову. Генерал встретил меня более чем лобезно, но во время наших объяснений я окончательно убедился в правильности полученных нами сведений. На мое заявление, что при продолжении вчерашнего способа ведения заседания перед защитой встанет вопрос об уходе, Мордвинов с несвойственной ему живостью ответил:

— Нет, нет, только не это, только не уход, не демонстрация!

Испуг, обнаруженный генералом, показал мне, что он подучил от Плева инструкцию вынести смертные приговоры, не компрометируя лояльности суда и не возбуждая общественного мнения. Поэтому председатель согласился со всеми нашими требованиями. Я собирался уходить, но тут Мордвинов просил меня опять сесть и обратился ко мне с «конфиденциальной просьбой».

— Видите ли, я человек миролюбивый. Мне от правительства ничего не надо, так как я выхожу на пенсию. («Ага»—подумал). Но мне было бы ужасно неприятно в последнем своем процессе принимать какие бы то ни было меры против защитников. Я успел уже ко всем вам примоститься. Я особенно боюсь Раппа, Карякина и Гонторева. Они, знаете, могут брякнуть в речи что-либо такое, что я буду вынужден принять против них самые крутые меры. А я всегда жил с адвокатурой в мире. Пожалуйста, переговорите с ними, чтобы они были сдержаннее.

Само собой разумеется, я ответил, что считаю ниже своего достоинства быть посредником в такого рода переговорах; а что если он имеет что-либо сообщить моим товарищам, то сам может это сделать.

Мы расстались «в холодке», но цель была достигнута, и в дальнейшем заседание велось во всяком случае не в таких нервных тонах. Нам легко было установить, что полиция не приняла никаких мер, потому что не рисковала действовать против огромной толпы «любопытных» рабочих.

Удалось нам установить и полную случайность арестов. В большинстве, в руках полиции остались не те, кто больше всего действовал, а те, кто меньше всего сопротивлялся. Достаточно сказать, что был арестован чуть ли не за произнесение возбуждающей речи... глухонемой.

Несмотря на это, было очевидно, что председатель вынесет смертные приговоры. Кому? Для него это было, очевидно, в высокой степени безразлично. Вся надежда наша была на вре-

менных членов,—надо сказать, надежда довольно слабая.

По мере того, как процесс развертывался, становилось все яснее, что охота ведется на Браилевского. Его голова должна была скатиться за пенсию председателя. Можно было прибавить еще несколько,—чьих, совершенно безразлично,—и приговор будет готов. Но Браилевский... во-первых, он еврей, во-вторых, интеллигент... Остальные, по тогдашнему правительственному трафарету, были «братцы рабочие», сбитые с толку «подстрекателями» и «агитаторами».

Итак, голова Браилевского... Но как это сделать? Ведь все свидетели, даже жандармы, даже шпионы, в один голос утверждали, что в насилиях он не принимал участия. Напротив, он старался успокоить толпу. Как же можно было сконструировать обвинение? Вот тут-то и сыграла свою роль фраза, которую, как помнит читатель, между прочим произнес Браилевский: «Пока полиция вас не трогает, не прибегайте к насилию».

«Пока не трогает», ну а если тронет.— тогда, значит надо сопротивляться! И прокурор, а за ним председатель. путем такого бессовестного софизма фразе, сказанную с очевидной целью успокоить толпу, истолковали как подстрекательство к вооруженному сопротивлению и убийству! Где? Кто? — неизвестно. Ничего неправосуднее, ничего подлее такого толкования придумать было нельзя.

Приговор

Суд удалился на совещание. Трудно представить себе, как велико было нервное напряжение не только залы суда, переполненной, несмотря на закрытые двери, но и улицы. Тогда не было громкоговорителей, но все сказанное в суде резонировало в тысячах сердец. В особенности сильное впечатление произвели две речи, сказанные на суде рабочими обвиняемыми — Колосковым и Куксиным.

Прошло три, четыре... пять часов, а приговора все еще нет.

Наконец, выходит суд. Председатель — красный, как рак. Временные члены не смотрят нам в глаза... Дурной знак... Компромисс... К смертной казни приговорены за убийство три лица, не имевшие к этому убийству никакого отношения: Браилевский, рабочий Куксин и казак-рабочий Колосков, державшие себя на суде с неподражаемым достоинством и мужеством. Остальные приговорены к ссылке на поселение, на каторгу, к тюрьме и ротам на разные сроки.

Вместе с тем суд постановил ходатайствовать перед атаманом о замене виселицы для всех трех осужденных

каторжными работами. В то время ходатайства судов о помиловании еще уважались. Таким образом, можно было считать жизнь Браиловского и других спасенной. Казни не будет. У всех отлегло от сердца.

Мы впоследствии узнали, что в совещательной комнате происходил свирепый спор между председателем и временными членами, ни за что не соглашавшимися на смертный приговор. Тогда был выработан компромисс, по которому Мордвинов получал пенсию, а подсудимые — жизнь: смертный приговор, сопровождаемый ходатайством о помиловании.

Браиловский был отправлен на каторгу, откуда ему удалось бежать. В 1905 г. он опять объявился на митинге, но вскоре погиб. Впрочем, все это я знаю только по слухам.

Процесс кончен, но еще долго не могло улечься то приподнятое настроение рабочих масс, которое было им вызвано. Волновался Таганрог, но главным образом был возбужден Ростов. Волновались рабочие, и здесь я впервые мог оценить революционную стойкость рабочего класса и высоко развитое у него чувство солидарности.

Делегаты рабочих Ростова обратились к нам, защитникам, с просьбой возвращаться домой не через Харьков, а через Ростов. В то же время жандармы уже без всякой делегации обратились к нам с предложением («честно просили») ехать именно через Харьков. Понятно, что мы не могли отказать от принятия демонстрации сочувствия, относя ее не лично к себе, а к сидящим в тюрьме обвиняемым.

В Ростове мы ожидали встретить демонстрацию, но к изумлению вокзал был пустынен и мертв. В крайнем изумлении мы поехали в город, но лишь завернули за угол, как узнали, в чем дело. Вокзал был оцеплен полицией. Но с рабочими было не так-то легко справиться. Немного дальше рассеянные толпы рабочих окружили нас и выразили от имени ростовских фабрик и заводов свое сочувствие.

Через некоторое время я и другие защитники получили адрес от обвиняемых, ярко рисующий их боевое настроение. «Дорогие друзья!.. На наших глазах тысячи рабов труда, охваченные общей жадной освобождения, по всему югу России расправили свои утомленные плечи и потребовали лучшей доли. Нам всем памятна громадная стачка рабочих ноября прошлого года — это первое в России грозное и мирное выступление двадцатитысячного освободительного отряда русской рабочей армии. Но грубая сила не могла вырвать искры надежды на лучшую долю и сознания своей правоты, и в марте этого года вспыхнула в Ростове грандиозная рабочая демонстрация».

Адрес заканчивается обращением к нам, защитникам, как к «бескорыстным и отважным участникам формирования лучшего будущего для многомиллионной рабочей массы».

Из адреса очевидна главная цель и характер ростовской демонстрации. Это — демонстрация чисто рабочая. Под адресом в числе других были подписи Браиловского, Куксина и Колосова, над которыми еще тяготел смертный приговор. Возможный эшафот не мог охладить их революционного жара.

Браиловский был юноша редкого горения. Уже обреченный на вечную каторгу, казалось, вычеркнутый из списков живущих, он продолжает жить идейной жизнью воли и ее треволений. Вот выдержки из его письма, полученного мной:

«Слушайте, если кто-либо из тюрьмы, да еще с перспективой постоянной тюрьмы скажет вам, что чувствует себя хорошо, не верьте ему. Это вольная или невольная рисовка, это минутное возбуждение.»

Но тюрьма не мешает ему с интересом следить за идейными течениями вне стен тюрьмы.

То было время, когда разочаровавшиеся в марксизме старые вожди легального марксизма: Струве, Бердяев, Булгаков и др. выступили со своим полемическим сборником «Вехи», надевшим много шума. Я считал нужным бороться с воскресавшим из пепла идеализмом и прочел ряд докладов, в которых отстаивал идеи экономического материализма и марксизма. Браиловский прочел в газетах изложение моего доклада и пишет мне:

«Напишите мне хоть в общих чертах, что вы говорили? Меня очень интересует, как относятся к этому течению вообще, и что вы говорили в частности. Наука рвется вперед. Метафизика, как только откроет рот, кричит — назад, назад к Канту и, стало быть, к Христу, и охотно была бы готова вернуться к Моисею и Адаму (далее некуда)».

Подведем итоги. Таганрогский процесс и ростовская демонстрация даже такого исключительного скептика, как я, взрослого на безмолвии восьмидесяти годов, убедили в том, что революционное настроение уже переросло тесные кружки интеллигенции, что оно стало достоянием масс, в частности рабочих масс.

Наконец, еще один вывод. Пропаганда среди рабочих идей социал-демократии шла довольно долго. Но распространяемый рабочий класс уже не уступит революционного знамени. Большая товарищеская солидарность; действие сомкнутым строем; отсутствие стремления к выявлению своей индивидуальности в ущерб общей стройности движения; настойчивость и

решительность — таковы отличительные свойства революционной психологии рабочего класса, которые сказались уже в ростовской манифестации.

III

Как рабочий класс реагирует на расстрелы своих товарищей, лучше всего видно на примере так называемой златоустовской бойни, учиненной губернатором Богдановичем. В 1903 году между златоустовскими рабочими и заводской администрацией вышли разногласия из-за расчетных книжек. Разногласия закончились так, как в царское время всегда заканчивались разногласия капитала с трудом. «Вожаки» и «защитники» были арестованы жандармским ротмистром в порядке охраны. Тогда рабочие из вполне понятного чувства солидарности целой толпой стали хлопотать у исправника, у прокурора и жандармов об освобождении арестованных. Местные власти, вместо того, чтобы или освободить рабочих, или дать отрицательный ответ, начали хитрить, лгать с целью выиграть время. Рабочим сказали, что арестованных уже отправили в Уфу. Обман быстро обнаружился, и его раскрытие не могло содействовать успокоению рабочей массы. Но, несмотря на это, рабочие, среди которых почти не было революционеров, вели себя очень миролюбиво.

В таком положении застал дело приехавший из Уфы «хозяин губернии» Богданович. Богданович не был злым человеком. Он не был и боевым реакционером. «Это не изверг», а... обыкновенный бюрократ, дорожащий больше всего своим положением и своей карьерой. Безвольный и трусливый, он обычно был игрушкой в руках своих подчиненных. А само собой разумеется, местные власти сделали все возможное, чтобы напугать губернатора, раздуть историю, превратить ее в бунт и тем оправдать свои агрессивные действия. Ему рассказали, будто рабочие три дня держат в осаде исправника и прокурора и что только благодаря чуду и ловкости последних их еще до сих пор не растерзали.

Между тем рабочие узнали о приезде губернатора и, обрадованные, отправились к нему искать защиты и справедливости. Покорно они встали у крыльца, терпеливо дожидаясь, пока «его превосходительство» соизволит выйти. Естественно, что во время ожидания толпа росла и, наконец, запрудила всю площадь. Это ожидание перетрусившему губернатору показалось правильной осадой. Его не смущает даже, тот яркий факт, что в течение четырех дней «бунта» и нападений на должностных лиц рабочие не причинили им ни малейшего вреда. Богда-

нович верит на слово в бросаемые камни, в раны, якобы нанесенные толпой исправнику. Вызываются войска. Рабочие не придали этому никакого значения. Никому в голову не приходило, что в людей, пришедших к высшему представителю власти в губернии со своими просьбами, ни с того, ни с сего будут стрелять. Богданович вышел к толпе и предложил разойтись.

Толпа ответила все той же просьбой об освобождении арестованных делегатов. Тогда губернатор ушел с балкона и отдал приказ действовать оружием. Во время процесса не удалось установить, были ли даны требуемые законом три боевых сигнала. Во всяком случае, все произошло так неожиданно и так быстро, что если даже сигналы и были даны, то многие не успели осознать их значение, а большинство, как было вполне установлено на суде, просто-напросто их не слышало. И немедленно залп... другой... третий... Залпы следовали друг за другом без перерыва. Стреляли по раненым, пули догоняли бегущих. То не была стрельба с целью рассеять толпу. То был расстрел в упор.

Рапортующий о блестящей победе русского оружия, Богданович проявил не обыкновенную и, как потом оказалось, совершенно излишнюю скромность. В Петербурге «читали с удовольствием» о его геройских подвигах. Вот цифры: «убитых... 23, тяжело раненых... 41, умерло от ран... 17, легко раненых... 19, незначительно раненых... 23. А всего... 128». Прибавьте к этому, что тяжело раненые продолжали умерать от ран, что легко раненых товарищей скрывали из опасения за дальнейшие репрессии по отношению к ним, и вы поймете размер бойни.

Местные власти никак не хотели понять настроения правящих кругов Петербурга и зачем-то старались оправдаться в количестве жертв. виноваты были «близость расстояния и усовершенствованный характер ружей».

Плеве, повидимому, был доволен тем, что администрация поддержала «престиж власти». По крайней мере, прокурор на суде не постеснялся публично выразить благодарность губернатору Богдановичу за то, что он «спас власть и ее авторитет». Богданович смещен не был. Но его ожидала иная кара. Гуляя по саду, он был буквально расстрелян двумя социалистами-революционерами, выпустившими в него под ряд несколько зарядов. Организация «казни» была произведена Гершуни.

Чтобы проявить твердость власти, Плеве назначил на место Богдановича боевого реакционера Соколовского. Надо было ликвидировать процесс в

глазах русского и европейского общественного мнения. Тогда ведь еще не было ни 9 января, ни обогранных кровью рабочих улиц Петербурга, ни Лены...

Новый губернатор Соколовский, человек грубый, недалекий и деспотический, ознаменовал свой приезд в губернию целым рядом репрессий. Аресты и высылки последовали не в целях пресечения, а в целях предупреждения. Предстоял процесс... администрации, убившей и изувечившей около полтораста рабочих,—подумает молодой читатель, не знакомый с порядками прошлого. Нет,—недобитых рабочих. Тогда император Николай Второй не проявлял еще такого великодушия, какое он проявил после убийства рабочих 9 января, где рекрутированным и согнанным к нему делегатам он нагло и великодушно заявил, что он... «прощает» рабочих!

В Златоусте он не был ни так великодушен, ни так нагл. Рабочие не были им прощены. Судебный процесс должен был состояться. Администрация в этом процессе была стороной и делала все, чтобы выйти из суда стороной оправданой. Губернатор, жандармское управление, полиция—все сильно нервничали. В Петербург донесли донесения, на местах принимались меры.

«Горному начальнику и управляющему Златоустовским округом грозит участь губернатора Богдановича,—пишет Соколовский.— Предлагаю немедленно принять меры». Это по отношению к революционерам. Но одновременно надо принять меры и по отношению к рабочим. Опять летит донос: «Златоустовские рабочие в день 8 октября, т. е. слушания дела, предлагают не выйти на работу в виде демонстрации. Предлагаю невышедших на работы уволить». Но в Петербурге понимали, что рабочие нужны, а потому решили прибегнуть к испытанному средству: «арестовать главарей».

Но, как это ни странно, особенную нервозность администрация проявляет по поводу защитников. По охранному отделению составляется записка, что «защитниками подсудимых явятся много присяжных поверенных из столиц», а из местных должных были защищать Синицын и Плаксин, «но по ходатайству губернатора они были арестованы и высланы».

Само собой понятно, мы не могли обойти этого возмутительного акта произвола. Наш товарищ, Спасский, отправился к губернатору и, по словам того же доноса, «в очень определенной форме заявил ему, что в аресте Синицына и Плаксина он усматривает насилие над защитой». Мы же, со своей стороны, заявили в Палате хода-

тайство об отложении дела и о недопущении губернатора Соколовского в зал судебного заседания.

У председателя судебной палаты, самодура Рынкевича, к этому времени вышла ссора с таким же самодуром губернатором, и оба наши ходатайства, одно официально, другое неофициальным письмом к Соколовскому, были удовлетворены.

Можно себе представить гнев губернатора и его присных. Донос летит уже не на таких ничтожных сошек, как защитники, а на... старшего председателя судебной палаты Рынкевича. Надо сказать, что с нашим приездом совпало убийство поднадзорным пом. прис. пов. Покровским председателя суда Песляка, убийство, не имевшее революционного характера. А между тем донос сообщает, что Рынкевич удовлетворил ходатайство защиты об отложении дела «из опасения за свою жизнь» после убийства Песляка. Донос прибавляет, что Рынкевич написал губернатору очень резкое письмо, прося не появляться в зале судебного заседания. Тогда мы, конечно, не знали обо всей этой переписке и борьбе, и я не мало был удивлен, когда после моей речи с резкой критикой действий администрации Рынкевич меня благодарил за речь.

Во всяком случае дело было отложено. Когда оно вновь было назначено к слушанию, атмосфера сгустилась еще более. Соколовский, по предписанию выше, уже был допущен в заседание. На следствии полиция и жандармы делали все, чтобы представить толпу рабочих как угрожающую жизни и неприкосновенности. Но факт оставался фактом, а факт—вещь упрямая. Три дня, в которые, по словам обвинения, рабочие производили нападения, не было произведено ими никакого насилия. Это дало повод мне при дружном смехе утверждать, «что полиция и жандармы хотят перед нами разыграть оперу «Вампуку», в которой все участвующие лица только и делают, что поют: «поскорей поспешим, поспешим поскорее, поскорей поспешим», а сами ни с места!»

Вообще, власти не гнушались никакими мерами, чтобы оправдать расстрел рабочих. Судебная кухня на этот раз носила прямо трагический характер. Так, один из обвиняемых рассказал, что его вызвал к себе присутствовавший на суде жандармский ротмистр Будаловский и предлагал ему, по поручению охранного отделения, разбросать прокламации. Если же обвиняемый откажется сыграть роль провокатора, то грозил в присутствии жандармского унтер-офицера запутать его в дело, каковую угрозу и привел в исполнение. В говоря уже о том, что трудно было допустить, чтобы так

можно было лгать не на мертвого, а на живого и притом присутствующего в зале ротмистра, допрошенный унтер дал такое уклончивое показание, что никто не усомнился в правдивости рассказа.

Но еще более сильное впечатление произвел допрос доктора Кунакова, вызванного в качестве эксперта. Эксперт должен был определить происхождение тех ран на теле у исправника и жандармского ротмистра, которые, по словам последних, были им нанесены бунтовщиками. Врач-эксперт категорически утверждал, что царапины являются ничтожными и могли произойти от простого ушиба. Попытки обвинения уличить эксперта в противоречии с его собственными объяснениями на предварительном следствии повели еще к большему судебному скандалу. Врач рассказал, что следователь вынудил у него заключение, будто ссадины могли произойти и от револьверных выстрелов. Скандал получился грандиозный!

Палата, в сущности, оправдала подсудимых, потому что главного обвиняемого она приговорила к трем месяцам тюрьмы. Четырех подсудимых — к еще более мягкому наказанию, остальных же оправдала.

Излишне говорить, что такой приговор был пощечиной администрации. Убить и изувечить чуть не полтора человека по делу, по которому вина вожака квалифицировалась компетентным судом чуть ли не как «нарушение тишины и спокойствия»! Приговор палаты показал, что рабочие были расстреляны без всякой причины и что залп по толпе был простым убийством со стороны трусливого и ничтожного человека.

Опять полетели доносы в Петербург. Особой рьяностью в деле как во время судебного следствия, так и в своих защитительных речах выделялись: Барт, Карякин, Мандельштам и Федосьев, которые несколько раз подымали вопрос о неправильном аресте рабочих».

Златоустовский расстрел, наравне с событиями 9 января и ленским расстрелом, никогда не излагается из памяти рабочих. То был посев, обещающий богатую почву. Связанные с землей рабочие Златоуста были настроены до бойни далеко не революционно. Их нельзя было даже сравнить с рабочими юга России, революционность которых мы могли наблюдать на таганрогском процессе. Конечно, многие и здесь относились к царю и его правительству очень критически, и в этом отношении на суде промелькнул крайне характерный эпизод.

Свидетель «патриот» был в гостях у одного из рабочих-обвиняемых. Перед собеседниками на столе лежал крестовый календарь с портретом Николая второго посередине и министров Витте и Ермолова по бокам. Обвиняемый, указывая на портреты, сказал свидетелю: «По одной стороне сидит жулик, по другой — другой, а в середине — и рабочий с силой стукнул по портрету государя — сидит дурак и не видит, как у него под носом воют».

Но, во-первых, такая обывательская критика еще не создавала революционного настроения, а во-вторых, даже ею были заражены далеко не все рабочие Златоуста. Только после кровавых событий златоустовской бойни уральские рабочие стали поддаваться революционной пропаганде. Мне приходилось потом читать в нелегальных изданиях социал-демократической партии, что именно после златоустовских событий партии удалось развернуть свою работу на Урале. Только после того, как губернатор Богданович «поддержал престиж власти», рабочие Златоуста и вообще Урала стали массами вступать в ряды социал-демократии.

Во время революции 1905 года и после ее подавления златоустовские рабочие вместе со всеми рабочими Урала примкнули в своей массе к большевикам. И первая революция дала им идейную организацию, революционный опыт и боевой закал.

Литература и искусство

1. Н. ПИКСАНОВ. Советский писатель. — 2. Ю. ДАНИЛИН. — Правнук Фигаро. — 3. А. РАШКОВСКАЯ. Саморазоблачение буржуа.

1. СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Несколько черт к социальной характеристике

Н. Пиксанов

1

О современной советской литературе много говорят, пишут, спорят. Но изучают ее мало.

Мало изучают и ее носителя—живого советского писателя.

Я произвел маленькое обследование и хочу поделиться с читателем результатами.

Я взял сборник, составленный В. Г. Лидиным: «Писатели. Автобиографии современников» (второе издание, 1928). В. Лидин опубликовал ценнейший материал, который навсегда останется в научном обиходе. Но этот материал мало известен широкой публике, а изучению совсем еще не подвергался¹⁾.

Между тем в названном сборнике автобиографий таятся данные, могущие достаточно ярко осветить современную литературу и литераторов.

Сборник В. Лидина, конечно, не охватывает всех наших писателей, работающих в современной печати. Составитель предупреждает, что дает только автобиографии современных русских прозаиков. Стало быть в сборник не входят поэты-стихотворцы. Не входят и литературные критики, фельетонисты, очеркисты и другие представители литературы. Притом сборник вышел в 1928 году, и в нем нет еще молодых беллетристов, выдвинувшихся в последние два-три года. Им В. Лидин собирался посвятить второй том сборника, который пока не вышел.

Но и первый том необычайно содержателен. В нем напечатано девяносто четыре автобиографии, и среди них есть принадлежащие крупнейшим нашим здравствующим прозаикам: Горькому, Бабелю, Белому, Вересаеву, Гладкову, В. Иванову, Л. Леонову, Серафимовичу, также — покойному Фурманову и многим другим.

¹⁾ Впрочем, на основании этого материала мною написана статья: «Литературное наследство М. Горького». См. сборник: «М. Горький в Нижнем Новгороде». Н. Новгород. 1928.

К этим 94 автобиографиям я прибавил по другим источникам данные о пропущенных у Лидина: Либединском, Шолохове, Панферове, Дорогойченко, П. Бессальго, Петре Иванове и получил круглую цифру: с т. о. С ней удобно оперировать в разных подсчетах, и вместе с тем сто писательских биографий — это такой огромный материал, что из него уже можно извлечь бесспорные выводы не только о прозаиках, т.-е. беллетристах и драматургах, но и о всей современной советской литературе, поскольку необходимо допустить повторяемость явлений в однорядных рядах¹⁾

2

Всего труднее, пожалуй, было определить социальное происхождение писателей.

¹⁾ Необходимо оговориться: автобиографии — материал, требующий критической проверки; в них много субъективного, иногда — и тенденциозного, не говоря уже об ошибках памяти. Я проверял показания автобиографий сборника В. Лидина другими данными. Биографические сведения о современных писателях (и беллетристах в том числе) имеются в изданиях: «Пролетарские писатели». Сост. С. Родов. Гиз. 1925. «Книга для чтения по истории новейшей русской литературы». Сост. В. Львов-Рогачевский. Ч. I и II. Изд. «Прибой». Л. 1926. — «Писатели современной эпохи. Био-библиографический словарь». Под ред. Б. П. Козьмина. Т. I Изд. ГАХН. М. 1928. — Е. Ф. Никитина. «Русская литература от символизма до наших дней». М. 1926 — И. В. Владиславлев. «Литература великого десятилетия». Т. I. Гиз. 1928 (здесь, кроме биографических справок, имеются в вводном очерке многие статистические подсчеты). От некоторых писателей имеем по две, даже по три разновременных автобиографий (Горький, Вс. Иванов, Тарасов-Родионов, Иван Вольнов и др.). Некоторые писатели, кроме кратких автобиографий, опубликовали обширные воспоминания (Горький, Вересаев, Ив. Вольнов, С. Подъячев, Г. Чулков, Андрей Белый и др.). О многих из беллетристов имеются в печати воспоминания современников и другие данные. Я пользовался всеми такими материалами для контроля автобиографий сборника В. Лидина; иногда я вводил в изложение почерпнутые отсюда данные. Я избегал цитировать автобиографии там, где показания писателей казались мне сомнительными.

В автобиографиях нередко случайные или умышленные замалчивания этого вопроса. «Родился в г. Бежецке, Тверской губ., 21 сентября старого стиля 1873 г.», пишет о себе Вячеслав Шишков, но кто были родители — не говорит. «От роду мне 38 лет» — сообщает Петр Ширяев, но умалчивает о социальном положении родителей. Об отце В. Лидина читателю предоставляется угадывать по фразе: «в экспортной конторе проводил дни с отцом». И таких умолчаний очень много, до десяти процентов всех биографий.

Но и в тех случаях, когда писатель откровеннее, не всегда легко определить его социальную принадлежность. Ф. Гладков пишет: «Родился в 1883 г. в большой семье бедняка-крестьянина». Но тут же оказывается, что через восемь лет, отрываясь от деревни, вся семья уходит на работу на волжских и каспийских ватагах. Через два года — опять в деревню, на два года. А потом — «отец окончательно переходит в ряды городского пролетариата». Отец Всеволода Ивановна «воспитывался в приюте, оттуда бежал и стал прискоковым рабочим», но позднее — «самоучкой сдал на сельского учителя». У П. Дорохова «родители из простой, среднего достатка крестьянской семьи». Однако, «отец, взятый на военную службу, вернулся оттуда ротным фельдшером» и потом служил в городах. Отец Анны Караваевой «происходил из богатого когда-то купеческого рода Шубинных». Но, пишет Караваева, «к юности моего отца Шубины уже разорились, и только некоторые боковые отрасли сохранили свое благополучие. Поэтому среди обширной со стороны отца родни люди были чрезвычайно разнообразны: был солидный буржуа-домовладелец, рантье, были служащие, мелкие незадачливые чиновники, некоторые совершенно деклассировались и работали на Мотовилихинском заводе, трое работали в кузнице, один был монтером, двое пошли по артистической части и несколько, самых старых, зажившихся на свете, проводили дни свои в мещанской богадельне. Тетки мои жили прислугами, приходили вечно озлобленные на своих господ. А бабушка моя, когда-то купчиха, что и в рыбный-то рассол залезала рукой полной колец «по самые суставчики», — бабушка доживала дни свои во флигельке, похожем на баню, и ходила стряпать на богатых свадьбы и похороны». К. Федин пишет: «Мой отец происходит из крестьян» (неясно: остался ли в крестьянстве?), но «мать — дворянка». Отец Андрея Белого по происхождению — дворянин, но по роду занятий — профессор, а мать — купеческого происхождения.

Во всех таких и подобных случаях теряется точность социального приуроче-

ния. Иное дело, когда речь идет о крестьянском происхождении Дорогойченко, о рабочем — Артема Веселого, дворянском — А. Н. Толстого, буржуазном — Юрия Слезкина.

И все же, за всеми оговорками, учет социального происхождения современных беллетристов ведет к определенному выводу: их состав необычайно демократичен.

Замечательно, что среди ста беллетристов не оказалось ни одного выходца из среды духовенства (разумею прямое происхождение; боковые родственные связи иногда — изредка — мелькают). Этим состав современных писателей резко отличается от других эпох, напр., от шестидесятых, семидесятых годов.

Невелик процент писателей дворянского происхождения. С большой натяжкой можно насчитать в этой группе десять человек (стало быть 10 процентов).

Несколько больше писателей буржуазного происхождения. Включая сюда и крупную буржуазную интеллигенцию, можно насчитать здесь до 16 человек (т.е. 16 проц.).

Гораздо многочисленнее группа интеллигентов-разночинцев — их до 25 процентов всего состава.

Самая же обширная группа — рабоче-крестьянская: свыше 30 процентов. Соединяю вместе рабочих и крестьян в силу указанного выше обстоятельства: легкого перехода из крестьян в рабочие (иногда и обратно). Но если уточнять социальную дифференциацию, то следует, пожалуй, признать, что среди писателей-прозаиков в этой группе крестьян по происхождению несколько больше, чем рабочих.

Соединяя дворян и буржуазию в одну группу, получим всего около 26 проц., остальные писатели образуют обширную демократическую группу. Напомню, что в сборник Лидина не входят младшие современники-беллетристы. Они дали бы еще больший процент в сторону рабочих и крестьян: ведь и по первому сборнику Лидина видно, что молодые писатели более демократичны по своему социальному происхождению.

По сборнику явно, как совершается социальная смена. Замечательно, что многие писатели среди своих ближайших предков имеют крепостных крестьян. «И дедушка Гаврил Федорович, и бабушка Анна Трофимовна испытали на себе всю тяжесть крепостного строя, были не раз пороты за строптивость» — пишет М. Карпов. Дед И. С. Соколова-Микитова был крепостным. У К. Тренева и отец был крепостным. Яковлев же пишет: «все мои родственники со стороны отца — крестьяне, бывшие крепостные графа Орлова-Давыдова».

Для исторически молодого и подвижного русского общества характерно, что даже писатели из купеческой и даже из дворянской среды нередко насчитывают среди предков и родственников крепостных. Мать Константина Федина дворянка, но дед — крепостной господ Боборыкиных, Пензенской губернии. У Н. Никитина бабка по матери была питерская купчиха, а бабка по отцу «любила говорить о барине и о «крепости», сама была крепостная».

3

Особенности социального происхождения обусловили и две ярких черты быта и культуры: борьбу за знание и трудовой закал.

Экономия места, я не могу здесь вдаваться в подробности об учебе и образовательном цензе писателей. Возьму только несколько характеристических черт.

Для писателей барского или крупнобуржуазного происхождения была, без усилий с их стороны, предоставлена вся роскошь образования и культуры — с гувернерами, иностранными языками, средним образованием в лучших школах, с образованием высшим, с посещением лучших театров, концертов, выставок, с постоянным общением в кругах высшей интеллигенции и в художественной среде, с поездками за границу, с чтением произведений мировой литературы в подлинниках и т. д. Так Андрей Белый, сын крупного московского профессора, кончил известную гимназию Льва Поливанова, прошел естественное отделение физико-математического факультета московского университета, потом учился еще на филологическом факультете. У него «вкус к музыке стал складываться под впечатлением произведений (особенно ноктюрнов) Шопена и сонат Бетховена еще в раннем детстве», — под влиянием матери-пианистки. Еще в ранней юности в своем кругу Белый встречается с Владимиром Соловьевым, Валерием Брюсовым, Зинаидой Гиппиус, Мерезковским. В лаконической автобиографии Бориса Пастернака читаем: «Многим, если не всем, я обязан отцу, академику Леониду Осиповичу Пастернаку, и матери, превосходной пианистке. Образование получил в московской 5-й классической гимназии и на историко-филологическом факультете московского университета, каковой и окончил по философскому отделению в 1913 году. К литературе пришел поздно, все школьные годы отдав музыке и прошедши в ней полный курс композиции». Юрий Слезкин сообщает: «Семи лет уехал с матерью во Францию, где прожил два года. Связь с этой страной не порывал и впоследствии. Первый букварь, по которому я учился читать, был французский, первая книга, которая

меня потрясла в детстве, — «Дон-Кихот во французском переводе. Впоследствии Бальзак, Мериме, Флобер и Мопассан стали моими литературными учителями». В. Лидин кончил Лазаревский институт восточных языков и потом московский университет, «никогда не интересовавшийся», — пренебрежительно добавляет Лидин.

Но в таком привилегированном положении находилось меньшинство. Огромному большинству образованию доставалось дорогой ценой. Федор Гладков так описывает свою жизнь с 12-летнего возраста: «Иду по чужим людям. Здесь испытываю всю горечь ребенка, попавшего в лапы хозяина; побои, бессонные ночи, голод, спянье в грязном углу, куда ходили «на двор» по ночам; выносил горшки, исполнял всю черную работу и т. п., что полагается в этой роли. Приходила мать, плакала, плакал и я, умолял взять с собой. Тяжел, думая о смерти. Не выдержал — бежал, чтобы снова попасть в ту же кабалу. Жил одной мыслью — учиться. Уже тогда много читал: знал уже всех классиков и неотрывно сидел над Лермонтовым, Некрасовым, Достоевским. Впервые начал вести дневник, писать воспоминания и стихи. Толкнулся в гимназию — не приняли: беден. С трудом «определился» бесплатно в городское училище». Сергей Малашкин не прошел никакой начальной школы. Грамоте его обучил отец. Дальше в автобиографии читаем: «В этом раннем детстве я много читал религиозной лубочной литературы: жития святых (отец не разрешал читать сказки и «светские» книги — по рол). На восьмом году жизни я познакомился с произведениями Гоголя, Пушкина, Лермонтова. Произведения Гоголя оставили во мне глубокий след, так что очень часто в детстве снились черти, ведьмы и всякая нечисть...» От Павла Низового узнаем: «Работал крепко, вплотную с 12 до 25-летнего возраста. Был маляром, стекольщиком, кровельщиком, живописцем, фотографом, делал мыло и краски. В промежутках глотал книжки. Первая пленившая меня книга была «Космография», — купил старую, без начала, и название ее узнал только несколько лет спустя. Из изящной словесности были: «Бова Королевич», «Ерусалан Лазаревич», «Как солдат спас Петра Великого» и т. п. И только около 17—19 лет — стихи Кольцова, Никитина и Некрасова. Умственное развитие шло убийственно медленно. Рабочая среда (строительные рабочие), в которой я проводил дни и ночи, совершенно не интересовалась книгой и наполювину была неграмотной. Исключением был только один рабочий-маляр, бывший ротный фельдшер; он говорил мне что-то о звездах и стихах. Работая с ним в одной паре —

подмастерье и ученик — и получая на обед по 10 коп. (5 коп. чай в трактире и 5 коп. фунт ситного), мы хитрились экономить из этой суммы на газету или на какую-либо книжку-листочку. Вместе читали и обсуждали. Потом, когда денег стало несколько больше, я начал покупать на «толкучке» более серьезные книги». Сын крепостного крестьянина, Константин Тренев учился в церковно-приходской школе. «Этим было и закончилось мое образование, но помогли счастливые обстоятельства». Какие же? — Открылось уездное училище: туда он случайно и попал.

Я бы долго мог продолжать подобные выписки. Но, думаю, довольно и вышеприведенных. С величайшими усилиями, среди нищеты и темноты, завоевывали многие современные писатели свое начальное образование, нередко — только самообразование. Зато, когда открывалась счастливая возможность, будущий писатель начинал с ненасытной жадностью поглощать знания. Тот же Тренев пишет: «Потом я учился очень долго. Кончил три высших школы». Низовой к сказанному выше добавляет: «В течение более десяти лет наполнял свою голову чем придется, поспешно, сумбурно, не подозревая, что это можно делать по определенной системе. Узнал об этом только тогда, когда стал ходить на Пречистенские курсы. Одновременно с этим я слушал лекции в о-ве Народных университетов, позднее — в университете Шанявского: по литературе, по истории искусств, по астрономии, римское право. Кроме того, принялся за французский и немецкий языки». Малашкин, которого в детстве отец порол за чтение светских книг, в зрелые годы «собрал редкостную библиотеку» — в пять тысяч томов.

Для художников слова, поднимающихся к вершинам культуры из низов, необычайно характерна одна черта: овладение мировой поэзией через преодоление церковной и лубочной литературы. Кое-что мы уже знаем от Низового, Малашкина. Вот еще несколько показаний. Павел Дорохов пишет: «Первыми книгами, которые я прочел, были: Часослов, Псалтырь, жития киево-печерских святых, рассказ о том, как солдат спас жизнь Петра Великого, о принце Гуаке и еще какие-то, названия которых теперь уже не помню». Сын рабочего-обойщика, Георгий Никифоров сообщает: «Грамоту уразумел случайно в раннем детстве и, предоставленный самому себе, читал без разбора: «Гуак, или непреоборимая ревность», «Кавказский пленник», «Францель Венециан». Об увлечении в детстве «Бовой королевичем» и «Витязем Гуаком» говорит и А. Перегудов, мать коего торговала в лавчонке семечками и селедками.

На ряду с неутолимой жадностью знания другой существенной и постоянной чертой жизни и быта многих и многих советских писателей является участие в физическом труде. Подсчитав данные ста биографий, вижу, что свыше 30 проц. наших писателей-прозаиков знали физический труд в той или иной форме, на более или менее продолжительное время.

Среди них некоторые с детства и долгие годы крестьянствовали. Новиков-Прибой «до военной службы более всего занимался земледелием». А. Демидов с 10 и до 15 лет пахал и косил. Знал земледелие и Неверов. Другие работали на фабриках и заводах. Бибик долго работал токарем в железнодорожных мастерских. Никифоров «с 14 лет работал по заводам» тоже токарем. Токарем по металлу с 16 до 24 лет работал М. Сивачев. А. Грин служил много лет матросом на морских пароходах. Вс. Иванов с 1912 по 1918 был типографским наборщиком.

Следует, однако, отметить, что большинство редко отдавалось надолго одному виду труда. Наоборот, для советского писателя характерна частая смена профессий. М. Борисоглебский, бросив в 12 лет своих приемных родителей, был мальчишкой на побегушках, продавцом газет, работал в типографии, фотографии, книжном магазине, театре, цирке, в малярном цехе, народным учителем и т. д. Сам он насчитывает до 14 сменных профессий. Дм. Четвериков «был библиотекарем в селе Богородском, тапером в «Кафе де-Пари», декоратором, лектором, кассиром, актером, маляром, огородником», еще — внешкольником, политпросветчиком. Конст. Федин, застигнутый войной в Баварии, «в бытность за границей (в Боварии, Саксонии, Силезии, отчасти — Пруссии) был музыкантом, учителем русского языка, хористом, актером. Вернувшись в Россию, прошел обычную в наше время школу должностей и профессий: Голод в Москве и Петербурге». С. Под'ячев «служил наборщиком в типографии, сторожем на железной дороге, рабочим в имени, дворником, работал на торфяных болотах». Неверов о себе пишет, что в отрочестве «крестьянская работа в поле казалась ему самой лучшей на свете, и он быстро научился пахать сохой, жать серпом, плести лапти». Потом он был мальчиком в типографии, служил в галантерейной лавке в посаде Мелекес, потом в Самаре торговал газетами, таскал мусор на постройке, потом стал учителем школы грамоты и учительствовал около десяти лет. Мих. Волков с 13 лет «блуждал по разным профессиям, начиная от чернорабочего, певчего, мелкого служащего вплоть до конторщика». Ив.

Евдокимов был телеграфистом на Северных дорогах, служил земским статистиком, писцом в ломбарде, счетоводом, библиотекарем, преподавателем и заведывающим школой, лектором по истории искусств, техническим редактором в Госиздате. Все. Иванов из сельской школы «бежал с цирком, сначала работал на турниках, а позднее был барьерным клоуном»; «летом ездил с цирком, был факиром и дервишем Бан-Али-Бей, шпагоглотателем, клоуном и куплетистом, служил в шантане, в маленьких труппах».

5

Такая удивительная смена профессий и видов труда была обусловлена тем социальным брожением, в каком находилось русское общество до войны. Война еще усилила это брожение. Она же способствовала усилению одной черты в жизни русского писательства, связанной и с переменной профессий: скитаниям по свету. А это, в свою очередь, отразилось не только на литературной тематике, но и на широте воззрений писателей.

Старинный писатель-барин охотно ездил за границу, т.е. в Западную Европу, часто — в Германию, еще чаще — в Италию и особенно часто — в Париж. Старинный писатель-разночинец, провинциал по происхождению, преодолел притяжение родины и переехав в столицу, обыкновенно навсегда застревал там. Изучая биографии современных нам писателей, видим, что они несравненно подвижней и смелей старинных. Сделав подсчеты, устанавливаю, что около 25 проц. наших беллетристов побывало за границей. «Хождение за рубеж» для некоторых, напр., для Белого, Слезкина, совершилось по привычным путям — на запад. Но многие из писателей забирались далеко на восток. Соколов-Микитов видел Турцию, Грецию, Сирию, Африку, Англию. Новиков-Прибой, участник цусимского боя, жил в японском плену, а потом «с 1907 по 1913 г. скитался за границей, как политический эмигрант: во Франции, Англии, Испании, Италии и в Северной Африке». Лев Никулин в 1913 году был в Германии, Италии, Швейцарии, а в 1921 году, пишет он, «уехал в Афганистан с советской дипломатической миссией. Пробыл там год с лишним. Из них восемь месяцев прожил в Герате, где нас, европейцев, было только шестеро. Вокруг ислам — глухое средневековье ислама. Длинный, раскаленный день и знойная ночь, малярия и сто двадцать дней в году горячий ветер из пустыни. Азиатский медленный темп жизни, до нашей границы — верхом трое суток, до афганской столицы Кабул двадцать четыре дня». Многие побывали в Персии: Буданцев (1916—1918), Свирский,

Фурманов и др. Причудливы скитания Глеба Алексеева в военные и революционные годы: Галиция, Румыния, Кипр, Греция, Венгрия, Сербия. В Венгрии Алексеев организовал артель для ловли дунайской селедки, в Сараеве был чистильщиком сапог на той улице, «где сербская пуля, застрелив австрийского эрцгерцога, начала мировую войну»; в Кроации, Боснии и Герцеговине читал лекции о Пушкине. Потом, «пристроившись матросом на итальянский пароход «Бриони», шатался на нем по африканским, малоазиатским и итальянским портам». В Далмации он «выращивал виноград и дыни», потом был в Белграде, в Вене; в Берлине принял участие в «Книгоиздательстве писателей». Только в 1923 году вернулся на родину.

6

В империалистическую войну были вовлечены многие из наших беллетристов — до двадцати человек. Кое-кто был затронут ею мало: Вересаев, напр., был только полковым врачом в Коломне, потом заведывал в Москве военно-санитарным отрядом железнодорожного узла. Но других война захватила круче. Фурманов «братом милосердия с пехотцами и летучками Земсоюза гонял на Турецкий фронт, по Кавказу, к Персии, в Сибирь, на Западный фронт под Двинск, на Югозападный, на Сарны-Черторыйск...» М. Слонимский на фронте переболел холерой и был ранен. Малашкин «был на немецком фронте, участвовал не один раз в самых жестоких и кровопролитных боях». Гл. Алексеев был два раза ранен. Зошенко «был ранен и отравлен газами; получил порок сердца». В. Катаев «был дважды ранен, один раз контужен и жестоко отравлен газами». С. А. Семенов «дрался три года. Был ранен, контужен, принял под Кронштадтом ледяную ванну и демобилизовался с испорченным правым глазом».

Империалистическая война сменилась гражданской войной и революцией.

Многие писатели приняли участие в революции. Из них некоторые были подготовлены к ней всей своей предыдущей деятельностью. Из всех рубрик, по которым я систематизировал свои материалы, рубрика участия в революционном движении дает наибольший процент: 31.

О некоторых писателях трудно и решить, что для них ближе: литературная или революционная деятельность. С. Семенов, автор «Наташи Тарповой», в 1925 году пишет: «Я — восьмой год в партии, и биография моя, как биография партийца, красноармейца, военкома, пожалуй, и до сих пор еще длиннее и интереснее моей писательской биографии. К такому

заявлению могли бы присоединиться и другие писатели, сверстники Семёнова и старше его.

Возьмем для примера биографию А. Я. Аросева. В 1905 г., 15 лет от роду, Аросев примкнул к партии с.р., участвовал в казанском восстании и был избит. В 1907 г. вошел в организацию РСДРП, в фракцию большевиков. В 1909 г. арестован и сослан в Вологодскую губернию, в том же году бежал, сначала в Петербург, потом за границу. Вернувшись в Москву в 1911 г. с транспортом нелегальной литературы, был выдан, посажен в Бутырки, потом сослан опять в Вологодскую г., опять бежал, снова арестован, водворен в Архангельскую губ., на берегу Ледовитого океана. Оттуда опять бежал, работал в партийных организациях РСДРП в Петрограде, в Нижнем, в Сормове, опять в Петрограде. В 1913 г. в Москве участвует в организации большевистской инициативной группы и после ее провала получает четыре года ссылки в Чердынский край. В 1916 г. возвращается в Петроград и работает в большевистской организации. Будучи призван на войну, за сокрытие своего политического прошлого назначается в дисциплинарный батальон, но тут разражается революция, и Аросев в Твери становится членом исполкома, потом председателем Совета рабочих, военных и крестьянских депутатов, а потом — Всероссийского военного бюро. Потом временное правительство его арестовывает по обвинению в «измене родине и революции» (с подведением под смертную казнь), но освобождает по требованию московских большевиков. Со времени октябрьского переворота Аросев был членом военно-революционного комитета Москвы и командующим войсками его, потом — помощником командующего войсками Московского военного округа, комиссаром Главбронии и Главвоздухфлота, на Украине — председателем верховного трибунала, комиссаром штаба 10-ой армии.

Итак, когда разразилась великая русская революция, за Аросевым уже было 12 лет революционной деятельности; для него переход к 1917 году не был каким-либо переломом, это был «переход к очередным делам».

Менее сложна, но аналогична революционная деятельность А. И. Окулова. С 15 лет он принимает участие в революционных кружках, в 1899 г. уезжает в Женеву и сближается с Плехановым. После некоторого перерыва, уже в революцию 1905 года, становится командиром боевой дружины в Москве; после поражения московского восстания бежит в Петербург и становится нелегальным профессиональным революционером-большевиком. В 1908 г. за

причастность к южнорусской конференции большевиков Окулову грозила виселица, и он бежит через австрийскую границу. По возвращении в Россию в 1913 году отбывает три года тюремного заключения. Февральская революция застаёт Окулова в Сибири. Дальше он рассказывает: «Последовательно я был председателем губисполкома Енисейской губернии, председателем нелегального при Керенском съезде революционных советов средней Сибири, председателем 1-го всесибирского съезда советов, членом учредительного собрания от Енисейской губернии, членом Президиума ВЦИК 1-го созыва, членом реввоенсовета Южного и Западного фронтов, членом Реввоенсовета республики, командующим войсками Восточной Сибири и пр. Только с середины 1924 года я вернулся к литературе».

Мы уже знаем об участии Д. А. Фурманова в империалистической войне. О революции он пишет: «Жизнь толкнула работать в Совете рабочих депутатов (товарищем председателя), дальше — в партию к большевикам, в июне 1918 г. В этом моем повороте огромную роль сыграл Фрунзе: беседы с ним расклатили последние остатки анархических иллюзий. Вскоре работал секретарем губкома партии, членом Губисполкома. Потом с отрядом Фрунзе на фронт. И там: комиссаром 25 Чапаевской дивизии, начальником политуправления Туркестанского фронта, начальником политотдела Кубанской армии, ходил в тыл белым на Кубани комиссаром красного десанта, которым командовал Елифан Ковтюх. Тут контужен в ногу. Вместе с другими шестью за этот поход награжден орденом Красного Знамени. Потом в Грузию, из Грузии на Дон, с Дона в Москву. И здесь с мая 1921 года».

Конечно, не все современные беллетристы имеют такие блестящие революционные биографии. Но многие и многие близко участвовали в революции. Березовский еще в 1904 году вошел в Зимицкую группу социал-демократов. В 1906 году за руководство забастовочным движением был приговорен к расстрелу и только случайно спасся. «За время с 1906 г. по 1916 г. неоднократно арестовывался, подвергался обыскам, судился и в 1908 г. был выслан в гор. Кокпекты на Китайской границе». Борисоглебский был «смертником» в белой колчаковской тюрьме, «спасся только чудом: устроили побег из тифозного барака за несколько дней до расстрела». Яркая революционная биография Ивана Вольнова: в 1904 г. начал революционную работу и, под видом нищего или безработного, организовал братства по деревням Орловской губ. Был арестован через несколько месяцев и освобожден лишь в

1906 г. Снова началось хождение по деревням. После разгрома 1-ой Думы был схвачен казаками, избит, просидя в орловской тюрьме до 1907 г. В июне 1908 г. пытался застрелить исправника, был пойман. Били, пытали, предали военно-окружному суду. В орловской тюрьме 1908—10 гг. наглядясь на ужасы истязаний. В конце 1910 года бежал из Сибири за границу.

Не вдаваясь в другие подробности, добавлю только, что в царское время многие из здравствующих беллетристов сидели в тюрьме, подвергались высылкам и ссылке. Назову Горького, Бибика, Гладкова, Завадовского, Зозулю, Ляшко, Новикова-Прибоя, Припвина, Серафимовича. Мы помним, Аросев трижды совершал побег из ссылки. Побег из ссылки отмечены в биографиях Ив. Вольнова, Крептюкова, Огнева, Соболя, Ширяева и др.

Характерно, что при царском режиме в политическую борьбу вовлекались и те писатели, которые в революционную эпоху оказались не левее правого попутничества. Напр., Г. И. Чулков, И. Эрэнбург, Е. Замятин.

7

Если царский режим озлоблял даже умеренно настроенных писателей, то великая революция действовала вдохновляющим образом даже и на них и на их творчество. Мы имеем много подтверждений тому. Пантелеймон Романов пишет о своем обширном произведении «Русь»: «Уяснил ее себе окончательно только благодаря революции». Юрий Слезкин говорит: «С революцией пришли события, жизнь—вне книг, обогатившая меня неоценимым опытом. Скитался, голодал, родился в новью». Поклонник Брюсова, потом футурист и соратник Маяковского и Третьякова, Константин Большаков впоследствии, в 1922 году, «двадцатисемилетний начальник штаба приморской крепости Севастополь», так учитывает воздействие революции: «Я много видел, я прошел через всю величайшую в истории гражданскую войну, видел людей по-разному и разных, на глазах совершались и совершаются величайшие подвиги человеческого героизма и коллективной воли. Желанием написать об этом можно болеть».

Нечего и говорить, какое мощное, возбуждающее влияние оказала революция на молодых писателей-коммунистов, формировавших свое мирозерцание в годы войны и революции. Я возьму только выдержку из автобиографии Анны Караваевой: «Октябрьская революция внесла в душу мою великое смятение непонимания, но я хотела все понять, знать, для чего я должна жить. Все беспредметно-пылкие мечтания юности, вся последующая система мыслей и убеждений—

все было пересмотрено, многое выкинуто,—и ясность, необычайный подъем, четкие разделы появились в мыслях. Мир, люди, человеческие взаимоотношения—все предстало обновленно, значительно, и ко всем этим явлениям можно было найти ключ: революция».

8

Я далеко не исчерпал всего характеристического материала, заключенного в автобиографиях беллетристов. Отсюда можно было бы извлечь данные об изживании многими религиозности, об идеологических и партийных скитаниях перед революцией и внутри ее, и о многом ином.

Но я не ставил задачи исчерпывающего исследования. Моей целью было собрать несколько черт к общей социальной характеристике советского писательства на одном определенном и, конечно, ограниченном материале.

Если бы привлечь к изучению еще биографии современных советских поэтов, среди которых много высокоодаренных, если бы учесть весь литературный молодняк, выдвинувшийся за последние годы, если бы изучить состав и деятельность рабочих и литкружков,—разумеется, картина получилась бы еще шире и ярче.

И то немногое, что я собрал на предыдущих страницах, дает право утверждать, что современный советский писатель— явление необычайно своеобразное. Нет нигде в мире другой страны, которая располагала бы таким писательством.

Несравнимое своеобразие представляет социальный состав нашего писательства.

Дворянство, некогда выдвинувшее из своей среды такое огромное количество писателей, в наше время представлено только немногими, одиноко вкрапленными кое-где в общую писательскую массу единицами. Уничтоженное революцией социально-политически, дворянство с каждым годом и все быстрее угасает в литературе.

Фагально угасает, почти угасло другое сословие, духовенство, некогда выдвинувшее в литературу Чернышевского и Добролюбова, Помяловского, Левитова и Каронина, позднее Гусева-Оренбургского.

Крупная буржуазия, прежде чем быть сломленной социально-политически, успела выдвинуть в современную литературу некоторое количество своих представителей; однако, как мы видели, и их немного.

Многолюднее представлена в литературе мелкая буржуазия, разночинская интеллигенция. Но она и всегда была текуча и пестра в своем составе. А в наше время наследственная интеллигенция, прежняя монополистка интеллектуального труда, сильно разбавлена выдвинутыми из крестьян и рабочих.

Рабочие же и крестьяне все более и более выдвигаются вперед и заполняют арену литературной борьбы. В союзе с революционной интеллигенцией они образуют основной, мощный корпус литературной армии.

Именно этот массив придает нашему современному писательству исключительное своеобразие.

В писательской среде, конечно, явственны расслоения и группировки, художественные и идеологические, иногда — антагонистические, которые в конце концов сводятся к расслоению социальному. Но основным и определяющим является в писательстве сочетание рабочих, крестьян и революционной интеллигенции.

Выше мне приходилось отмечать, как перевоспитывала писателя великая революция. Но в своих лаконических, скупых автобиографиях наши беллетристы не рассказали и десятой доли того, как они следовали велениям революции. Возьму здесь еще один-другой пример. Мы знаем, каким тяжелым физическим трудом была наполнена молодая жизнь многих писателей из крестьян и рабочих.

Этот труд налагал на них глубокую печать: он связывал их с трудовым крестьянством, с рабочим классом, он воспитывал особую психоидеологию. Но в годы революции, в ее первые годы, к физическому труду были привлечены, были вынуждены многие писатели-интеллигенты, писатели из буржуазно-дворянских кругов. Усадьбинный дворянин по происхождению, П. Сухотин в революционное время был землеробом. Ольга Форш, дочь начальника Средне-го Дагестана, в детстве окруженная услугами денщиков, воспитанная в дворянском институте, в революционное время копала подполье картофеля на хуторе. И таких примеров много. Явно, что это как-то осложняло, деформировало психику и воззрения писателя, даже если он не переживал коренного перелома.

Полку же вносило участие в империалистической и в гражданской войне. Многие писатели, как сказано выше, служили в войсках во время войны и вместе с революционизированной армией пережили переворот. Например, Мих. Слоимский «революцию» встретил в Петербурге солдатом 6-го саперного полка. Полк восстал 27 февраля утром. Больше половины офицеров в полку было убито. В иных условиях тот или другой писатель мог бы остаться в стороне от социальных и политических проблем. В гражданскую войну и революцию он неотвратимо вовлекался в борьбу, ломал свою прежнюю замкнутость.

То перевоспитание литературного попущничества, какое в наши дни совершается в литературных организа-

циях и в публицистике, началось еще на фронтах империалистической и гражданской войн.

Известие перевоспитание, с изживанием архаического народничества, а подчас и кулаческих тяготений, и с овладеванием пролетарской идеологией, совершается и в среде крестьянских писателей.

9

Проходят идеологическую учебу и молодые пролетарские писатели.

Но для пролетарского и крестьянского отрядов советской литературы эта идеологическая выучка облегчена той изначальной зарядкой, какую писатели получили в своей родной социальной среде. Я привожу отрывок из автобиографии Гладкова, где он рассказывает, как в отрочестве скитался по чужим людям, как попадал в лапы хозяина, терпел побои и голод, пытался бежать и снова попадал в кабалу. К этому рассказу Гладков добавляет веское слово: «В девять лет впервые узнал, что такое рабство, впервые научился плакать от жалости к матери и отцу и приходить в ярость перед мучителями-эксплуататорами». И дальше о себе: «Обычная среда — такие же безработные, люмпен-пролетариат. Огромное влияние оказали на меня двое горемык из люмпенов, полунинтеллигенты рабочие... Они умерли на моих глазах, как бродячие, изнуренные голодом и болезнями собаки. И они впервые говорили мне такие слова, очарование которых не умирает у меня и до сих пор... В это время я стал философом-пессимистом и яростным врагом богатых». В. М. Бахметьев, очертив горькую нужду городской мастеровщины, среди которой вырос, дальше говорит: «Люди мастерового звания, не щадя во мне ребенка, открыли мне глаза на грязь и пакости окружающей жизни, научили ненавидеть купцов, земских начальников, исправника, царя». Г. К. Никифоров пишет: «С 14 лет работал по заводам. Мастеровые старого закала научили меня тонкому мастерству токарного ремесла, научили классовой ненавистью».

Именно эта социальная зарядка подготовила многих писателей к участию в революции, к восприятию революционной марксистско-ленинской идеологии. Необходимо отметить и учесть, что среди ста беллетристов насчитывается свыше двадцати партийцев-коммунистов.

И подобно тому, как участие в революционных движениях, как выработка революционного мирозерцания предопределялись социальным происхождением, так то же социальное бытие предопределяло и особенности литературного творчества.

В этой статье не место подробной характеристике современной советской художественной литературы или хотя бы одной беллетристики. Но необходимо все же отметить связь жизни и литературы, опираясь на тот же материал автобиографий.

Эта связь всего нагляднее в тематике советской беллетристики.

Некогда, в шестидесятые годы, говорили, что русская литература пропахла мужиком. В этом, действительно, было своеобразие тогдашней нашей народолобической литературы, резко отличавшее ее от буржуазной литературы западной.

Современная советская литература тоже резко отличается от западной, но иначе. Она пропахла революцией и социализмом. Не только потому, что советский писатель воспринимал социалистические взгляды или получал извне «социальный заказ», — он разрабатывал социальные и революционные темы потому, что к ним принуждало его социальное бытие. Мих. Сивачев заявляет: «Мое рождение крестьянином, а последующее — моя связанность с рабочим классом — предопределили круг моих тем: я писал и по большей части буду писать только о рабочих и крестьянах. Что вне этих двух социальных пластов — меня интересует постольку, поскольку имеет отношение к этим пластам». Неразрывно связывает тематику своего творчества со своим социально-политическим бытием Федор Гладков. В самой ранней юности он «писал стихи, насыщенные проклятием богачам и мучителям». Потом «брякнул повесть «К свету», где героиня, дочь бедняка-рабочего, прошла муки жизни и добилась своей цели — сделалась учительницей». Вслед за тем Гладков пишет — и уже печатает — «ряд рассказов из рабочей жизни». Затем произошло знакомство с рассказами Максима Горького, только что вышедшими в отдельном издании. «Первый же том перевернул всю мою душу» — пишет Гладков. Встретились два писателя, кровно близкие друг другу социально, и Гладков отдался подражанию Горькому. Позднее, когда Гладков был сослан в Сибирь, он в своей беллетристике изображает каторжников, «как людей протестующих, разрушающих жизнь, построенную на крови и муках обездоленных». Не буду следить за дальнейшим творчеством Гладкова, но приведу еще аналогичные показания Анны Караваевой: «В 1922 г. вступила в РКП(б). Толчок к творчеству перешел в живое, непрерывное стремление. Работа моя в исполкоме (я заведывала информационно-структур. отд.), постоянное соприкосновение с низовыми работниками дали мне тему «Медвежатного». Далее наблюдение над людьми с переходом на нэп дало мне тему по-

вести «Берега»... Далее моя пропагандистская работа натолкнула меня на историческую тему из прошлого Сибири. Я взялась за изучение дел о «белых» и к концу 1924 г., началу 1925 была написана повесть «Золотой клюв». Моя давняя, глубокая горечь о мире деревенском теперь уже ясно видела путь деревни: союз с рабочим классом, строительство социализма, рождение нового человека, город — друг деревни. Таково основное устремление рассказов о деревне («Рыжая масть», «Хозяйка», «Вороны» и др) и больших вещей, как «Двор» и недавно законченный роман «Лесозавод».

10

Богатство самой жизни, повелительность ее призывов так велика, что многие писатели готовы отказаться от литературы ради жизни. Березовский заявляет: «К литературе рвался с детства. Став взрослым человеком, не оставлял мысли о литературной работе; но всегда предпочитал литературному творчеству революционную работу и исполнение партобязанностей». Молодой беллетрист А. Тверяк пишет: «За художественной литературой, по крайней мере в данный момент, я признаю служебную роль».

Но тот же Тверяк тотчас же добавляет: «Ибо литература может скорее и с большим успехом помочь разобраться в тех сложных и запутанных перипетиях современной жизни, которые мы все должны изучить, чтобы уверенно шагать вперед». Если так — литература восстанавливается в своем высоком жизненном значении, и перед советским читателем встает ответственная задача: добиться того, чтобы художественные качества литературы вполне соответствовали — и в полной мере содействовали — ее социальной функции.

Здесь перед советским писателем встают огромные трудности. Во-первых, как мы теперь знаем из признаний самих писателей, многие из них приходят в литературу из культурных низов, с малой подготовкой. Скажем о своих первых литературных успехах, С. Семенов продолжает: «Последующие два года я употребил не столько для литературной деятельности, сколько для литературной учебы. Как и большинство приходящих уже в наши дни пролетарских писателей, я три года назад пришел в русскую литературу таким же художественно безграмотным, как теперь они, без намека на писательскую культуру, с совершенным отсутствием представления о значении формы в художественном произведении, с полным неумением и нежеланием усидчиво работать над произведением».

Но мы знаем из тех же автобиографий, а еще больше из самих литера-

турных произведений, как энергично овладевают пролетарские писатели знаниями, культурой, художественной техникой. Когда в 1898 году впервые появились два томика «Очерков и рассказов» М. Горького, литературные профессионалы и рядовые читатели были поражены не только новым содержанием, не только своеобразным пафосом рассказов, а и зрелым совершенством новеллистической формы, богатством языка. Это казалось загадочным для писателя, про которого тут же узнавали, что он поднялся в литературу из низов, что он не кончил даже низшей школы. Но то же наблюдаем и теперь. Вот Артем Веселый. Он родился в семье волжского кручаника, с раннего детства работал в рабочих артелях, потом ломовым извозчиком, чернорабочим, наконец — писарем; учился только в городской школе. С 18 лет он уже в партии, захвачен партийной и боевой работой в Красной гвардии, в Красной армии, во флоте. Что же оставалось на общую и на литературную учебу? Литературное творчество Артема Веселого протекает на наших глазах. Молодой писатель начинал неумело, он много искал, позорному провалился. Но в нем нет и тени подражательности, того робкого ученичества, которое так характерно, скажем, для самоучек писателей-суриковцев.

А. Веселый совершает крупное, уверенное восхождение, он смело овладевает лучшим из литературной традиции, выработанными и выверенными техническими приемами, однако, сохраняя при этом всю независимость и своеобразие.

В 1914 году в предисловии к «Сборнику пролетарских писателей» Максим Горький писал: «Я крепко убежден, что пролетариат может создать свою художественную литературу»; «бодрые силы пролетариата, возрастающая количественно, становятся и качеством своим все более культурными; мы уже можем сказать, что, несмотря на ужасные условия жизни русского рабочего, он постепенно создает свою интеллигенцию, выделяя часть своей физической энергии, претворяя ее в энергию психическую». Горький тогда судил только по тем литературным опытам,

правда, многочисленным, какие присылались к нему со всех сторон рабочими писателями-самоучками. Он, конечно, и не думал, что через три года разразится революция и раскроет перед пролетариатом широчайшие возможности культурного строительства. Теперь, через 16 лет после этого сборника, среди сотен и тысяч книг, созданных пролетарскими писателями в революционные годы, мы можем сказать, что прогноз Горького блестяще осуществился.

За эти же годы вырос и наконец идеологически определился отряд ново-крестьянских писателей и выдвинулись такие крупные произведения, как «Большая Каменка» Дорогойченко и др.

И разночинцы-писатели в своем творчестве за истекшие 12 лет прошли длинный и трудный путь революционно-социалистической «переподготовки». Для многих из них революция была «вторым рождением».

В печати было заявлено (И. В. Владиславлевым) меткое наблюдение, что и некоторые пролетарские писатели «вторично родились для литературы» в годы революции. Александр Неверов, выступивший в печати еще в 1905 году, Николай Ляшко, начавший печататься в том же году, только после Октябрьской революции нашли себя и развернули свое творчество.

Отметая обломки реакционной дворянско-буржуазной и кулацкой литературы, перевоспитывая попутничество, выдвигая рабочий и крестьянский отряды пролетарского писательства, великая революция творит сплочение художественно-литературных сил.

Советский писатель прошел огромный путь и создал большие ценности. Это мы все видим и чувствуем, хотя точного учета и исследования результатов работы у нас, к великому сожалению, еще нет.

Но все же советская литература только в начале пути. По самому существу своему художественное творчество медлительно. К тому же и социальная смена не закончилась. Она продолжается на наших глазах, а ее результаты отзовутся в литературе гораздо позднее.

2. ПРАВНУК ФИГАРО

Ю. Данилин

Положительно, это правнук Фигаро! Какие тут сомнения? Тот же насмешливый, бодрый, острый юмор, отличающий статью иронии и сатиры. Та же легкая, дружинящая подвижность и счастливое уменье поспеть

в десять мест. Та же способность упорно и победоносно бороться за достижение своей цели. То же язвительное нападение на гнетущие условия социальной действительности. И, наконец, — та же профессия цирюльника.

Самое существенное, что сближает Фигаро с его правнуком, — это одинаковая роль обоих относительно их социальных эпох. Старый остроумец Фигаро искрился предвестиями Великой французской революции; острия его сатирических стрел отточились в той многовековой борьбе, которую буржуазия вела с привилегированными классами — дворянством и духовенством. К XX веку социальная физиономия Европы стала уже совсем иной. Былая наступательная борьба буржуазии с ее классовыми врагами давным давно в прошлом. Теперь пролетариат борется с буржуазией, когда-то победившей и обреченной ныне на гибель в свою очередь, подобно своим бывшим противникам. Потомок Фигаро — весь в этой битве XX века.

Так стоят они перед нами, Фигаро и его правнук, взнесенные на гребнях бушующего социального прилива своих эпох. И в сиянии их энергии, бодрости, подвижности, смеха мы чувствуем символ упругой мощи того восходящего эпохи класса, кирка которого уверенно, упрямо и непреклонно раскрывает монументальные контрафорсы старого мира. Улыбнись, Фигаро, своему правнуку! Если в иных отношениях — и очень существенных — ты ему совсем не родня, а чужой, даже враждебно чуждый человек, то в этом общем наступлении на старый мир — он твой чистокровный потомок.

* * *

Теперь — о несходстве Фигаро и его правнука. Остановимся на Фигаро¹⁾. Конечно, он привлекает нашу симпатию, когда самоотверженно старается вырвать свою невесту Сюзанну из мараящих лап феодала, спасти ее от «права первой ночи», и в этой борьбе так выгодно и победоносно демонстрирует свой умственный блеск; находчивость, остроумие, изворотливость — единственно свое оружие, смело противопоставленное титулам, гербам, золоту и величественной посредственности графа Альмавивы.

Но третье сословие, наполнявшее нартер предреволюционного французского театра, рукоплескало не только этой борьбе Фигаро, не только его насмешливым шпилькам по адресу дворянства или язвительным lamentациями по поводу того, что он, к сожалению, «не дал себе труда родиться дворянином». Фигаро стяжал себе симпатии у предреволюционной французской буржуазии как человек, полный огромного и жадного аппетита к жизни, вынужденный волею судеб съесть щетину графского подбородка, но вполне способный выстроить целую фалангу почитателей, которые бы

осчастливленно брили подбородок ему самому. Ведь этот самый Фигаро, падая на привилегированных, отнюдь не задавался какими-либо «химерами» и не простирали свою жажду лучшего на все обездоленные массы человечества. Он отнюдь не собирался, например, упразднить принцип частной собственности. Напротив. Он стремился только к личному обогащению. «Нажить и надуть — это твое дело» — укоризненно говорит ему Сюзанна. И верно: он наживался с графа Альмавивы при всех возможностях. За это ему, ловкачу и пройдохе, и рукоплескали зрители из третьего сословия.

Немножко оттеснить графа Альмавиву, оттягать у него небольшое местечко под солнцем, кушать под этим солнцем кусочек хлеба с маслом, почитательно поданный каким-нибудь Антонио, вить семейное гнездо со своей Сюзанной и гордо водить ее в мехах и соответствующем котиковом манто, округляться жирком на хребте трудящихся масс — вот стремления Фигаро. Так борется он, подобно своему создателю Бомарше, за тот самый «собственный дом», в котором Бомарше столь неважно чувствовал себя 14 июля 1789 года, потому что домик-то был рядом с Бастилией, которую в этот день разрушали восставшие парижане. Так и Фигаро к началу революции очутился бы ее врагом. Зачем она, когда он уже во всем преуспел? И он последовал бы за Бомарше в эмиграцию.

* * *

Правнук Фигаро... однако, пора его представить. Это Джованни Джерманетто, итальянский пролетарский писатель-коммунист, автор книги «Записки цирюльника»¹⁾, представляющей радостное событие в летописи нашей переводной литературы. С выходом этой книги рынок наш не только обогатился новым произведением пролетарской литературы, но при том книгу, написанную подлинным и большим художником. Увлекательнейший жанр «мемуаров революционера», лишь очень немногие образцы которого до сих пор поднимались до художественной высоты, омоложен и оживлен этой замечательной автобиографией. Книге Джерманетто нужно пожелать всяческого, продолжительного и широкого успеха.

Так вот, правнук Фигаро, несмотря на все свое фамильное сходство, вылеплен все же из другого теста. Если Фигаро поддерживал под ручкой легенду о своем дворянском происхождении, не желая быть всего только мелким буржуа, то правнук Фигаро ни в какой

¹⁾ Бомарше. Трилогия. Гиз. Сер. «Русские и мировые классики» М.-Л. 1930. Стр. 361. Ц. 1 р. 75 к.

¹⁾ Джерманетто. Записки цирюльника. Зиф. 1930. Стр. 240. Ц. 2 р.

мере не скрывает своего пролетарского происхождения. Социальное недовольство правнука Фигаро отнюдь не обусловлено ущербностью его личного имущественного положения, но представляет собою круг воззрений европейского пролетариата XX века. Джерманетто с тем большей органичностью выражает это недовольство, что он — сам пролетарий, выросший в семье рабочего, изнуренного эксплуатацией, воспитавшийся на забастовках, на сознании неискоренимых противоречий труда и капитала, на понимании лицемерия и жестокости буржуазии и буржуазной «свободы мнений», иллюстрируемой примером профессора Кроче, избивая которого, студенты Болонского университета приговаривали:

— Мы бьем не профессора Кроче, к которому питаем большое уважение, но коммуниста Кроче.

Не личное недовольство толкнуло Джерманетто к революционной борьбе. И в последней он опять-таки не следует личных целей. Задачи этой борьбы отнюдь не снижены им до владения какой-нибудь Сюзанной. У него, правда, был роман. Но его невеста не осмелилась согласиться на гражданский брак. Она была слишком во власти католицизма, мещанских условностей, слишком трусила сплетен. Она плакала, запуганная и жалкая.

«— Итак, ты твердо решила?»

— А ты? — спросила она.

Мы поглядели друг другу в глаза.

Она была бледна, неподвижна, а у меня ноги точно приросли к мостовой. Несколько минут тяжелого молчания.

Я сделал усилие.

— Прощай.

И я ушел. Больше я ее не видел.

Да, цели правнука Фигаро отнюдь не те, что у его прадеда. У него нет стремления благоустроить семейное гнездо. Он рвется из всех таких гнезд. Это человек исключительно социальный, чуждый всего личного, почти физически ощущающий пуповину, соединяющую его с классом. Он живет и действует только для своего класса и для его борьбы с другими классами.

И само собой разумеется, — он бескорыстен. Почтенный его предок по сравнению с ним — форменный спекулянт. Но психология Фигаро — это психология всех буржуа, в том числе и современных итальянских. Они не могут понять, зачем человеку заниматься революцией, если он не занимается на этом? И нетрудно представить себе, как горели глаза итальянских полицейских, когда они отобрали 7.500.000 рублей у арестованного Джерманетто, возвращавшегося в 1922 году в Италию из Москвы. Но уже труднее представить горестное недоумение доблестных ажанов, когда ока-

залось, что миллионная сумма дейзнаков равна приблизительно нулю. «Комиссар имел недовольный вид» — сочувственно отмечает Джерманетто.

Фигаро, подпуская исподтишка аристократические шпильки, старался в то же время избежать острых положений. Ему свойственны округленные, плавные жесты, бархатный голос, почти телльно-танцующие движения. Правнук Фигаро и здесь являет ему полную противоположность. Его юмор ершист и жалищ, голос резок. В нем нет ни на грош протения, даже к посетителям парикмахерской. Лишенный прославленного (еще со времен Дон-Кихота) тастика, в котором его предок вбивал когда-то пышную пену для вблорожденного подбородка графа Альмавивы, потомок Фигаро стрижет и бреет в демократической цирюльне, пользуясь не грандов, а только превспевших буржуа городка Кунео. При этом он пользуется всяким случаем, чтобы бросать им кровь, — но только в переносном смысле.

Такое коллективное бросание крови выразилось уже в том, что Джерманетто прославляет Кунео как неподражаемый центр рекордов мирового головетяпства. В Кунео отцы города пробуют новую электроустановку ровно в полдень, пускают фейерверк утром и предлагают осужденному к смертной казни утонуться самолично за гонорар в 200 лир, дабы спасти этим городке бюджет, для которого уплата 700 лир палачу являлась бы совершенной катастрофой. Измучившись от этих сложных операций, буржуа Кунео направляются бриться, и тут Джерманетто, пеленая их простынями и салфетками, бросает им кровь индивидуально, организуя на скорую руку политические дискуссии и пугая своих клиентов крамольными коммунистическими речами.

Нет, правнук Фигаро не лезбит, не заскивает. С сильными мира сего он строптив. Полковник, местное светило, заходит в цирюльню и обращается по привычке к нему на ты:

— Подстриги бороду да поторавливайся!

И слышит ответ:

— Садись!

Такой ответ, что вся парикмахерская проваливается куда-то в мертвую тишину, и бритва хозяина потрясенно застывает в воздухе. Полковник багров, как закатное солнце. Поражена и шокирована вся публика, за исключением двух солдат, которых бреют в уголке и на физиономиях которых написано явное удовольствие. Столь же непочтительен правнук Фигаро и к князьям церкви. Епископ тычет ему в нос руку для поцелуя, а Джерманетто пожимает ее и разом теряет всю монастырскую клиентуру.

Старому Фигаро не приходилось иметь дело с полицией, а судье, как вы помните, он умело ввернул моральную взятку, запросив о здоровье его супруги и младшего очаровательного сына. Нет сомнения, что и с полицейскими он был бы столь же обходителен и не доставил бы им таких огорчений и беспокойств, как его правнук. О, этот правнук! Полицейский комиссар чество просит его не ездить туда, куда ему надо, и Джерманетто, припертый к стенке, обещает; чтобы он не забыл об обещании, комиссар любезно приставляет к нему полицейского, а Джерманетто все-таки удирает от последнего. Сокрушенно качает головой комиссар. Отправляясь на подпольное собрание, Джерманетто постоянно обманывает полицию, не осведомляя ее, куда идет. Будучи арестован за составление прокламации, он, вместо того, чтобы помочь полиции и честно сознаться, предпочитает упрямо отрицать свое авторство.

Так комиссар полиции оскорблен в лучших своих чувствах. Полковник и епископ — равномерно. Почтенные буржуа города Кунео испытывают попеременно трусость, ненависть и жажду мести. И одна из клерикальных газет оформляет эти настроения, отдавая свои столбцы печатанию некоего сенсационного романа. Героем последнего являлся коммунист по имени Меднобородый. Этот персонаж исключительно грубо обращался с рабочими, приходившими к нему за помощью, брал с них взятки, а на эти взятки покупал тысячные манто некоей даме своего сердца и уютно разлагался, после чего произносил на митингах свирепые демагогические речи. Читатели, по мысли газетки, должны были непременно уяснить себе, что Меднобородый — это не кто иной, как Джерманетто. Однако, результат этой остроумной затеи получился непредвиденный. Джерманетто потребовал от редактора, чтобы он, вместо художественных описаний, представил обличающие факты. Увы, редактор ничего не мог представить. Блестящий роман оборвался. И только Джерманетто стал отныне подписывать свои статьи псевдонимом «Меднобородый».

Если бы пригласить Фигаро и теперь улыбнуться его пролетарскому правнуку, он, пожалуй бы, постарался

уклониться от этого. А если бы и улыбнулся, получилась бы кривая улыбка. Та дрожжащая, жалкая улыбка, с которой аристократы XVIII века всходили на дощатый помост гильоти-

* * *

Джерманетто рассказывает в этой книге всю свою жизнь от невеселого детства и до последних лет, предстоящих как яркий kaleidoscope революционных актов, торемных отсидок, путешествий в СССР, арестов и фигурирования на суде. Пересказывать все это нет возможности. Джерманетто дает обширную информацию о революционной деятельности итальянского пролетариата с 90-х годов до нашего времени, при чем особенно обстоятельно зарисовывает последние двадцать лет: эпоху войны, когда его так усердно хотели сплавить на фронт за антимилитаристическую пропаганду, послевоенный революционный период, когда итальянский пролетариат захватил одно время все фабрики и заводы, и, наконец, последние годы, воплощающиеся в торжестве фашистских дубинок и в развешенных по улицам портретах Муссолини, украшенных надписью: «Не трогать! Под страхом смерти!»

Огромной заслугой Джерманетто, уже не как летописца, но как художника, является то, что ему удалось дать в этой книге великолепный, живой, цельный и правдивый образ коммуниста. Мы не слишком избалованы на этот счет. Мы привыкли встречать у большинства современных советских и западных художников, подходящих к изображению коммуниста, либо безвкусную, «идеологически выдержанную» схему, либо слащавую иконописную мазию. Джерманетто нарисовал свой портрет размашисто, бесстрашно и убедительно. Нельзя не подчиняться обаянию человека, глядящего на нас со страниц этой книги. Он полон внутренней радости, мощных соков класса, поднявшегося и готового к революционному прыжку,—и весело видеть, как он жжет и палит искрами своей насмешки нетопырей и гадов старого мира. Пролетарская литература до сих пор еще жила эмоциями хмурыми; ее бодрость была угрюма и сурова. Смех Джерманетто открывает в ней новую главу.

3. САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ БУРЖУА

А. Рашковская

Так бывает всегда. После судебных и самых разномастных попыток освежения литературных жанров, после сюрреализма и неокатоличества,

после неомистицизма и увлечения спортивными романами, после интеллектуализма Жироду и утверждения евангелия от Фрейда французский ро-

ман сегодня очутился на старых, старых позициях доморощенного психологизма и наивного реализма.

Это похоже на возвращение блудного сына. Вкус к тривиальному неистребим. Он был даже в подвалах сюрреализма. Теперь он торжествует. Он завоевал балютаж и салоны. Ряд романов — продукция последних месяцев Перижа, ряд романов, отмеченных, отличенных, премированных — трактует неизменной образом вопросы счастливой и несчастной любви, любви во всех аспектах, видах и возможностях, от узаконенного гомосексуализма до «брачного круга» включительно. Браки — в моде. Браки по любви, браки по расчету, мезальянсы, верные мужья, верные жены; обманутые мужья, обманутые жены, разочарованные мужья, разочарованные жены... Боже мой! Даже огосударственная социологичность Пьера Ампа заглохла. Где он? Что он? Тишина. Популизм — новейшее течение, с лозунгом возврата к натурализму и «прощения» героев — обладает, конечно, только видимостью социального течения. Я предпочитаю откровенную незаинтересованность Жироду, Морана или Кокто протекривенной фальши популистов в социальных проблемах современности, которые они пытаются ставить.

Нельзя, однако, сказать, что революция, СССР, классовая борьба, коммунизм совсем не «замечены» французскими писателями. Нет! Этого никак нельзя сказать. Появились, например, герои — рабочие («La femme sans gerçose» Леона Лемонье). На ролях первых любовников, на ролях добродетельных отцов фигурируют... коммунисты (Дриэ ла Рошелль — «Женщина у окна», Жан Прэво — «Братья Букенкан»). Поль Моран не без остроты философствует в своем новом романе «Чемпионы мира» о близости Америки американской и Америки московской..

Но широты охватов здесь только пространственные.

В сущности, повсюду тот же «брачный адептит», только задрапированный космополитизмом Морана, экзотикой Ла Рошелля или высокомерным снижением темы у Жана Прэво.

Итак, разница только в степенях откровенности.

Но к порядку... Вот два, три наиболее замкнутых в узком кругу, который образует коллизия «он и она». Талантливый ученик Андре Жида Жак Шардон повествует в своем романе «Ева или прерванный дневник» о том, как женщина, эгоистическая и ограниченная, разрушает жизнь и душу человека, который стоит несравненно выше ее, но полагает свое счастье в любви к этой женщине — его жене. Шардон не впервые обрушивается на трагическую буффонаду буржуазного

брака, его первые две вещи — «L'Epithalame» и «Le chant du Bienheureux» — трактуют ту же тему. Своего рода — специализация. Но лишенная смысла, потому что плох тот прокурор, который не хочет или не смеет апеллировать к общественности, который не видит или не хочет видеть логической связи вещей. Весь смысл романа Шардона, в сущности, ограничивается первой и последней сентенцией героя («Ева» написана в форме дневника). Вот первая: «Я обладаю единственным счастьем, возможным на земле, — я люблю мою жену». И последняя: «Этот дневник повествует о женщине, разрушившей и унижившей душу мужчины, которого она не любила, но который полагал, что он любим...»

Несмотря на мастерство (наследственное французское мастерство в делах этого рода), несмотря на тонкость психологического анализа, — книга Шардона, старательно и удачно загримированная под «классиков», книга торжествующе тривиальная, книга, о которой в Париже «говорят» — знаменует не возрождение, а гальванизацию психологического романа.

Это же относится и к «La patrie interieure» Игнаса Леграна. Тот привкус морализирующей рассудочности (так же свойственный французской литературе, как и пресловутая «сексуальность»), который вы ощущаете у Шардона, еще более уверенно и отчетливо определяет контуры этой книги, или, может быть, вернее, ее автора. Потому что единственный герой, которого вы телесно ощущаете в сегодняшней французской литературе, это — автор. Легран стоит в позе Саванароллы и прокликает всю суету суетного мира: эпоху, нравы, нравственность, при чем с равным негодованием он клеймит «маскулинизацию» современной женщины («плоские груди, короткие юбки, бритые затылки»), ожесточенную погоню за наживой и угарный патриотизм 1914 г. — и все это только для того, чтобы вывести (именно «вывести») сильно подержанное общее место — «не в деньгах счастье». Герой романа променял любовь на богатство (и самым традиционным образом — женитьба на приданом) и был за то покаран то ли «духовной родиной», то ли рукой Леграна. Никакого намека на понимание великих социальных брожений современности Игнас Легран не обнаруживает, никакого «выхода» из замкнутого круга индивидуальных переживаний не показывает. Игнас Легран — разоблачающий буржуа. Его бунт против современности носит характер аристократической фронды, — в нем нет и зерна зарождающегося революционного гнева. Да и откуда? Восстание против настоящего во имя

прошлого никогда не было стимулом революционного протеста, и длина дамских юбок или волос мало интересует революцию

Слово для обвинения берет и крайняя правда. Неокатолик Франсуа Мориак в своем новом романе «То, что утеряно навсегда» с зловещей силой фанатика изображает мрачную картину распада. Жизнь дискредитирована с точностью хронометра: декаданс расы, кровосмешение, наследственные самоубийцы, алкоголизм, острая духота ночной жизни — мертвое шуршание дансингов, — угрюмый молчаливый порок, — таков моральный «пейзаж» Парижа глазами Мориака.

Роман держится, конечно же, на адюльтерной интриге. Но это не быт и не психология, это не «Мадам Бовари» и не «Ева» Шардопа. Это бредовое видение фантаста и фанатика, современного монаха, прошедшего школу сюрреалистов и Достоевского. Герои Мориака — живой список деградирующей, обескровленной, вымирающей расы, мучители и мученики, дегенераты и расстрелники жизни. Зарядового пафоса отрицания современности, который есть у Мориака, хватило бы для любого бунтаря и революционера. Но Мориак — неокатолик, и это значит, что ему дано право уничтожить словом и фантазией «низменную» земную жизнь, — ведь индульгенции и билеты на спасение в его же руках. Конечно, «здесь» очень скверно. Но борьба бесполезна и греховна, — утверждает Мориак. Человеческая воля, человеческие стремления и человеческие радости лишены смысла. Только божественное вмешательство определяет судьбы людей... и сюжет романа. Что же? Богу еще хорошо живется во Франции.

Все дидактические вешества, собранные в подвалах этой книги в количестве достаточном, чтобы подорвать устои капиталистического строя, таким образом, оказываются подмоченными.

А каковы позиции левой? Но существует ли во французской литературе левая сторона? Видимость «левой» во всяком случае существует.

Есть, например, популистский роман, который в Париже принимается за роман пролетарский.

Образец такого «пролетарского» романа с героем рабочим-коммунистом — «Братя Букенка» Жана Прэво, романа, имевшего «большую прессу». Брачный казус «пересаживается» в рабочую среду и соответственно меняется бутофория обстановки и чувств. То, что Жан Прэво не враг, то, что он преисполнен добрых намерений, только подчеркивает, выражаясь мягко, непонимание социальных норм современности, которое автор обнаруживает. То, что роман сделан мастерски, то, что язык точен, лаконичен и полнокровен, то,

что отдельные образы прекрасны, — только подчеркивает тот факт, что фальшивый замысел губит прекрасное исполнение. Два брата — рабочие Пьер и Леон Букенкал, парисованные Прэво, — два мыслимых французским буржуа типа пролетария. Леон — грубый и примитивный человеческий механизм, не способный к восприятию культуры. Притесняемый сам, он притесняет все, что слабее его. В быту он пьяница и кулак. Пьер Букенкал — рабочий высокой квалификации, механик, прекрасный тип латипской расы, мягкий и восприимчивый, полный здравого смысла, индивидуалист по натуре, коммунист по убеждениям. Но в этом образе вы чувствуете сразу тонко намеченный автором внутренний разлад. Развертывается интрига так: Леон женат на молодой красивой женщине, которую он бьет и мучает. Пьер — в роли рыцаря. Естественно от сожаления и сочувствия он переходит к более нежным чувствам. Жюли делается его любовницей. Новорожденный сын Жюли — его сын. Жизнь Жюли с мужем становится нестерпимой. Однажды ночью между братьями разыгрывается жестокая драка. Дело кончается убийством. Пьер бросает Леона в воду. Жюли берет вину на себя. Пьер остается один с ребенком. Прэво подчеркивает оторванность современного рабочего от капиталистического общества. Пьер не считает себя преступником. Никакие угрызения не тревожат его совести. Он убит, защищаясь. Но он не верит в правосудие, даже не пытается оправдаться, — буржуазный суд не существует для него. И вот наш воинствующий коммунист, поглощенный своими новыми, отцовскими обязанностями. Роль ему нравится. Он нянчиться с малышом с терпением старой няньки. Сцены нежнейшей отцовской идиллии. Под влиянием этих подсознательных биологических флюидов, которые, конечно, сильнее и органичнее каких-то падумалых «коммунистических убеждений», Пьер безболезненно и незаметно растеривает свои «убеждения». Его «коммунизм» тает на глазах читателя от писка бабы и его мокрых пеленок. Где-то за кудисами умляется и торжествует «объективный» автор: он открыл «гуманное» средство от «коммунизма». Ведь семейственность тянет к приобратительству, приобретательству — к полному обуржуазиванию пролетария.

И вот Пьер, который мог стать террористом, становится собственником. К тому же он напрасно не признавал буржуазного правосудия. Тюрьма, как оказывается, возвышает и облагораживает души: отбыв срок наказания, Жюли возвращается как бы «очищенная» страданием и религией. Она не хочет больше жить «в грехе». Церковный брак увенчивает дело.

Вполне понятны восторги парижской прессы по поводу этой фальшивой, хотя и с блеском написанной книги. Ведь не даром Андрэ Терив пишет в «Temps» (18 апреля, 1930 г.):

«...Эта книга прекрасно свидетельствует о невозможности классовой борьбы во Франции...» Пусть так. Но где логика? Буржуазные писатели кричат о развале семьи, о нелепости брачной комедии, а Жан Прэво добродетельно ведет своего героя — представителя свежего класса — в эту свалку, не замечая бессмысленности такого подвига. И с каким вкусом рисует он, например, традиционный образ доброго кюре, который вернул заблудшую Жюли на стезю спасения, раз'яснив ей, что «мило-сердие выше правды». Там, где это ему нужно в классовых целях, Жан Прэво умеет убедить вас, что эмоциональная (и глубоко консервативная) женственная стихия благотворно влияет на свирепого коммуниста и побеждает рационалистическое начало, якобы наносное и чуждое. В романах же Шардона, Леграна, Морана торжествующая femina есть символ нравственной гибели мужчипы. Признаться, я не вижу серьезности в этой моде на «коммунизм»: «коммунист» поступил в герои только для экзотики.

Никакой ответственности, никакого социального напряжения за этим не скрывается.

В романе Дриэ Ла Рошелля «Женщина у окна» — коммунист в роли первого любовника. Она — маркиза. Замыслу нельзя отказать в остроте. Эффектно и с элегантным мастерством Ла Рошелль развертывает сложную систему притяжений и отталкиваний этой любовной игры на политической подкладке. Ла Рошелль, прошедший целую скалу направлений от «барресизма» до сюрреализма, Ла Рошелль, прислушивающийся с напряженным вниманием к голосам Нью-Йорка и Москвы, этот Ла Рошелль может быть причудливым, вздорным или наивным, но привкуса пошлости в его сюжете нет. Это потому, что мир Ла Рошелля — условен, потому что он пренебрег всяческими психологиями. Он не стилизует своих героев под реальных людей, он не хочет правдоподобия, он полагает, что героям à la Бальзак или Стендаль было бы трудно жить в атмосфере современной литературы. Ла Рошелль — апостол движения. Его логика похожа на гимнастику, а творческий метод — на метод физического воздействия. Неожиданно на какой-либо странице этого романа вы можете почувствовать, что у вас устают... ноги. И это, повидимому, единственный способ рассчитать с тривиальным сюжетом. Но «Женщина у окна» доказывает, что нет тривиальных сюжетов, есть только тривиальные авторы, и Ла Рошелль не принадлежит

к их числу. Не пытайтесь закрепить за этим романом жанр, потому что, едва вы определите его как авантюрный, — вам покажется он философским. Но ведь это так и есть. Это не голубое и не розовое. Это голубое и розовое вместе. Издъ весь этот авантюризм и эта вызывающая экзотика, вся эта наигранная беспринципность и принципиальная игра, весь этот так прочно вошедший во французскую литературу в качестве составного ингредиента космополитизма — все это лишь средство для раскрытия смысла современности и путей современного человека, каким все-таки представляется Ла Рошеллю коммунист. Повторяем: буржуазный писатель, у которого раскрыты глаза на мир, не может не увидеть того, что принесла русская революция.

Но откуда же у пробудившегося европейца может быть четкое понимание подлинного соотношения сил, ощущения непригодности не тодько старых форм (что у Ла Рошелля есть), но и ненужности подобного сюжета? Актуальны ведь не любовные отношения между коммунистом и аристократкой, а отношения его к социальному строю.

Второй полюс мира, который пытается открыть современный европеец, — Америка. Не даром ряд запечатленных путешествий в Москву и в Америку, идут почти параллельно. Новый роман Поля Морана, написанный с обычным для него космополитическим размахом, «Чемпионы мира» — эпизод семейной драмы в масштабе Америка—Европа. Поль Моран, теоретик философии «быстроты» (см. его трактат «De la vitesse»), не удовлетворился заглядыванием в чужие окна, — он захотел приоткрыть чужие души, новейшие конструкции человеческих душ.

Дано 8 персонажей, воплощающих или, вернее, символизирующих сегодняшнюю Америку. Задано показать, что Европа постулирует Америку, а не наоборот.

Моран дает хронологический триптих: 1909—1919—1929. Мотивировка такова: четверо молодых американцев, оканчивая университет (конечно, Колумбийский), решили встречаться и подводить итоги пройденного пути каждое десятилетие.

Типы морановских американцев — неожиданны. Здесь нет ни Беббитов, ни механизованных миллиардеров, ни патентованных энергичных и жизнеспособных янки. Правда, эти четверо выходят из университета с очень американским лозунгом — быть «первыми в своем деле», но, добиваясь так или иначе этой цели (чемпионы мира!), они не успокаиваются, а разочаровываются и гибнут.

Четверо становятся: дипломатом, боксером, писателем и авиатором. Из них Огден Вебб, дипломат — наиболее

«американец». Он деловит, религиозен, энергичен и жизнерадостен. Ван Норден — тип меланхолического американца, утонченного и очень культурного. Рам, боксер, — человек нежнейшей души и болезненной совести. Наиболее интересен еврей Бродский. Евреем Моран сделал его не случайно, потому что Бродский — это прообраз «вечного жид», неизменный фермент брожения. В разгаре деятельности и известности он вдруг бросает все и решает уехать в РСФСР. Это наиболее эффектная вариация на тему «ухода», очень модную в западной литературе.

Диалог между Бродским и автором, скрывающимся за фигурой француза, преподавателя литературы (от лица которого ведется повествование), указывает, однако, на солидные «сдвиги», которые произошли за эти годы в уме европейца, сводящего «моральные счета» с Россией и Америкой.

«Они работают, как бешеные» — говорит Бродский об американцах. — Но зачем? Для того, чтобы не мыслить. И почему не смеют они мыслить? Потому что они все — расслабленные, инфантильные недоноски, без порыва и без морального чувства.

— Вы хотите ехать в Москву? Зачем? Чтобы найти там другую Америку, королей техники, кремлевские тресты, величайшую в мире армию?

— Там я буду ожидать лучших времен. Я больше не буду средним американцем, обутым Хананом, выбритым Жилетом, одетым Пальмоливом и транспортируемым Фордом.

— Чтобы стать средним пролетарием, наставленным Лениным, направленным Сталиным, обученным Бухариным?

— Я вышел из возраста игрушек. Мне надел вап рай для упитанных детей. Здесь играют в жизнь. Здесь играют с вещами. К вещам привешива-

ющий сталью иронии и сатиры вают нули. Я ненавижу вещи. Я хочу идей.

— Вы думаете в России найти свободу?

— Я хочу видеть людей. Я хочу уйти от искусственности в мир органического бытия. Я хочу жить среди людей, подобных мне, людей, которые все потеряли, у которых все впереди. Я хочу жить скверно.

— Я покидаю то, что пожирает, — я стремлюсь к тому, что производит».

Таков этот метафизический почти диалог, раскрывающий СССР «на взгляд Запада». Надо только сказать, что скептические реплики автора, конечно, ближе к пониманию действительности, чем «скифские» тирады Бродского, давно советской интеллигенцией пройденные, забытые и превзойденные.

Да, у нас «другая Америка», царство техники, тресты и единственная во всем мире армия, — Моран упустил только упомянуть такую пустячную вещь — как «социализм».

И может быть, вопреки здравому смыслу, Моран, у которого все-таки есть зародыши социального чувства, превращает свой роман в историю семейных дел и домашних неприятностей. Четыре американца гибнут (физически или морально), падая жертвами женщин. Женщин с большой буквы. Типы женщин даны — все со знаком минус. Что означает внезапное женоненавистничество Морана, неожиданно соприкоснувшегося здесь с Шардоном и Леграном? На языке криминалистов это называется «отводом».

Так ли серьезен этот пункт европейских тревог?

Социальное беспокойство существует на Западе.

Социальная тревога треплет флаги и нервы.

Дело тут, конечно, не в женщине.

Книжное обозрение

1. С. БЫСТРОВ «Красный вир». Т. Николаевой. — 2. ДЗАХО ГАТУЕВ «Гага-аул». Д. Фибиха. — 3. КОНСТАНТИН ФИНН «Мой друг». Бориса Гроссмана. — 4. З. ЧАГАН «Сегодня». «Бор. Левина. — 5. Д. ЧОНКАДЗЕ «Сурамская крепость». Р. Рош. — 6. ВСЕВОЛОД ЛЕБЕДЕВ «Полярное солнце». Н. Седова. — 7. ВИКТОР ФИНК «Евреи в тайге». Н. Матвеева. — 8. МАКС ЗИНГЕР «Сквозь льды в Сибирь». Т. Николаевой. — 9. А. М. АРШАРУНИ и С. Л. ВЕЛЬТМАН «Эпос советского Востока». Р. Рош. — 10. Н. И. ГРЕЧ «Записки моей жизни». И. Сергиевского. — 11. В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР «Дневник». К. Локса.

С. Быстров. — «Красный вир». Роман. Изд. «Молодая Гвардия». 1930 г. Стр. 224. Ц. 2 р. 50 к.

Быстров — молодой автор. «Красный вир» — первое произведение, вышедшее отдельным изданием. В основу романа писатель положил свой рассказ «Из Египта», напечатанный в 1925 г. в «Красной Нови».

В центре романа — глухая, нищая деревня, включенная в большой отрезок времени — от империалистической войны до социалистического строительства.

Повествование ведется от имени крестьянского парня Данилы. В первой части книги, окрашенной некоторым биологическим колоритом, автор справился со своей задачей, — показать процесс формирования психологии 13-летнего Данилы, у которого каждое новое событие вызывает острые, противоречивые импульсы. Но уже здесь начинает обнаруживаться творческая слабость Быстрова. Сложный социальный переплет, в котором находилась деревня во время империалистической войны и Октябрьской революции, дан в бледных, немощных красках. Совершенно обогие формы приняло у автора классовое расслоение крестьянства.

У молодого писателя нет основного, — остроты социального анализа. Отсюда — бесформенность многих политических, моральных конфликтов и неумение фиксировать свое внимание на нужных явлениях. Последнее целиком объясняет тот факт, что автор прошел мимо таких важных этапов формирования личности Данилы — строителя новой жизни, — как учеба на рабфаке и работа в комсомоле. Комсомол в деревне у писателя вообще является пустым местом. Вместо него автор самым безответственным образом демон-

стрирует перед читателем его представительницу — раскрашенную девушку Ольгуныку. Зато писатель обильно угощает нас любовными перипетиями Данилы и кулацкой дочки, в оценке которой сквозит явная мещанская направленность автора: «Это была настоящая, вкусившая города и городских пряных привычек барышня, чрезвычайно красивая и хрупкая и потому еще более привлекательная и милая».

Конфликт, образовавшийся в результате этой любви, повлекший за собой выход героя из комсомола, под пером автора потерял свою злободневную остроту, обесцветился, выхолостился до последней степени.

В итоге, несмотря на некоторое мастерство описательной техники, приходится признать книгу Быстрова беспомощной. Молодому автору необходимо значительно заострить силу своего творческого зрения.

Т. Николаева.

Дзахо Гатуев. — «Гага-аул». Роман. Изд. «ЗИФ». Стр. 107. Ц. 90 коп.

Процесс полнейшей перестройки всех сторон экономической и общественно-бытовой жизни, охвативший даже самые отдаленные национальные республики, входящие в Советский Союз, естественно, вызвал повышенный интерес широкой читательской массы к тому, что собой представляют и как живут братские народности и племена. Писатель не мог, не в праве был игнорировать эту законную любознательность. Мы являемся свидетелями расцвета социально-этнографической литературы. Уже не говоря о бурном росте чисто национальной литературы — украинской, грузинской, белорусской, тюркской

и др., — даже из среды писателей, пишущих на русском языке, выделялась целая плеяда художников-краеведов. К числу таких писателей принадлежит Дзахо Гатуев. Сам по происхождению горец, осетин, он пишет только о Кавказе. Суровый и величественный пейзаж, бедная и убогая жизнь горских племен, ломка перывыбитной, закоснелой в традициях адата и шариата психологии, перестраивающейся на революционный лад, — все это раскрывается перед читателем изнутри, сквозь призму уроженца данного края, без ложной романтики, без великодержавной снисходительности и высокомерности. Автор далек от голого эстетства, от холодка гурмагского любованья живописным, но чуждым фольклором. Вместе со своими темными, нищими и отрезанными от мира гага-аульцами живет Гатуев, болеет их сомнениями и горестями, радуется их удачам. В этом — основное достоинство романа.

Деятнадцатый год. Гражданская война, раздирающая Кавказ. Глухой, полугода отрезанный от мира Гага-аул, затерянный где-то в горах, вероятно, в Чечне или Дагестане. Люди не знают, что творится вокруг, кто победил — Деникин, большевики или турки. Крайне своеобразно и оригинально преломляются тут политическая борьба и лозунги Октября. «Меньшевики», — это те, кто стоят за старые традиции, напр., муллы и кадины, поклонники корана и шамилевских заветов. «Большевики» — энергичные новаторы, краем уха слышавшие о лозунгах революции, но выше всего ставящие личное благополучие. Таковы ловкий, хитрый торгаш Кашкар и жена его — властная и энергичная, застреливающая врага-кровника. Кашкар козыряет тем, что он «большевик», «прыдсыдатель рывкома», клянется в своей преданности советской власти, но в то же время организует мошеннический кооператив, закабаливший всех гага-аульцев, по своему усмотрению облагает аул продразверткой, которую забирает себе, подавляет всякий протест бедноты.

Когда, наконец, приходит в заброшенный Гага-аул Красная армия, Кашкар пытается спровоцировать темных, не понимающих русского языка горцев на вооруженное выступление.

Автор сочно и убедительно дал фигуру этого аульного Макиавелли. Гораздо бледнее, вернее, совершенно не показаны положительные фигуры — бедняки Махмуд, Гассан, Осман. Их психологический контур неясен, расплывчат. Они совершенно не запоминаются.

Так же не раскрыта до конца фигура Козицкого, начальника красноармейского отряда. Читатель остается в

недоумении, что представляет собой Козицкий, кто он такой и как раскрыл он козны Кашкара.

Отмечая положительные стороны книги (прекрасное знание материала, удачную стилизацию языка, в меру расцветченного народными преданиями, притчами, магометанскими мифами и легендами, наконец, свежесть в трактовке главных героев), все же надо отметить некоторую устарелость тематики, охватывающей эпоху гражданской войны. Современному читателю ближе и интереснее Кавказ наших дней — Кавказ новых гидростанций, заводов, фабрик, Кавказ индустриализующийся и почти впервые вырабатывающий кадры местного, национального пролетариата.

Д. Фибих.

Константин Финн. — «Мой друг». Повести и рассказы. Изд. «ЗИФ» М. Л. 1930. Стр. 151. Ц 1 р. 10 к

Книга свидетельствует о даровании автора, о его близости к темам, выдвинутым нашей эпохой.

Три вещи — рассказы «Мой друг», «Кровь», «Вторая ступень» — возвращают нас к гражданской войне и к восстановительному периоду. Автора интересуют люди, которые не чувствуют органической связи с революцией, не понимают (или по-своему понимают) ее. Революция их обескуражила, им кажется, будто земля потеряла стойкость. Они не враждебны советской власти, напротив, она избавила их от угнетения, бесправности и предоставила возможность улучшать жизнь. И все-таки персонажи Финна — люди растерявшиеся в революции, духовные инвалиды, чудаки. И, быть может, не случайна фамилия Чудакова (рассказ «Кровь»), чехоточного канцеляриста, который надеялся, что революция продлит его жизнь (он мечтал о Крыме).

Повесть «Вторая ступень» охватывает жизнь провинциального городка Сбищенска, куда все новое приходит поздно и отражается как в кривом зеркале. Предисполкома Савелий Горюшкин, захотевший обогатить город школой, пал жертвой собственной наивности и чужой подлости. Горюшкин-автор сталкивается с учителем Кобыкиным, музыкантом Курковым и другими обитателями Сбищенска, такими же беспомощными, как и он. Всякое новое-полезное дело их вдохновляет, но идти вперед они могут только на поводу.

Лучшая часть книги — «Земля». В этом цикле колхозных портретов автор с большой любовью говорит о людях, создающих новую жизнь. Пожалуй, один из наиболее характерных рассказов — «Доктор». Здесь хорошо показано рождение нового быта: переждаются вчерашние одиноличники, возникают иные отношения. Строители

колхоза с какой-то «святостью» относятся к детям, они видят в них конкретное, а не абстрактное будущее.

В выборе персонажей «Земли» автор не изменяет себе: его внимание привлекают люди со странностями, чудачки. Но в «Земле» их голоса звучат иначе, они позволяют автору по-своему и убедительно изобразить коллективизирующуюся деревню.

«Во второй ступени» и в других вещах преобладают созерцательность и пассивное отношение Финна к событиям. У автора спокойный тон (это не исключает романтической приподнятости), Финн любитесь статичностью положения. Он редко врывается в действие, активизирует материал. Показывая людей уходящих, автор не жалеет об их уходе, но «по-человечески» прощается с ними, как с умирающими. Обороты речи и выбор типов неизбежно заставляют вспомнить об авторе «Кон-армии». Некоторые персонажи воспринимаются даже как дублиеры (сравнить Мендла у Финна с Гедали Бабеля).

Являясь учеником Бабеля, невольно повторяя приемы и даже заражаясь иногда мироощущением его, Финн, однако, и тематически и формально постепенно освобождается от этого влияния, находит свое общественное «я», собственный подход к материалу.

Борис Гроссман

3. Чаган. — «Сегодня». Изд. «Молодая Гвардия». М. 1930 г. Стр. 207. Ц. 1 р.

Нашему советскому газетному очерку, наша критика, к сожалению, уделяет мало внимания. Очерковая литература — факт, мимо которого не пройдешь. В нее вошли не только газетники-публицисты, но и та часть писателей, которая хочет быть подвижной, которая ходит оперативно вмешиваться в жизнь, которая параллельно работе над большими фундаментальными произведениями хочет откликаться на события дня, на темпы социалистического строительства.

Очерк — сложное произведение, в котором переплетаются и беллетристический элемент, и публицистика, и в чистом виде политика.

Очеркист наших дней, приходя на завод, меньше всего будет просто описывать производство и больше всего возьмет социальную динамику предмета, даст социальную критику. Борьба за промфинплан, за колхоз, за нового человека (именно борьба) — вот темы сегодняшнего очеркиста. Не описать жизнь, а переделать ее — вот основная установка. Эта установка, несомненно, имеется и у газетного очеркиста тов. Чагана.

Прежде всего о тематике Чагана. Чаган ищет новое. Он ищет его находить и в индустриальной мощи Днепростроя, и в турбинах электростанции, и в пошехонском городе Чембаре.

Чаган дает захолустный городишко со всеми его «отливами и приливами», с сочным, густым бытом. В этом Чембаре он ищет возможностей для революционной переделки города.

Автор говорит о том, что он хочет «помечтать», как переделать Чембар, «помечтать» о том, чтобы Москва послала в Чембар людей науки, культуры, строителей, чтобы Москва переделала молодых чембарцев в новых строителей.

Тяга «помечтать» среди старого о новом нитью проходит через все очерки Чагана. Тут нужно сказать, что в публицистической части своих очерков Чаган не поднимается выше активной «мечтательности». У Чагана мягкость стиля иногда перерастает в политическую мягкость. По этой причине не во всяком очерке Чагана можно найти отточенный социальный костяк.

Чагану нельзя отказать в умении покопаться в фабричных буднях (очерки о Глуховской мануфактуре), где-нибудь в казарме, в квартире ткачихи. Он умеет проследить ткачиху от ткацкого станка, от банкноты до кухни, до домашнего хозяйства. И в этом отношении Чаган пытается брать тему глубоко. Переделку жизни через новую машину на фабрике он связывает с переделкой корявого быта. Придя на фабрику, он сразу же интересуется вопросом, как живут там, за пределами фабричных ворот. «За пределами ворот ново-ткацкой — жизнь, расходящаяся с мерным ритмом машин. Жизнь, не поглядывающая на стрелку часов, ворующая у людей драгоценное время, сеющая раздражение, брань, озлобление». Чаган умеет дать противоречия между «режимом станков» и режимом всей остальной жизни в Глухове. В этом особенность интересных очерков о Глухове.

Особняком в рецензируемой книжке стоит часть ее, озаглавленная «Движение», где автор дает пафос строительства, очерки об электростанции, о Днепрострое, о карте пятилетки («две карты»).

Путь Чагана — газетного очеркиста — еще не до конца определен. Но в группе молодых очеркистов, выдвинутых газетами за последние годы, в частности «Комсомольской Правдой», Чаган, несомненно, уже приобрел свое индивидуальное, интересное лицо.

Борис Левин.

Д. Чонкадзе. — «Сурамская крепость». Перевод с грузинского под ред. и с предисловием Г. Я. Тавзарашивили. (Творчество народов СССР). Гиз. 1930. М. — Л. Стр. 80. Ц. 50 к.

Изыщная повесть грузинского писателя 50-х гг. прошлого столетия входит по своей манере и тематике в широкий круг романтической прозы, раз-

работавшей мотивы кавказской экзотики. Действительно, романтический инвентарь щедро применяется автором: в повести Чонкадзе фигурируют и великодушный разбойник, преследуемый образом своей окровавленной жертвы, и старуха-ведьма, приютившаяся на заброшенном пустыре, и покинутая возлюбленным красавица, вступающая в союз с нечистой силой для мести неверному. В построении повести, данной в обрамлении беседы друзей, чувствуется реминисценция обрамленных сборников романтизма и вальтер-скоттовой манеры мотивировать введение форм устного сказа.

Но романтический инвентарь — и этим Чонкадзе выгодно отличается от русских скоттианцев — не является для грузинского писателя самоцелью: он — лишь удобная форма для глущего протеста против совершенно реальных злоупотреблений крепостным правом на родине поэта.¹⁾ Легенда об основании «Сурамской крепости «на человеческой крови» служит лишь основной нитью повествования, скрепляющей ряд эпизодов, обличающих уродства «рабства».

«Пока мы являемся рабами своих господ, мы не можем быть счастливы», — решительно заявляет автор устами одного из своих героев.

В этом отношении весьма показательное наличие в повести Чонкадзе реминисценций (или совпадений?) наиболее крупного антикрепостнического произведения эпохи — «Хижин дяди Тома», в частности беседа Дурмишхана и Гулисварди, с которой начинается действие повести, почти скопирована с аналогичной сцены между Джорджем и Элизой.

Эти совпадения, также как и вся установка повести, заставляют нас несколько критически отнестись к попытке т. Тавзарашвили — автора весьма интересной и содержательной вводной статьи разбираемого издания — представить Чонкадзе идеологом крестьянской революции, осознавшим уже процесс начинающейся капитализации грузинской деревни. Нисколько не желая преуменьшить значение Чонкадзе в истории развития общественной мысли Грузии, мы все же не можем не видеть в его «Сурамской крепости» лишь отображения мелкобуржуазного радикализма, видевшего в «освобождении крестьян» нападку от всех зол. Ни тематика, ни аргументация повести не идут дальше обличения «богачей», «думающих, что крестьяне лишены сердца» (стр. 30). Проблема же положения «освобожденного крестьянина» совершенно ускользает от автора: его Дурмишхану достаточно получить свобо-

ду, чтобы разбогатеть, правда, совершенно сказочным способом.

Перевод повести Чонкадзе нельзя не приветствовать: представляя большой интерес для широкого читателя как образец одного из ранних этапов развития новогрузинской литературы, она вместе с тем дает ценный материал для историка русской литературы благодаря общности ряда мотивов с «Грузинской ночью» Грибоедова.

Перевод безыскусственен, читается легко; введение переводчиком ряда грузинизмов представляется вполне уместным. Примечания будут очень полезны для русского читателя, незнакомого с бытом Грузии (на стр. 23 следует исправить примечание: «хурджини» не «спинной мешок», а «переметная сумка»); кое-где их следует увеличить.

Р. Р. Ш.

Всеволод Лебедев. — «Полярное солнце». Изд. «Федерация». М. 1930. Стр. 139. Ц. 1 р.

Во многих отношениях книга записей В. Лебедева о советской Лапландии — оригинальное явление в современной очерковой литературе. Ценно в ней прежде всего наличие культурно-философской установки, предпринявшей большую содержательность книги. Рядом художественных картин автор наглядно доказал пространственную стихию полукочевого народа — лопарей и их безмятежное, детское отношение к времени. Отсюда в книге возникает образ лопаря — жителя ограниченного пространства. В переводе на публицистический язык это означает косность, культурную окаменелость. Лопари живут в замкнутом, локализованном пространстве — тундре. Тундра определяет весь рисунок и объем их жизни: экономику, эпос, семью. Соответственно этому весь тонус лапландского существования протекает вне ощущения времени, вне чувства историзма, исчезнувшего у них в веках безнадежно-скудного существования.

Конечно, в книжке В. Лебедева не содержится ничего абстрактного, подобно вышесказанному: в ней есть картинный материал, дающий право на обобщение. В ней все это дано через образы людей, природы, оленя, этого центрального персонажа книги, который и умирает — так же как бы забывая жизнь. Подражая оленю, лопари умирают так же не исторично, покорно, просто, тихо. Даже в воспоминаниях, этом наиболее «историческом» процессе, они путаются: события пятилетней давности кажутся им событиями вчерашнего дня. А ведь подумать только: лопари — потомки викингов!

Очень легко было автору идеализировать то необычайное и поистине героическое, чем живет каждодневно этот народ в борьбе за кусок рыбы или жи-

¹⁾ Повесть Чонкадзе напечатана в 1859 году, крепостное право в Грузии отменено в 1864 г.

ра. Упрямая самобытность лопарей просится в поэму. Но В. Лебедев все время на-стороже. Показанная им в морфологическом разрезе лопарская культура вправлена во встречную перспективу — в сторону приобщения лопарей к советской культуре. Его совсем не очаровывает антивещественный быт оленеводов, пронесший от нищеты. Он знает, что без включения этого быта в общий поток социального освобождения лопарская жизнь еще более замкнется в неподвижности пространства. Когда народ не знает лучшего способа «борьбы» с препятствиями, как «повернуться и уйти», то надо действовать.

Но как это сделать? Тут автор поступает, к сожалению, совершенно хирургически. Изображая советскую стройку на Мурмане, происходящую бок-о-бок с лопарскими землями, он совсем не дает и даже не чувствует образов и способов втягивания лопарей в нечто чуждое для них культуру, не раскрывает путей освобождения от мифов, этих деспотов их существования. «Политику» В. Лебедев недостаточно чувствует. Мало того: есть в книжке даже сильный привкус «культуртрегерства». «Мы полюбим и поможем лопарям» — особенно вторая часть этого обещания звучит смутно. Поэтому-то забота о сохранении этнических ценностей может не осуществиться, и лопарь вовсе возмечтает об электричестве. Принципы национальной политики советской власти только внешне восприняты автором.

Разрыв, имеющийся в книге, только отчасти зависел от «двойного» метода изображения, примененного В. Лебедевым: вначале дать образ лопарской жизни «изнутри», глазами лалландцев, через «перевоплощение», а потом стать на позиции людей, культивирующих север. Прием этот может дать эффект только в случае синтетического объединения двух частей. В книге же миф и электричество существуют пока что раздельно даже в помыслах автора. Культурно-философская установка «Полярного солнца» содержит один лишь слагаемые правильного метода, — и не ею ли обусловлена некоторая отчужденность книги от практических запросов времени?

К особенностям очерков относится их, так сказать, скорописная манера: автор все время куда-то спешит, боится как бы что-то забыть, упустить и поэтому стремится поскорее набросать на бумагу пережитое. В результате получился набросок чего-то очень важного и глубокого. В. Лебедев — несомненный художник, сумевший при всей спешке и при всем влечении к ответственнойшей «проблематике» все-таки дать образы и черты народа, по-

забывшего свою историю, но долженствующего вспомнить и продолжить ее.

Н. Седов.

Виктор Финк.—«Евреи в тайге» (Евреи на земле. Книга вторая). Изд. «Федерация». М. 1930 г. Стр. 293. Ц. 1 р. 50к.

Книга очерков В. Финка посвящена большому и острому вопросу о переходе трудящихся евреев на земледелие; она открывает в значительной степени «новую землю» (Биробиджан на Дальнем Востоке) и новых людей на ней. Все эти бесчисленные, как песок морской, искатели «еврейского счастья», герои штампованных еврейских анекдотов, стандартные представители местечек бывшей «черты оседлости» — все эти мятущиеся Лейзеры, Фридманы показаны здесь в непривычной и героической роли пионеров глухих таежных мест. Биробиджан! Вот слово, успешшее за три года породить споры, сомнения, разочарования и радости и утвердившееся, наконец, в сознании как нужное слово.

В. Финк к месту приводит официальную справку из постановления ЦИК Союза от февраля 1928 г. об образовании на территории указанного района еврейской административно-территориальной единицы, но не разъясняет почему-то большого смысла и целей именно этого акта, вытекающего из великих призывов национальной политики социалистического государства. Проявляющийся иногда у него изобразительно-очеркистский зуд, сказавшийся в погоне за острым и красивым словом, повидимому, и был причиной этого как бы невольного пренебрежения политической стороной вопроса. Отбросив же этот недостаток, очерки его дают разнообразнейшую и реальную картину заселения Биробиджана. Не участвуя прямо в спорах, не становясь открыто на позицию ни т. Ларина (противника Биробиджана), ни горячих защитников тайги, постоянно борясь с вполне естественным скептицизмом (надо принять во внимание ужасающую отдаленность края, неподготовленность Озета и переселенческого управления к колонизации, отсутствие у местечковых евреев навыков к земледелию, сверхестественные факты головоунытия, националистические увлечения — обо всем этом в книге материала вполне достаточно), автор в конце концов убеждается в абсолютной необходимости и выполнении, по его выражению, «безумного опыта». Беллетристическими мазками, без всякого уныния и даже с излишней веселостью и юмором он непринужденно раскрывает подробности первых двух труднейших лет заселения.

Вслед за далькрайкомом он заметил и осудил коренную ошибку колонизации, — выразившуюся в насаждении

карликовых хозяйств вместо крупных коллективов, наиболее осуществимых и эффективных именно в тайге, на пустом месте, в самом начале дела.

Книга была бы неполна, если бы автор спрятал «фон», т. е. не показал бы старожиллов края — амурских казаков. Встреча последних с евреями особенно интересна с точки зрения антисемитизма. С этой стороны «погибельный» Биробиджан совершенно почти свободен от ужасного наследия веков: во-первых амурские казаки не имеют юдофобских привычек, и, во-вторых, переселенцы здесь осели на девственных землях. Есть в книге очень живые сцены, с очевидностью свидетельствующие о благополучии в этом отношении. Это дало повод одному увлекающемуся колонисту прямо сказать, что теперь-де в Биробиджане нет евреев, а есть бывшие евреи. Не разделяя этого увлечения, автор, однако, констатирует факт гораздо большей уверенности у таежных колонистов в своем будущем, чем он это наблюдал в Крыму.

Рецензия не дает возможности передать всего животрепещущего содержания очерков. Отсылаем поэтому читателей с глазу на глаз познакомиться с книгой В. Финка:

Н. Митчев

Макс Зингер.—«Сквозь льды в Сибирь». Очерки Карской экспедиции. Изд. ЗИФ. М. 1929 г. Стр. 158. Ц. 1 р. 20 к.

Повышенный интерес советской общественности к проблеме советского Севера заставляет нас отнестись внимательно к каждому новому «полярному» документу. Почти все советские северные экспедиции нашли свое отражение в художественно-очерковой литературе. Поход Карской экспедиции 1929 г. во главе с ледоколом «Красным» зафиксирован в очерках участника этого похода Макса Зингера.

«Красин» с успехом выполнил возложенную на него ответственнойшую задачу: он провел через льды 28 иностранных пароходов в низовья великих сибирских рек, Оби и Енисея, где был произведен товарообмен заграничных машин на русский лес. На Игарке по Енисею благодаря этому начало бурно развиваться строительство. На вечно мерзлой почве вырастают заводы, электростанции, создается первый в СССР полярный лесозавод.

Карская экспедиция имеет громадное экономическое и научно-политическое значение. Она является предварительным этапом в трудном и медленном процессе культуризации нашей Арктики.

Зингер оказался добросовестным этнографом-наблюдателем. Широко и подробно описан в его книге весь героический поход «Красина», стальной грудью пробивающего дорогу через ледяные поля целой флотилии пароходов,

которые без помощи ледокола представляли бы жалкую игрушку в руках мощной стихии. Детально зарисована ежедневная, будничная работа «Красина».

Автор, однако, не ограничился только этими описаниями: в дневник занесены встречи с энтузиастами советского Севера, картины строительства на Игарке и т. д.

Очерки Макса Зингера представляют интерес для советского читателя.

Т. Николаева.

А. М. Аршаруни и С. Л. Вельтман.—«Эпос советского Востока». Дореволюционные и послеоктябрьские мотивы. Изд. «Academia». Л. 1930. Стр. 130. Ц. 1 р. 50 к.

Обратить внимание широкого круга читателей на богатства устных литератур многонационального советского Востока; подчеркнуть важность изучения этого материала как в литературном, так и в политическом отношении; наконец, наметить огромный сдвиг в формах устной литературы отсталых масс восточного крестьянства, отображающий послеоктябрьскую коренную ломку архаических форм экономики и быта, — таковы задачи небольшого, но содержательного очерка Аршаруни и Вельтмана. Задачи эти разрешены в очерке вполне удачно: умелым подбором цитат, рядом хороших переводов, наконец, не всегда известными даже специалисту изумительными легендами «Ленинского цикла» авторы убедительно раскрывают перед читателем специфические черты старой и новой поэзии советского Востока. Следует отметить к тому же, что содержание очерка значительно шире его заглавия: авторы — методологически вполне правильно — не ограничились анализом эпических произведений устной литературы, но и включили в свой очерк ряд глав, посвященных лирической продукции народов советского Востока («Трудовые песни», «Туркменская женская поэзия», плачи о Ленине; в частности анализ армянской рабочей песни принадлежит к числу наиболее удачных отделов первой части очерка).

Однако, на ряду с удачным разрешением задачи очерка в целом, в нем нельзя не отметить ряда существенных пробелов, именно в первой его части. С одной стороны, авторы порой не использовали имевшейся в их распоряжении богатой литературы, обращаясь к сомнительным по своей достоверности «поэтическим переделкам» народного эпоса: нельзя не удивиться, напр., что вместо переводов Радлова, в основу характеристики казакского и киргизского эпоса положена... поэма второстепенного сибирского поэта (стр. 28 и др.). С другой стороны, характеристику

то или иное явление национальной литературы, авторы обычно рассматривают его изолированно, отрывая от аналогичных явлений других национальных литератур: разве не следовало при характеристике армянских ашугов дать характеристику ашугов тюркских, разве не напрашиваются при анализе религиозных легенд и трудовых песен Армении параллели из грузинской литературы? Кстати, поэзия Грузии, как и песня крымских татар, пожалуй, не слабее дагестанской отражающая острую ненависть к национальным угнетателям, как и ойратский эпос, по богатству и красочности не уступающий казакскому, совершенно пропущены авторами.

Пусть проблемы эти вполне естественны при том изумительном богатстве материала, охватить который можно, вероятно, вообще лишь соединенными усилиями, коллективной работой многих специалистов. Но все же эти пробелы до известной степени искажают общую картину, уменьшая типологическую значимость отмечаемых фактов и затемняя моменты международного обмена сюжетами и художественными формами, — моменты, в отношении Кавказа, во всяком случае, уже отмечавшиеся исследователями (Вс. Миллер, акад. Н. Марр). В тесной связи с указанным здесь недостатком находится другой недочет, рецензируемого очерка — недостаточная углубленность социологического анализа описываемых форм. И этот недочет выступает главным образом в первой части очерка, где слишком часто авторы оперируют неясным, уже осужденным в современной фольклористике понятием «народного» (см., напр., стр. 15, 31, 39, 64), тогда как социологический анализ позволил бы здесь порой раскрыть отнюдь не созвучную современности идеологию «крепкого крестьянства» и даже феодальных верхов. Только недостаточным социологическим анализом можно объяснить и совершенно ошибочную характеристику русского фольклора (стр. 9, 10 и 65). Те отделы, где авторы все же применяют социологический метод, — как отмеченная выше глава о рабочей песне Армении, — лишены подобных лягушечек и дают более точную и ясную картину связи фольклорных форм с экономикой и общественной жизнью.

Вторая часть очерка дает весьма интересный социологический анализ уже сложившегося у народов советского Востока легендарного ленинского цикла, при чем выводы авторов оказываются в некотором противоречии с их первоначальным тезисом (стр. 67). Единственной неточностью этой второй части очерка представляется нам отсутствие указаний на параллели к «Ленинским легендам»: авторы как-будто

склонны рассматривать каждую легенду как новаторство эпохи, тогда как в действительности мы часто имеем приращение к имени Ленина не только традиционных фольклорных мотивов, но и законченных сюжетов, частью житейного (легенда о Ленине и гадах), частью сказочного характера (сказка о двух братьях).

Отмеченные недочеты отнюдь не личат очерка Аршаруни и Вельтмана того значения, о котором уже говорилось в начале, они подтверждают лишь мысль, высказанную авторами очерка в предисловии, мысль о необходимости тщательного изучения фольклора советского Востока, при том изучения коллективного и длительного.

Издана книга хорошо; при переиздании необходимо будет дополнить список объясняемых слов (необъясненными остались, напр., «сай» «каджар», ряд имен собственных), а также основательно переработать библиографию по дореволюционному фольклору советского Востока, включив в нее, напр., указания на труды Радлова, Шмидта, Хаханова, ак. Марра (об осетинском фольклоре), Владимирцева и др., дав обзорные многочисленные переводы, погребенных в «Сборниках по описанию племен и местностей Кавказа», «Этнографическом Обзоре» и т. п., неизвестных не-специалисту — читателю повременных изданий.

Р. Гош.

Н. И. Греч. — «Записки о моей жизни». Текст по рукописи под ред. и с коммент. Иванов-Разумника и Д. М. Пинеса. Изд. «Academia». М. — Л. 1930. Стр. 896. Ц. 4 руб., пер. 75 коп.

«Записки» Греча адресованы не к широкому читателю. Они громоздки, многоречивы, уснащены множеством всяческих узко-биографических и даже генеалогических подробностей. Чтобы отделить в них важное от неважного, серьезное от пустяка требуются довольно развитые навыки в обращении с мемуарной литературой.

Еще сложнее, пожалуй, отделить в них правду от вымысла, а иногда и от прямой клеветы. Признанный идеолог николаевской монархии, отдавший на служение ей все свои силы и все свои незаурядные способности, Греч-мемуарист не был и не мог быть до конца объективным. И, несмотря на то, что «Записки» писаны им в середине прошлого века, когда сам он был уже глубоким стариком и когда его литературное имя уже покрывалось мраком забвения, все же симпатии и антипатии, свойственные ему в период наибольшего расцвета его литературной славы, отразились в этих «Записках» достаточно полно.

Разумеется, это не служит еще основанием к тому, чтобы объявить настоя-

щее издание во всех отношениях ненужным и несвоевременным. Несмотря на все свои структурные, так сказать, дефекты, «Записки» тем не менее представляют собою один из наиболее полноценных памятников литературной и культурно-бытовой истории первых десятилетий прошлого века. Охваченный ими материал широк и многосторонен, набрасываемая в них картина идейных и бытовых отношений эпохи ярка и выпукла, отдельные характеристики рельефны и убедительны.

Несмотря на политический обскурантизм Греча и его не всегда чистоплотное социальное поведение, нельзя забывать, что для своего времени это был деятель исключительного размаха и исключительного значения.

В общем редакция правильно подошла к своей задаче, не гонясь за излишней популяризацией редактируемого памятника, не увлекаясь реальным комментарием, уделяя достаточно внимания собственно текстовым вопросам. Выяснилось, между прочим, что «Записки» представляют собою не одно целое, а слагаются из трех самостоятельных, обособленных частей, которые в старом суворинском издании были объединены совершенно произвольно и механически.

Но даже для такого специального, рассчитанного на узкий круг квалифицированных читателей издания этого безусловно недостаточно. За счет реального комментария надо было максимально развернуть комментарий критический, дать детальный анализ фактической стороны «Записок», проследить, как социально-политические установки Греча отразились в подборе и интерпретации охваченного им материала. Вместо этого этого редакторы бросают несколько беглых фраз о недостаточной достоверности «Записок», считая, повидимому, что больше ничего и не требуется. Такого рода редакционная недоработанность сильно снижает ценность издания. Образцом того, как нужно издавать враждебных нам идеологов социальных формаций прошлого, оно во всяком случае являться не может.

И. Сергиевский.

В. К. Кюхельбекер. — «Дневник». Материалы к истории русской литературной и общественной жизни 10—40 годов XIX века. Предисловие Ю. Н. Тынянова. Редакция, введение и примечание В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. Изд-во «Прибой». Стр. 372. Цена 2 р. 75 к.

Дневник В. Кюхельбекера, начатый им в одиночном заключении в Ревельской цитадели в 1831 г. и доведенный почти до 1846 г., привлекает к числу интересных исторических докумен-

тов. В этом дневнике образ «Кюхли», недавно оживленный романом Тынянова, выступает с полной законченностью. Перед нами трагический облик декабриста, стойко переносившего свою участь в самых тяжелых условиях одиночного заключения и спасавшегося по-своему — любовью к поэзии: «С новым годом, — отмечает он, — моя тоска совсем прошла: обыкновенное мое лекарство — поэзия, наконец, подействовало». Собственно, этому «лекарству» преимущественно и посвящен дневник — заметки о литературе, критические рассуждения наполняют его почти целиком. Литературная жизнь Кюхельбекера оборвалась в 1825 г., в последующие двадцать лет его вкусы почти не изменились, и мы в неприкосновенности располагаем отзывами о книгах и писателях просвещенного читателя и поэта 20-х годов, обладавшего, хотя и небольшим, но все же подлинным дарованием. Особенно интересен дневник Кюхельбекера любителю литературных мелочей и забытых имен. Внимательно перечитывая каждую книгу, каждый номер журнала, случайно попавший к нему, он воскрешает в нашей памяти забытые имена Подолинского, Тимофеева, Кукольника, Вельтмана и др. Теперь, когда забытые имена снова начинают входить в контекст литературы и журналистики, напоминание о них не бесполезно. Литературные вкусы самого Кюхельбекера вырисовываются в этих разбросанных замечаниях хотя и не систематически, но достаточно отчетливо. Они любопытны для нас отголосками литературных споров 10—30-х годов: Шишков и Карамзин, Пушкин и Грибоедов. Различные цели и задачи поэзии как стилистические, так и тематические — вот основная линия этих споров. К этому нужно прибавить, что сам Кюхельбекер, сложившийся отчасти под влиянием немецких романтиков и философии Шеллинга, принадлежит к числу сторонников так называемой «глубокой» поэзии, ставящей себе огромные, «мировые» в немецком смысле этого слова, задачи. Вот почему, несмотря на всю свою любовь к Пушкину, Кюхельбекер часто не понимает его. На него самого, кстати сказать, эти мировые задачи поэзии оказали влияние довольно пагубное. Достаточно перечитать заглавия его литературных опытов, чтобы понять, насколько неправильно он соизмерял свои собственные силы с темами истинными и не жизненными, идущими от интересов главным образом литературных. В самом деле, в числе его произведений мы найдем и «трагедию-мистерию», и просто две трагедии на темы античности, и такие поэмы, как «Вечный жид», «Давид» и т. д. Пристрастие же к Державину и XVIII

веку отяжелило его словарь и во многом оправдывает известные эпиграммы Пушкина, впрочем, сердечно любившего его.

Дневник Кюхельбекера в значительной своей части поступал в цензуру коменданта крепости, поэтому, естественно, о самой жизни узника мы узнаем мало. Некоторые случайно сохранившиеся строки свидетельствуют о тягчайших переживаниях. Но они же лишний раз подчеркивают его душевную стойкость и бодрость. Доведенный почти до самой смерти, дневник рисует облик стойкий и благородный, чрез-

вычайно скромный и простой, исполненный той детской прелести, которая и привязывала к нему друзей.

Научный аппарат книги, предисловие и примечания к ней выполнены с большой тщательностью и вполне вводят в курс литературных и отчасти политических событий 20—40-х годов. Не лишней была бы статья о жизни декабристов в Сибири. Некоторые замечания в дневнике по этому поводу сами напрашиваются на более обширный и увлекательный комментарий.

К. Локс.

П О П Р А В К И:

В десятой книге «Нового Мира» в романе «Гидроцентральный» Мариэтты Шагинян допущены следующие опечатки:

		Напечатано:	Надо:
Стр. 110	строка 17 сверху	челюсти актера	челюсти, — актера
» 112	» 7 снизу	трудностей	традиций
» 114	» 11 сверху	вплывал	вплывал
» 114	» 15 сверху	ногах полотера	ногах, — полотера
» 114	» 29 сверху	высасывайте логику,	высасывайте, — логику.
» 114	» 7 снизу	ко всей	во всей
» 115	» 25 снизу	объяснить	объяснять
» 117	» 9 сверху	стал	стал бы
» 120	» 10 снизу	старинный	старый
» 124	» 16 снизу	будящая	будущая
» 124	» 13 снизу	получилась	получалась

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Книга в 1928 году. Систематический указатель книг. Составил Е. И. Шамураш. О приложении статьи М. Н. Куфаева «Книговедение в 1928 г.» (Ежегодник Госуд. Центр. Книжной палаты. Вып. IV). Стр. 700. Ц. 7 р. 50 к.

Единая программа для начальных общеобразовательных школ взрослых (школ малолетних). Город и деревня. Утверждено учебно-методическим НКП. Стр. 15. Ц. 4 к.

Микаэлян, Карен. — Новеллы. Перевод с армянского. Стр. 144. Ц. 1 р. 10 к.

Ботев, Христо. — Избранные произведения. Пер. стихотворений С. Городецкого. Пер. прозы О. Говорухина. Редакция «Вступительная статья Г. Вакалова. Стр. 189. Цена 1 р. 50 к.

Теодорович, И. А. — О Горьком и Чехове. Стр. 74. Ц. 40 к.

Гэвнций, В. — Черное озеро. Роман. Пер. с укр. Стр. 344. Ц. 2 р. 25 к.

Вилькинсон, Элен. — Схватка. Роман. Пер. с английского. Стр. 320. Ц. 1 р. 75 к.

Выготский, Л., Геллерштейн, С., Фингерт, Б. и Ширвиндт, М. — Основные течения / современной психологии. Стр. 283. Ц. 2 р. 15 к. Пер. 25 к.

Программы Ф. З. О. Стр. 358. Ц. 65 к.

Программы для рабочих факультетов. Русский язык и литература. Стр. 29. Ц. 20 к.

Всероссийское Учредительное Собрание. Подготовил к печати И. О. Малчевский. (Центрархив. 1917 г. в документах и материалах). Стр. 219. Ц. 2 р.

«Литература и искусство». Журнал марксистской критики и методологии. № 1. Орган Института Литературы, искусства и языка Комкадемии. Стр. 192. Ц. 1 р. 50 к.

Марьяш, П. — Из века в век. Пер. с еврейского. С вступит. статьей И. Нусанова. Стр. 272. Ц. 2 р. 50 к.

Слисаренко, О. — Черный ангел. Роман. Пер. с украинск. Предисл. А. Белецкого. Стр. 221. Ц. 2 р.

Бузько, Дм.—Чайка. Роман. Пер. с укр. Вступит. статья Ник. Новицкого. Стр. 176. Ц. 1 р. 65 к.

Бергельсон, Д.—Бурные дни. Рассказы. Пер. с еврейского. Стр. 220. Ц. 1 р. 75 к.

Донбасс ударный. Литературный сборник. Стр. 198. Ц. 70 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Омиров, С. — Гарь. Роман. (Новинки пролетарской литературы). Стр. 240. Ц. 2 р.

Шаррер, Адам.—Без отчества. (Первая книга о войне, написанная рабочим). Пер. с немецкого. Стр. 286. Ц. 1 р. 50 к.

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ»

Тихонов, Н. — Анофелес. Рисунки В. Конашевича. Стр. 140. Ц. 1 р. 40 к. Пер. 25 к.

«ФЕДЕРАЦИЯ»

Дубинская, Т. — В окопах. Повесть. Стр. 257. Ц. 1 р. 50 к.

Финк, В.—Евреи в тайге. («Евреи на земле». Книга вторая). Стр. 293. Ц. 1 р. 50 к.

Смирнов, Мих.—Поток. Поэмы. Стр. 59. Ц. 85 к.

Кацов, Леонид. — Сквозь плен. Стр. 257. Ц. 1 р. 40 к. Пер. 20 к.

Пелузо, Эдмондо. — Гражданин мира. Очерки. Стр. 161. Ц. 1 р. 30 к. Пер. 20 к.

Острогорский, Н. И. — Выдвиженцы. Рассказы, очерки. Стр. 64. Ц. 30 к.

Навленко, П. — Стамбул и Турция. Стр. 217. Ц. 1 р. 85 к.

Ковин, Леонид. — Дурь. Повести. Стр. 127. Ц. 80 к.

Никулин Л. — Письма об Испании. Стр. 307. Ц. 2 р. 110 к.

«Советская карикатура». Вып. 2-й. Н. Э. Радлов. Вступит. статья К. Фединя. Стр. 68. Ц. 1—35 к.

Львов, Петр. — Пустырь. Роман. Стр. 282. Ц. 2 р. 50 к. Пер. 20 к.

Новиков, Андрей.—Гоночное поле. Стр. 109. Ц. 60 к.

Третьяков, Сергей. — Вызов. Колхозные очерки. Стр. 323. Ц. 2 р. Пер. 20 к.

Эфрос, Абрам.—Рисунки поэта. Стр. 366. Ц. 2 р. 75 к. Пер. 20 к.

Лидия, Вл. — Путина. Стр. 79. Ц. 60 к.

Ловцов, Н. — Чума. Повесть. Стр. 205. Ц. 1—30 к.

Гавриков, В. — Подпольные жители. Стр. 142. Ц. 75 к.

Полетаев, Н.—Стихи. Книга первая. Стр. 110. Ц. 1 р. 20 к.

Дубинский, И. — Перелом. Стр. 110. Ц. 60 к.

«Писатели—ударникам». Литературно - художественный сборник, посвященный борьбе за промфинплан. Стр. 115. Ц. 75 к.

ИЗД. РУССКОГО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Омов, Н. М.—Состав книговедения. К построению системы книговедения. Стр. 98. Ц. 1 р. 50 к.

ИЗД. «ПРОЛЕТАРИЙ»

Юрезанский, Вл. — Алмазная свита. Роман. Стр. 303. Ц. 1 р. 60 к.

«З И Ф»

Франс, Анатоль. — Восстание ангелов. (Полн. собр. соч. том. XVIII). Пер. с франц. Стр. 238. Ц. 1 р. 35 к.

Уэллс, Г. Дж. — Мистер Блетсворти на острове Рэмполь. Пер. с англ. Стр. 298. Ц. 1 р. 75 к.

Новикова-Вашенцева, Е. — Маринкина жизнь. Повесть. Стр. 286. Ц. 1 р. 95 к.

Шираев, Петр.—Внук Тальони. Роман. Первое—второе издание. Стр. 221. Ц. 1 р. 40 к. Пер. 35 к.

Берендгоф, Николай. — Тринадцатый год. Стихи. Стр. 48. Ц. 75 к. Пер. 25 к.

«РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Вокруг Москвы. Эскурсии. Составили Д. Валяш, А. Воронков и др. Под редакц. Д. А. Рейнко. (Турнизм и экскурсии. Вып. 1). Стр. 278. Ц. 1 р. 55 к.

«ПРИБОЙ»

Клязьминский, Н.—Молодой человек. Рассказы (ЛАНП). Стр. 167. Ц. 1—15 к.

ГОС. ИЗД. УКРАИНЫ.

Петяков, Григ.—Книга избранных стихотворений. Стр. 100. Ц. 1 р. 50 к.

Содержание журнала „Новый Мир“ за 1930 год ¹⁾

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

Асеев, Ник. Санаторий. Повесть. VIII-IX — 42. X — 58.
Вересаев, В. Первая волна. Отрывок из романа «Сестры». XI — 5.
Горев. Первый день. Рассказ. I — 134.
Долгих, А. Кариатида. Повесть. VIII-IX — 68.
Зощенко, Мих. М. П. Синягин. Повесть. XII — 112.
Иванов, Всеволод. Б. М. Маников и работник его Гриша. Повесть. X — 95.
Касаткин, Ив. Площадь. Рассказ XII — 61.
Касаткин, Ив. Ходоки. Рассказ. VIII-IX — 33.
Леонов, Леонид. Соть. Роман. I — 5. II — 5. III — 5. IV — 5. V — 12.
Лидин, Вл. Мужество. Рассказ. II — 111.
Лидин, Вл. Песня (Из книги «Путина») VIII-IX — 90.
Макаров, Иван. Остров. Рассказ. I — 79.
Малеев, Иг. Измена. Рассказ. II — 54.
Мальшкин, А. Севастополь. Повесть. (Последние главы). XI — 38. XII — 20.
Низовой, Павел. Поэма о профессоре. IV — 100.
Никифоров, Георгий. На земле (Из романа «Встречный ветер»). VI — 51.
Новиков-Прибой, А. Гибель «Осляби» (Отрывок из будущей книги «Цусима»). X — 49.
Одоев, Ник. Диадема. Рассказ. IV — 47.
Одоев, Ник. Возрожденный мастер. Рассказ. XI — 114.
Пан, Петро. Муха Макар. Рассказ. Авторизов. перевод с украинского В. Юрезанского. VII — 47.
Сверчков, Дм. В десятом часу. Повесть. V — 37.
Сергеев-Ценский, С. Как прячутся от времени. Рассказ. VII — 65.
Серебрянова, Галина. Роса. Рассказ. III — 62.
Слетов, П. Заштатная республика. Роман. VII — 5. VIII-IX — 5. X — 5. XI — 62. XII — 87.

Соколов-Микитов, И. Заморские рассказы. V — 101.
Спасский, С. Остров песцов. Рассказ. XI — 130.
Толстой, А. Петр Первый. Повесть. Часть вторая первого тома. I — 115. II — 118. III — 100. IV — 85. V — 75. VI — 79. VII — 86.
Шагинян, Мариэтта. Гидроцентральный. Роман. I — 91. II — 79. III — 45. IV — 78. V — 59. VI — 5. VII — 108. X — 108.
Ширяев, Петр. Из книги о 1905 г. XII — 5.
Шишков, Вяч. Бродячий цирк. Повесть. VI — 24.

С Т И Х И:

Александровский, В. Браунинг. VI — 103.
Асеев, Ник. Белый берег. I — 77.
Асеев, Ник. Последний разговор. V — 5.
Ассанов, Николай. Бигичи. I — 143.
Багрицкий, Э. Происхождение. XI — 108.
Багрицкий, Э. Итак — бумаге терпеть не в мочь. XI — 109.
Багрицкий, Э. Весна, ветеринария. XI — 112.
Болохин, П. Жена комиссара. II — 77.
Васильев, Павел. Ярмарка. II — 117.
Васильев, Павел. Сестра. VI — 102.
Вячеславов, Павел. Моя весна. VI — 100.
Герасимов, Мих. Электростанция в церкви. III — 123.
Гитович, А. Калмак-Аша. VII — 85.
Гитович, А. Письмо. XI — 143.
Забелин, Евг. Ночные маневры. VIII-IX — 121.
Зарудин, Н. Весна пронеслась мимо жизни, как поезд. VI — 104.
Зенкевич, М. Элеватор. IV — 111.
Зенкевич, М. Ночь под буркой. IV — 112.
Инбер, Вера. Разлука. XII — 60.
Исаковский, Михаил. Политпросвет. X — 138.
Кольчев, О. Конец толкучего рынка. VIII-IX — 119.
Липкин, Сем. С прогорклым, стремительным дымом. III — 124.
Липскеров, Конст. Зима. III — 122.
Лукницкий, Павел. Возвращение на Челекен. IV — 113.

¹⁾ Содержание составлено в алфавитном порядке. Римские цифры обозначают номер клиги, арабские — страницу.

- Мальцов, Николай.** Путешествие на Шатуру. X — 125.
Миних, Александр. С третьей смены. III — 120.
Нольден, Юрий. Весенняя баллада. II — 133.
Пастернак, Борис. Вступление к поэме «Спекторский». XII — 17.
Полонская, Елизавета. За будущее. IV — 114.
Пулькин, И. Москва. VII — 127.
Саянов, В. Московские заповедники. VII — 45.
Саянов, В. Женщины. VIII-IX — 116.
Саянов, В. Песня. VIII-IX — 117.
Саянов, В. Степан Поликарпов и Сидор Гладких. X — 45.
Саянов, В. Надпись на поэме. X — 46.
Саянов, В. Разлука (песня). X — 47.
Саянов, В. Пейзаж. X — 47.
Спасский, Сергей. Разговор с пригородом. XII — 141.
Тарловский, Марк. Бахчисарай. I — 141.
Ушаков, Ник. Спешить, как мне, не надо счастливой девочке. I — 90.
Эркин, Е. Баллада. VII — 84.

ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ, МАТЕРИАЛЫ:

- Бонч-Бруевич, Вл.** Первое покушение на В. И. Ленина 1 января 1918 г. I — 145.
Мандельштам, М. Из воспоминаний политического защитника. XII — 148.
Мейн, А. Из книги О Горьком. VIII-IX — 94.
Неизданное стихотворение Валерия Брюсова «Памяти Ленина», с предисл. И. Короткина. VI — 171.
Неизданные письма И. С. Тургенева к А. В. Топорову (предисловие и примечания Л. С. Утевского). II — 210.
Письма иностранных писателей. Предисловие Вяч. Полонского. VII — 175.
Цявловский, М. Забытое стихотворение Пушкина «Исповедь стихотворца». IV — 169.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ:

- Алешин, А.** Стертые лики, очерк. V — 127.
Алпатов, Лев. Старым следом, байкальские очерки, с иллюстр. XI — 144.
Альтер, И. Памяти Р. Люксембург. II — 134.
Анибал, Борис. Преступление работницы Прасловой, очерк. I — 180.
Анибал, Борис. Время, дела и люди, очерк. X — 147.
Аранович, Д. Культурная революция, искусство и промышленность. III — 190.
Ассанов, Ник. Корпуса, которые не едают, очерк. II — 166.
Ассанов, Ник. Производственные поргеты, очерк. XI — 154.

- Болохин, П.** Бураки, очерк. VI — 143.
Воронов, С. Из прошлого и настоящего Академии Наук. V — 135.
Гальперин, С. По всему свету, очерки международной политики. I — 203. II — 188. III — 158. IV — 145. VII — 163. XI — 169.
Гатуев, Дзахо. Осада Наифата, очерк. VII — 144.
Гаузнер, Г. Наше чувство путешествия, очерк I — 217.
Глаголев, Арк. Трагедия одного энтузиаста. III — 186.
Глаголев, Арк. Неосуществленный замысел (о книге А. Дермана). IV — 189.
Глаголев, Арк. О художественном лице «Перевала». V — 157.
Глаголев, Арк. Альманах «Земля и Фабрика». X — 182.
Гришин-Николаев, М. О боевых моментах социалистического преобразования деревни. III — 125.
Гронский, И. Борьба за хлеб. VII — 154.
Данилин, Ю. Торговый дом Александр Дюма и К°. II — 234.
Данилин, Ю. Книга о Сакко и Ванцетти. VI — 199.
Данилин, Ю. Июльская революция и французская лутература. VII — 189.
Данилин, Ю. Литературная богема в эпоху французского романтизма. XI — 179.
Далинин, Ю. Правнук Фигаро. XII — 186.
Дебу, К. И. проф. Сельское хозяйство и химия. VI — 105.
Досов, Мих. Как рождается колхоз, очерк. IV — 133.
Дыннин, Вал. Письмо из Берлина. I — 110.
Завадовский, Леонид. Золотой край, очерк. X — 139.
Замошкин, Н. Важный шаг к мастерству. (О книге П. Слетова «Мастерство»). I — 260.
Зелинский, К. Гондвана, очерк, с иллюстр. XI — 121.
Зенкевич, Мих. Обзор стихов. II — 227.
Зингер, М. Горючий камень, очерк. VIII-IX — 145.
Калинин, М. И. XVI съезд партии VIII-IX — 123.
Каменский, Г. Владислав Оркан. VIII-IX — 226.
Камский, Волчанка, очерк. X — 155.
Козин, В. Саранча, очерк. X — 78.
Кофанов, Павел. Трое из партгорода, зарисовки. III — 150.
Крептюков, Дан. Молочная фабрика, очерк. VI — 118.
Ланн, Евг. Пробег по современной американской литературе. X — 198.
Лебедев, Вс. Лопари, очерк. VIII-IX — 154.
Лебедев, Вяч. По Советской Корее, очерк. VI — 127.
Лежнев, А. Разговор. I — 245.
Левич, Г. Один из зачинателей (к истории пролетарской поэзии). X — 178.

- Локс, Н. П.** Мериме. II — 244.
Локс, Н. Литературные опыты Толстого. XI — 199.
Лосьев, Вл. Красная армия Китая. VIII-XI — 184.
Лосьев, Вл. Белый террор в Китае. XII — 156.
Майский, И. Страницы прошлого (ко дню печати 5 мая 1930 г.). V — 120.
Марков, П. Очерки современного театра, с иллюстр. II — 219.
Марков, П. Очерки современного театра, с иллюстр. X — 188.
Мугуев, Х. М. Дигория, очерк. X — 127
Никулин, Лев. Осень в Испании, очерк, с иллюстр. VI — 148.
Никулин, Лев. Окружной маневр, очерк, с рис. худож. Шухмина. XII — 45
Ответ редакции журнала «Новый Мир» на письмо А. И. Елизаровой-Ульяновой. IV — 199.
Открытое письмо А. И. Елизаровой-Ульяновой. IV — 198
Перегудов, А. Оренбургский платок, очерк. XII — 150.
Пиксанов, Н. Советский писатель. Черты к социальной характеристике. XII — 177.
Полонская, Л. Невольные параллели. X — 162.
Полонский, Вяч. Заметки журналиста. I — 227.
Полонский, Вяч. Проблемы марксистского литературоведения. Статья первая. IV — 175. Статья вторая. VIII-IX — 193.
Полонский, Вяч. Маяковский (Памяти поэта). С двумя портретами. VI — 173.
Поступальский, И. В. Хлебников и футуризм. V — 187.
Прияшников, Н. Двупланный Пушкин. VIII-IX-215.
Рашковская, Августа. Восстание против разума, новинки французской литературы. I — 265.
Рашковская, Августа. Новый роман о русской интеллигенции. VII — 197.
Рашковская, Августа. Саморазоблачение буржуа. XII — 189.
Риза-Заде, Фатима. Политический театр Пискатора. VIII-IX — 218.
Рогинская, Ф. К. вопросу о пролетарском стиле, с иллюстр. V — 171.
Самойлов, К. Красный флаг в океане, очерк, с иллюстр. V — 149.
Самойлович, А., акад. Советский Восток, наброски просвещенца. IV — 115
Сейфулина, Лидия. Письма к родне, очерк XII — 145.
Сергиевский, И. Путешествие по неведомому. V — 196.
Сергиевский, И. Под надежным прикрытием. XI — 195.
Смирнов, Ник. Теплый стан, очерк. VII-IX — 169.
Соколов, А. Великие будни, очерк. I — 160.
Солдатов, Л. К. На вершину Эльбруса, очерк с иллюстр. II — 178.
Тайгин, И. Японские силуэты, очерк. II — 199, IV — 157, X — 165.
Уральский, Н. О «крылатом слове». VIII-IX — 228.
Фибих, Дан. Киноварь на зодюте, очерк. III — 135.
Фибих, Дан. Стальная лихорадка, очерк. VII — 132.
Фибих, Дан. Окопы пятилетки, очерк XI — 161.
Фрид, Я. Пятое сословие. IV — 193.
Чуковский, К. Судьба Николая Успенского. III — 170.
Шенгели, Георгий. Сюр эпох, очерк. XII-103.
Шпанов, Н. Северные очерки. I — 185.
IV — 120.
Яковлев, А. На неведомой дороге, очерк. II — 145.
- КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:**
Аксенов, И. А. Гамлет и другие опыты в содействии отечественной шекспирологии. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 217. VII — 205. В. Волькенштейн.
Амундсен, Р. Моя жизнь. Пер. с норвежского. Изд. «Прибой». 1930. Стр. 205. VII — 201. Путешественник.
Армянские сказки. Пер. и примеч. Я. Хачатурянца. Введение М. Шагинян. Изд. «Academia». 1930. Стр. 296. XI — 207. Р. Рощ.
Аронсон, М. и Рейсер, С. Литературные кружки и салоны. Изд. «Прибой». 1929. Стр. 312. I — 270. И. Сергиевский и Я.
Арсеньев, В. К. Сквозь тайгу. Изд. «Молодая Гвардия». 1929. Стр. 219. VII — 201. Путешественник.
Аршарун, А. М. и Вельтман, С. Л. Эпос Советского Востока. Дореволюционные и послеоктябрьские мотивы. Изд. «Академия» Л. 1930. Стр. 136. XII — 199. Р. Рощ.
Белый, Андрей. На рубеже двух столетий. Изд. «ЗиФ». 1930. Стр. 488. III — 207. М. Рабинович.
Блок, Александр. Собрание сочинений. Ред. и вступ. статья В. В. Гольцева. Гос. Изд. 1929. Стр. XXXVI + 337. VIII — 235. Д. Благой.
Быстров, С. Красный вир. Роман. Изд. «Молодая Гвардия». 1930. Стр. 224. XII — 194. Т. Николаева.
Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах критики. Составил Н. Ашукин. Изд. «Федерация». 1929. Стр. 403. III — 205. Бор. Аннибал.
Василенко, Конст. Другое солнце. Повесть. Изд. «Прибой». 1930. Стр. 168. IV — 203. Н. Замощкин.
Вегин, С. В верховьях Тигра (у айсоров и курдов). С иллюстр. Изд. «Молодая Гвардия». 1929. Стр. 220. II — 250. Н. Замощкин.
Вржосек, С. Жизнь и творчество Вересаева. Изд. «Прибой». 1930. Стр. 227. VII — 206. Л. Смирнов.
Вринг, Георг. Солдат Зурен. Роман. Пер. с немец. Изд. «ЗиФ». 1929. Стр. 248. II — 252. Я. Фрид.

- Галкин, Н.** В стране полуночного солнца. Изд. «Мол. Гвардия». 1929. Стр. 219. VII—201. Путешественник.
- Гарнич, Николай.** Осьмнадцатый. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 157. VI—205. Бор. Гроссман.
- Гатуев, Дзак.** Гага-аул. Роман. Изд. «ЗИФ». Стр. 107. XII—194 Д. Фибих.
- Гессен, Сергей.** Книгоиздатель Александр Пушкин. Изд. «Academia». 1930. Стр. 147. VIII-IX—237. И. Сергиевский.
- Городецкий, Сергей.** Алый смерч. Роман. Изд. «Зиф». Стр. 255. II—248. Арк. Глаголев.
- Государственная третьяковская галерея.** Краткий путеводитель. Составил Л. В. Розенталь. 1929. Стр. 144. С иллюстр. II—254. А. Греч.
- Греч, Н. И.** Записки о моей жизни. Текст по рукописи под ред. и с коммент. Иванова-Разумника и Д. М. Пинеса. Изд. «Академия». М.—Л. 1930. Стр. 896. XII—200. И. Сергиевский.
- Данилыч-Кочин.** Пласт. Роман. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 282. XI—205. Н. Виленская.
- Дюамель, Жорж.** Записки доктора Кошуа. Пер. с франц. Изд. «Зиф». 1930. Стр. 110. X—206. Б. Песис.
- Зингер Макс.** Сквозь льды в Сибирь. Очерки Карской экспедиции. Изд. «ЗИФ». М. 1930 Стр. 158. XII—199. Т. Николаева.
- Зорич, А.** В стране гор. Изд. «Зиф». 1929. Стр. 163. VII—201. Путешественник.
- Инбер, Вера.** Так начинается день. Изд. «Пролетарий». 1929. Стр. 162. I—268. Н. Виленская.
- Канатчиков, С.** Из истории моего бытия. Изд. «Зиф». Стр. 115. IV—207. А. Старчаков.
- Константин-Вейер, М.** Человек над своим прошлым. Пер. с франц. Изд. «Зиф». 1929. Стр. 186. I—269. Я. Фрид.
- К проблеме строительства социалистического города.** Изд. «Плановое хозяйство». 1930. Стр. 122. VI—208. С. Борисов.
- Кравков, М.** Большая вода. Рассказы. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 152. II—250. Борис Анибал.
- Крэн, Стивен.** Алый знак доблести. Пер. с англ. Вступит. статья Евг. Ланна. Предисл. Дж. Конрада. Изд. «Зиф». 1930. Стр. 231. XI—207. Я. Фрид.
- Лалин, Борис.** Тихоокеанский дневник. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 222. II—249. Виктор Гольцев.
- Лебедев, Всеволод.** Полярное солнце. Изд. «Федерация». М. 1930. Стр. 139. XII—197 Н. Седов.
- Лернер, Н. О.** Рассказы о Пушкине. Изд. «Прибой». 1929. Стр. 223. V—207. И. Сергиевский.
- Лорбер, Ганс.** Человека истязают. Роман. Пер. с немецкого. Изд. «Московский Рабочий». 1930. Стр. 303. VI—197. Я. Фрид.
- Любовь Бентоса Сагреры.** Южно-американские рассказы. Перев. с испанск., с предисл. С. С. Игнатова. Изд. «Зиф». 1930. VIII-IX—237. К. Локс.
- Малашкин, Сергей.** Поход колонн. Роман. Изд. «Молодая Гвардия». Стр. 386. VII—201. Т. Николаева.
- Меромский, А.** Язык селькора. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 119. VII—203. Н. Замошкин.
- Микулина, Е.** Закрома пятилетки (по совхозам Нижней Волги). Очерки. Изд. «Зиф». Стр. 126. X—204. Д. Фибих.
- Михайлов, Семен.** Бригадная роща. Роман. «Изд. Писателей в Ленинграде». 1930. Стр. 375. IV—204. Ив. Данилов.
- Московские мастера.** (Литер. худож. сборник). Изд. «Жизнь и Знание». Стр. 466. V—201. Сергей Вьюгин.
- Н. А. Некрасов в воспоминаниях и документах.** Составили Е. Иссергин и Т. Хмельницкая. Изд. «Academia». 1930. Стр. 600. III—206. И. Сергиевский.
- Неодоленный враг.** Сборник против антисемитизма. Составил В. Вешнев. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 348. IV—206 С. Борисов.
- Никитин, Михаил.** Путь на север. Очерки Туруханского края. Изд. «Федерация». 1929. Стр. 160. X—205. Макс Зингер.
- Овалов, Л.** Болтовня. Повесть. Гос. Изд. 1930. Стр. 120. VII—200. Н. Виленская.
- Островер, Л.** Конец Княжострова. Изд. «Прибой». 1930. Стр. 292. VIII-IX—235. О. Белогорская.
- Перегудов, А.** Фарфоровый город. Повесть. Изд. «Зиф». Стр. 166. IV—203. Т. Николаева.
- Платошкин, М.** Отец. Рассказы. Изд. «Молодая Гвардия». 1930. Стр. 220. XI—205. Н. Седов.
- Под'ячев, С. П.** Полное собрание сочинений. Т.т. I—IX. Изд. «Зиф». 1928—1930 гг. X—203. Ник. Смирнов.
- Поссе, В. С.** Мой жизненный путь. Дореволюц. период. Ред. Б. Козьмина. Изд. «Зиф». 1929. Стр. 548. V—206. Н. Прянишников.
- Путеводитель по современной русской литературе.** Составил И. Н. Розанов. Изд. 2-е. Изд. «Работник Просвещения». 1929. Стр. 364. II—252. Арк. Глаголев.
- Пяст, В.** Встречи. Изд. «Федерация». 1929. Стр. 299. VII—204. М. Рабинович.
- «Рабочая весна».** Литературно-художественный альманах. Изд. «Недра». 1930. Стр. 150. III—203. Н. Замошкин.
- Рахилло, Иван.** Воспоминания Пушкина. Юмористич. рассказы. С рис. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 96. V—205. Н. Замошкин.
- Реми, Тристан.** Клиньянкурские ворота. Пер. с франц. Изд. «Зиф». Стр. 96. IV—205. Я. Фрид.

- Рихтер, Зинаида.** Это и есть Москва. Очерки. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 245. **V—204.** Ник. Смирнов.
- Ричардс, Дэн.** Британский капитализм и рационализация. Гос. Изд. 1930. Стр. 160. **VIII-IX—233.** С. Гальперин.
- Сахаров, Петр.** Алдан—Золотая река. Изд. «Зиф». 1930. Стр. 117. **III—205.** Бор. Гроссман.
- Скосырев, П.** В стране белого золота. Изд. «Молодая Гвардия». 1930. Стр. 166. **V—205.** Виктор Гольцев.
- Скосырев, Петр.** Взрыв. Роман. Изд. «Молодая Гвардия». 1930. Стр. 311. **XI—206.** Арк. Глаголев.
- Смидли, Агнесса.** Дочь земли. Перев. с англ. Изд. «Зиф». 1930. Стр. 193. **X—205.** Я Фрид.
- Смирнов, Ал.** На перекате. Рассказы. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 144. **VI—205.** Арк. Глаголев.
- Соболев, Юрий.** Чехов. Статьи, материалы, библиография. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 345. **X—207.** Н. Замошкин.
- Стефаник, В.** Рассказы. Пер. с укр. Гос. Изд. 1929. (1930). Стр. 192. **II—251.** Л. Тимофеев.
- Страуян, Ян.** Скитания. Повести. Рассказы. Очерки. Изд. «Зиф». 1930. Стр. 117. **XI—207.** Виктор Гольцев.
- Судьба Блока.** По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и др. материалам. Составили О. Немеровская и Вольфе. «Изд. Писателей в Ленинграде». 1930. Стр. 277. **VI—207.** М. Рабинович.
- Трусов, Ив.** Собственник. Рассказы. Изд. «Федерация». 1929. Стр. 179. **V—203.** Бор. Гроссман.
- Файнгер, И. М.** Америка и Европа в мировом хозяйстве. Изд. «Московский Рабочий». 1929. Стр. 124. **I—271.** А. Бонч-Осмоловский.
- Финк, Виктор.** Евреи в тайге. (Евреи на земле. Книга вторая). Изд. «Федерация». М. 1930. Стр. 293. **XII—198.** Н. Матвеев.
- Финн, Константин.** Мой друг. Повести и рассказы. Изд. «Зиф». М. Л. 1930. Стр. 151. **XII—195.** Борис Гроссман.
- Фраерман, Р.** Буран. Повесть. Изд. «Федерация». 1929. Стр. 154. **I—269.** Б. Анибал.
- Чаган, З.** Сегодня. Изд. «Молодая Гвардия». М. 1930. Стр. 207. **XII—196.** Бор. Левин.
- Четвериков, Дм.** Заграничный Степан. Изд. «Зиф». 1929. Стр. 269. **III—204.** Арк. Глаголев.
- Чонкадзе, Д.** Сурамская крепость. Перевод с грузинского под ред. и с предисл. Г. Я. Тавзарашвили. (Творчество Народов СССР). Гиз. 1930. М.—Л. Стр. 80. **XII—196.** Р. Рош.
- Чулков, Георгий.** Годы странствий. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 398. **VIII-IX—238.** М. Рабинович.
- Шилькрет, К.** Гораздо тихий государь. Исторический роман. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 345. **V—203.** Георгий Шторм.
- Штрайх, С. Я.** Повесть о жизни и любви чудесного доктора. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 342. **IV—208.** К. Локс.
- Юг.** Империализм на черном континенте. Изд. «Московский Рабочий». 1929. Стр. 128. **III—202.** С. Гальперин.
- Юрин, Сергей.** Любовь и коммуна. Повести и рассказы. Изд. «Федерация». Стр. 176. **VI—206.** Т. Николаева.
- Яновский, Юрий.** Мастер корабля. Роман. Пер. с укр. Н. Ушакова. Изд. «Пролетарий». 1930. Стр. 286. **VIII-IX—234.** Бор. Анибал.
- Списки книг, поступивших на отзыв.** **II—256.** **III—208.** **VII—208.** **VIII-IX—240.** **XI—208.** **XII—203.**